

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

# **СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

**ВЫПУСК 1**

**КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ПРОШЛОМ  
КАК ВЛАСТНЫЙ РЕСУРС**

**СБОРНИК  
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

**Москва  
2012**

УДК 32  
ББК 66.0  
С 37

**ИНИОН РАН**  
**Центр социальных научно-информационных исследований**

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

*Малинова О.Ю.* – д-р филос. наук, главный редактор,  
*Ефременко Д.В.* – д-р. полит. наук, *Ефремова В.Н.* – ответственный секретарь, *Ильин М.В.* – д-р полит. наук,  
*Мелешкина Е.Ю.* – канд. полит. наук, *Пивоваров Ю.С.* – акад. РАН, *Поцелуев С.П.* – д-р полит. наук, *Семенов И.С.* – д-р полит. наук, *Фадеева Л.А.* – д-р историч. наук

**Символическая политика:** Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН.  
С 37 Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки;  
Отв. ред.: Малинова О.Ю. – **Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс.** – М., 2012. – 334 с. (Сер.: Политология).  
**ISBN 978-5-248-00639-7**

Рассматриваются теоретические проблемы изучения символической политики как сферы конкуренции различных способов интерпретации социальной реальности. Представленные в сборнике статьи и рефераты знакомят с исследованиями отечественных и зарубежных специалистов, посвященными идейно-символической составляющей современных политических процессов. Особое внимание уделяется анализу политических аспектов конструирования и репрезентации прошлого в России и других странах. Публикуются обзоры дискуссий в СМИ по актуальным общественно-политическим проблемам.

Предназначено для исследователей-политологов, преподавателей вузов и студентов, а также для всех, кто интересуется вопросами развития политической науки.

The issue considers theoretical problems involved in the study of symbolic politics as a sphere of competition of different interpretations of the social reality. It contains articles and reviews devoted to the ideational and symbolic components of modern political processes. Special attention is paid to analysis of political aspects of construction and representation of collective past in Russia and other countries. The materials of public discussions of significant social issues are reviewed and analyzed.

For political and social scientists, students and other readers who are interested in political science.

ISBN 978-5-248-00639-7

УДК 32  
ББК 66.0  
© ИНИОН РАН, 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

Символическая политика: Контуры проблемного поля ..... 5

### ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Поцелуев С.П. «Символическая политика»: К истории концепта ... 17  
Мухарямов Н.М. О символических началах в языке политики  
(прагматический аспект) ..... 54  
Москвин Д.Е. Визуальные репрезентации в политике и пер-  
спективы визуальных методов исследований в полити-  
ческой науке ..... 75

### ТЕМА ВЫПУСКА: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ КАК ИНСТРУМЕНТ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Торбаков И.Б. «Непредсказуемое» или «неопределенное»  
прошлое? Международные отношения и российская исто-  
рическая политика ..... 91  
Ачкасов В.А. Роль политических и интеллектуальных элит  
посткоммунистических государств в производстве «поли-  
тики памяти» ..... 126  
Завершинский К.Ф. Символические структуры политической  
памяти ..... 149  
Миллер А.И. Политические символы и историческая политика .... 164  
Киселев К.В. Дискурс прошлого в электоральной полити-  
ческой риторике: К постановке проблемы ..... 175

## **ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ**

Малинова О.Ю. Разговоры о «модернизации»: Анализ практики «общественных дискуссий» в современной России .....	182
Негров Е.О. Публичная политика в ходе электорального цикла 2011–2012 гг.: Стратегии охранительного политического дискурса .....	202
Попова О.В. Символическая репрезентация прошлого и настоящего России в президентской кампании 2012 г. ....	222
Шкурихин И.А. Концепт демократии в предвыборном дискурсе кандидатов в Президенты РФ 2012 г. ....	239
Тульчинский Г.Л. Информационные войны как конфликт интерпретаций, активизирующих «Третьего» .....	251

## **СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Вязовик Т.П. Ток-шоу «Суд времени» как «изобретенная традиция» .....	262
Ефремова В.Н. День народного единства: Изобретение праздника ...	286

## **С КНИЖНОЙ ПОЛКИ**

Малинова О.Ю. «Историзм без глобальной истории»: Отечественные битвы за историю. (Рецензия) .....	301
Ефремова В.Н. Национальные праздники как «нестабильные символы» национальной идентичности. (Рецензия) .....	308
Фадеева Л.А. Зажигая «огонь нового дня». (Рецензия) .....	316
Ключевые слова и аннотации / Keywords and abstracts .....	321
Сведения об авторах .....	332

## **СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: КОНТУРЫ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ**

Концепт символической политики<sup>1</sup> занимает особое место в арсенале понятий, которые используются для анализа диалектического процесса формирования, распространения и конкуренции представлений, определяющих смысловые рамки восприятия социальной реальности. Авторы, выступившие в качестве пионеров исследования символической составляющей политики, отказались от целого ряда дихотомических противопоставлений, задающих границы теоретических «лагерей» в социальных науках. Они пробовали взглянуть на взаимосвязи между общественным сознанием и поведением, не устанавливая жестких границ между субъектом и объектом, индивидуальным и коллективным, материальным и идеальным и не отдавая предпочтения «объективным» методам, основанным на стандартизированном наблюдении, перед неизбежным «субъективизмом» интерпретативных подходов. Насколько эти попытки оказались успешными – предмет особого разговора. Однако несомненным достоинством категорий, явившихся их теоретическим наследием, можно считать отсутствие «встроенной» оптики, побуждающей рассматривать взаимосвязи между социальной реальностью и ее отражением в сознании, индивидом и группой, структурами и агентами, априори задавая причинно-следственные векторы от материального к идеальному<sup>2</sup>. Это делает «символическую политику» удобной

---

<sup>1</sup> Анализ концептуальных возможностей термина «символическая политика» опирается на результаты исследования, осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 11-03-00202 а.

<sup>2</sup> Разумеется, это не значит, что соперничающие подходы к изучению символической стороны политики не породили иных теоретических размежева-

зонтичной категорией, позволяющей исследовать под разными углами широкий спектр явлений и процессов, связанных с производством и обращением смыслов. С этим связан выбор словосочетания «*Символическая политика*» в качестве названия нового продолжающегося издания, посвященного *исследованию различных способов интерпретации социальной реальности и их взаимодействия в публичном пространстве*.

Необходимость изучения символов в качестве не только форм, опосредующих «объективную реальность», но и элементов, конституирующих политическую действительность, хорошо показал основоположник теории политики как символического действия Мюррей Эдельман. Он писал: «Из всех живых существ только человек реконструирует собственное прошлое, воспринимает условия настоящего и предвидит будущее, основываясь на символах, которые помогают абстрагироваться, отражают, сводят воедино, искажают, нарушают связи и даже творят то, что представляют его вниманию органы чувств. Способность символически оперировать чувственными данными делает возможными сложные рассуждения, планирование и как следствие – эффективные действия. Она также предрасполагает устойчивую склонность к иллюзиям, ошибкам понимания, мифам и как следствие – к неправильным или неудачным действиям». Поскольку это так, адекватное объяснение политического поведения не может не учитывать в качестве вмешивающегося элемента «формирование общих смыслов и их изменение в процессе символического постижения группами людей интересов, бремени обстоятельств, угроз и возможностей» [Edelman, 1971, p. 2]. Саму политику следует изучать как «символическую форму» [Edelman, 1964, p. 2].

Работы М. Эдельмана были первой попыткой построения теории, анализирующей символическую составляющую политических действий и объясняющую ее эффекты в контексте «собственно политологической» постановки проблем конфликта, насилия, групповых интересов, роли элит и т.п. (хотя, безусловно, далеко не

---

ний, закрепившихся в разных интерпретациях данного концепта. Они связаны как с определением объема понятия, так и с нормативной оценкой описываемого им феномена (подробнее об этом см. в обстоятельном обзоре С.П. Поцелуева и в статье Н.М. Мухарямова, где выделяются некоторые противоречия в использовании рассматриваемого термина). Используя понятие «символическая политика» в качестве инструмента описания и анализа, приходится учитывать эти различия.

первым опытом исследования взаимосвязей между политическим поведением и «тем, что находится в головах»). Настаивая на необходимости изучения символической составляющей политического действия, Эдельман полемизировал с доминирующей парадигмой рационального выбора, которая рассматривает отношения власти и подвластных в логике «очевидных» интересов. Он доказывал, что оптика этой парадигмы существенно искажает реальные политические связи, ибо на практике действия правительства не столько удовлетворяют или не удовлетворяют запросы граждан, сколько влияют на их восприятие реальности, меняя их потребности и ожидания [Edelman, 1971, p. 7–8]. В свете данного обстоятельства маневры, к которым прибегают политики, должны рассматриваться в качестве самостоятельных «целей в игре», ибо именно в процессе принятия решений (а не благодаря содержанию последних) лидеры получают или теряют последователей, индивиды обретают роли и политическую идентичность, происходит перераспределение денег и статуса, причем часто – совсем не тем группам, которые, казалось бы, выигрывают от правительственной политики [Edelman, 1971, p. 4].

Символы, интерпретируемые как «способ организации репертуара познаваемого (cognitions) в смыслы», как априорные смысловые структуры, которые помогают усваивать сообщения, редуцируя их к заранее известному, согласно концепции Эдельмана, являются основой механизма, обуславливающего восприятие социальной реальности, и следовательно – поведение [Edelman, 1971, p. 33–35]. В общественных науках существует целый набор понятий для описания символической – в указанном значении слова – функции социально конструируемых смыслов: *дискурсы, идеи, представления, образы, мифы, фреймы, нарративы*, собственно *символы* (в более узком значении знака или изображения, условно «воплощающего» некие явления или идеи) и др. Это далеко не полный перечень понятий, схватывающих различные связи и эффекты, которые возникают вследствие того, что человеческое сознание способно «осваивать» социальный мир исключительно за счет символической редукции, осуществляемой на основе социально конструируемых и коллективно разделяемых смыслов. Все

эти категории могут рассматриваться в качестве инструментов описания и анализа проблемного поля символической политики<sup>1</sup>.

Пионерская работа М. Эдельмана, безусловно, возникла не на пустом месте. Анализ эвристических возможностей понятия символической политики должен учитывать «параллельные» опыты концептуализации описываемого им явления в рамках других дисциплин – социальной психологии, социологии<sup>2</sup>, лингвистики, семиотики, антропологии и др. Это теоретическое наследие еще ждет внимательной ревизии, которая, хочется надеяться, будет иметь место и на страницах «Символической политики». Публикуя в этом выпуске работу С.П. Поцелуева, посвященную истории данного концепта, мы рассчитываем в дальнейшем продолжить тему анализа классических и новых подходов к изучению взаимосвязей между социальным конструированием смыслов и поддержанием или изменением политического порядка.

Концепт символической политики (в значении как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*) используется в качестве инструмента эмпирического описания и анализа в конфликтологии [Harrison, 1995; Kaufman 2006], в исследованиях публичной политики [Cohen 1999; Birkland, 2005; Schneider, Ingram, 2008], политических коммуникаций [Gamson, Stuart, 1992], а также в работах, посвященных

---

<sup>1</sup> Подробнее об особенностях концептуализации «идеальной» / символической составляющей социальных и политических взаимодействий [см. Малинова, 2009].

<sup>2</sup> В конце 1960-х в рамках социально-бихевиоралистского подхода сложилось направление, получившее название «символический интеракционизм». Классическая работа Герберта Блумера «Символический интеракционизм: перспектива и метод» [Blumer, 1969] увидела свет пятью годами позже «Символического использования политики» Эдельмана [Edelman, 1964] (который, как и Блумер, опирался на труды основоположника социального бихевиорализма Джорджа Герберта Мида (1862–1931)). Несмотря на критику, которой были встречены попытки сторонников символического интеракционизма сосредоточить внимание на «человеке интерпретирующем», подчеркивая его относительную автономию от структурных и физических причин, этот подход активно развивается в рамках социологии и социальной психологии и по сей день. Действует Общество по изучению символических взаимодействий (Society for the Study of Symbolic Interaction; см.: <http://www.symbolicinteraction.org>), издается специальный журнал, наследие классиков бережно изучается и переосмысливается [Denzin, 1992 и др.]. Думается, что эти и другие наработки смежных дисциплин могут представлять определенный интерес и для исследователей символической стороны политики.



изучению коллективных действий [Brysk, 1995]. С ним работают и некоторые российские авторы [Поцелуев, 1999; Мисюрлов, 1999; Киселев, 2006; Малинова, 2010 и др.]. При этом предлагаются различные определения ключевого термина – что неудивительно, ибо речь идет о широкой категории, описывающей фундаментальное свойство человеческой деятельности, пересечения которого с полем политики можно рассматривать под разными углами зрения. На наш взгляд, одним из наиболее существенных теоретических водоразделов в понимании содержания данной категории является различие между подходами, противопоставляющими символическую политику «реальной», «материальной»<sup>1</sup>, – и подходами, которые рассматривают первую как специфический, но неотъемлемый аспект политики как таковой.

Противопоставление «символических» и «материальных» эффектов политики, как правило, имеет место в контексте обсуждения проблем, связанных с «медиазацией» современного политического процесса, которая объективно способствует усилению автономии деятельности, связанной с его публичной репрезентацией, и ведет к «отступлениям» от нормативной логики демократической легитимации власти. С учетом данного обстоятельства, символическая политика нередко рассматривается как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации это понятие было впервые введено в российский научный оборот С.П. Поцелуевым. Согласно его определению, символическая политика – это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов». Символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений [Поцелуев, 1999, с. 62]. Таким образом, данный подход сфокусирован на целенаправленной репрезентации деятельности политических акторов в публичном пространстве (и прежде всего – в СМИ), которая

---

<sup>1</sup> Многие авторы, придерживающиеся такого разграничения, отмечают его условность, ибо «символическая» политика может иметь вполне материальные последствия, а «материальные» меры (связанные, например, с распределением финансовых ресурсов) – быть инструментом борьбы за утверждение определенных способов интерпретации действительности [Cohen, 1999, p. 2; Birkland, 2005, p. 150–151; Schneider, Ingram, 2008, p. 207].

может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматривается то, что целенаправленно «конструируется» политическими элитами в расчете на манипуляцию сознанием масс.

Вместе с тем очевидно, что символическая функция политики не сводится к производству идеологических конструкций – даже если, принимая во внимание развитие визуальных технологий коммуникации, мы не будем связывать идеологии исключительно с вербальными формами.

Во-первых, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, «подчиняются» их логике. Символическая составляющая политики не рефлексивируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдьё называл «символической властью»<sup>1</sup>, не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Как точно заметил Эдельман, «наиболее глубоко укорененные политические убеждения не формируются открытыми призывами принять их и не дебатированы в тех субкультурах, где их разделяют. Они создаются формой политического действия, гораздо более мощной, чем риторические разъяснения, и слишком значимы для людей, чтобы подвергать их сомнению в публичных дебатах» [Edelman, 1971, p. 45]. *Символическая политика как деятельность, связанная с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*, не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реальности, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман [Бергер, Лукман, 1995]. Стремящиеся манипулировать сознанием масс элиты не только «осуществляют» символическую политику, но и сами действуют, ориентируясь на символические сигналы, поступающие со стороны правительства [Edelman, 1971, p. 10] и других политических акторов.

Во-вторых, в поле символической политики действуют специфические механизмы<sup>2</sup>, изучение которых позволяет лучше по-

---

<sup>1</sup> По Бурдьё, символическая власть – это «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир...» [Бурдьё, 2007, с. 95].

<sup>2</sup> Можно согласиться с Э. Бриск, которая утверждает, что исследование символической политики связано с изучением механизмов, а не законов [Brusk, 1995, p. 561]. По определению Ч. Тилли и Р. Гудина, «механизмы образуют определенный класс событий, которые меняют отношения между выделенными элементами

нимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются более влиятельными, нежели другие, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как справедливо заметил Бурдые, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства» [Бурдые, 2007, с. 93]. Задача исследователей символической политики – постижение этой логики<sup>1</sup>.

В-третьих, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты – он ориентирует и на изучение деятельности акторов, использующих символы для изменений снизу [Brysk, 1995]. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т.п. Однако несмотря на эти эксклюзивные ресурсы и возможности доминирование поддерживаемых государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешиено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления»<sup>2</sup> и «двоемыслия». Оспаривание существующего социального порядка – не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

Символическая политика осуществляется в *публичной сфере*, т.е. виртуальном пространстве, где в более или менее открытом

---

сходным или почти сходным образом во множестве ситуаций». Хотя механизмы по определению производят единообразные непосредственные эффекты, их кумулятивные и долговременные эффекты более вариативны, ибо зависят от внешних условий и взаимодействия с другими социальными механизмами [Tilly, Goodin, 2006, p. 15]. Механизм – это меньше, чем теория, но больше, чем описание, ибо может служить в качестве модели для объяснения других случаев.

<sup>1</sup> Можно говорить о постепенном накоплении такого рода эмпирических обобщений на основе изучения функционирования символов в разных формах и в разных контекстах. [См., например, Brysk, 1995, p. 576–579; Schopflin, 1997; Coakley, 2007].

<sup>2</sup> По мысли Ю.А. Левады, советские идеологические практики, навязывавшие индивидам универсальную нормативно-ценностную систему, формировали «человека лукавого», соглашавшегося с предписываемыми установками – и одновременно искавшего способа их обойти [Левада, 2000, с. 508–529].

режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами – имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности. Публичная сфера может быть локализована в различных институтах и сочетать разные форматы общения: как «живые», так и опосредованные письменными текстами. Она конституируется множеством частично пересекающихся «публик», границы которых меняются во времени, пространстве, а также в зависимости от характера обсуждаемых тем. Институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на символические стратегии и возможности акторов. Поэтому исследование символической политики сопряжено с изучением среды, в которой производятся, распространяются и конкурируют разные способы интерпретации социальной реальности, а также особенностей стратегий акторов, участвующих в данных процессах. Именно такой подход, предполагающий изучение конфигурации пространства политических идей во взаимосвязи с институциональными условиями, определяющими правила игры и стратегии акторов, которые эти идеи производят, а также с политическими коммуникациями, обеспечивающими обращение последних, был предложен Исследовательским комитетом Российской ассоциации политической науки по изучению идей и идеологий в публичной сфере [Публичное пространство... 2008; Идеино-символическое пространство... 2011]. Мы надеемся развивать этот подход и на страницах «Символической политики».

Хотя основой политических коммуникаций несомненно являются вербально оформленные «идеи», представленные в виде понятий, принципов, концепций, доктрин, программ и т.п., существенную роль в них играют и невербальные способы означивания. По мере развития современных технических средств коммуникации, основанных на аудиовизуальных формах представления информации, их роль стремительно возрастает. Поэтому изучение современной символической политики невозможно без применения методов анализа визуальных форм, которые пока не получили широкого распространения в исследовательской практике политологов. Открывая тему методов изучения символических форм, в этом выпуске мы публикуем статью екатеринбургского политолога *Д.Е. Москвина* об изучении визуальных репрезентаций в политике.

Продолжающееся издание «Символическая политика» приглашает к обсуждению широкого круга проблем, связанных с опи-

санным выше предметным полем. Мы предлагаем вниманию читателей статьи и обзоры, посвященные анализу теоретико-методологического инструментария, который может применяться для изучения различных сторон процесса производства и конкуренции смыслов. Плюрализм подходов приветствуется. В первом выпуске в рубрике «*Теория и методология анализа символической политики*» публикуются уже упоминавшиеся статьи ростовского политолога *С.П. Поцелуева* об истории концепта «символическая политика», специалиста по политической лингвистике из Казани *Н.М. Мухарямова* о прагматике вербальных символов политического языка и *Д.Е. Москвина* о перспективах использования визуальных методов в политической науке.

Выбор *политического использования прошлого* в качестве основной темы первого выпуска определяется не только ее актуальностью. Хотя М. Эдельман не без основания считал, что «круг представлений, которым объясняется поведение, в конечном счете определяется тем, чего людей побуждают хотеть в будущем» [Edelman, 1971, p. 8], представления о коллективном прошлом играют в современной символической политике не менее важную роль. На наш взгляд, это связано с особенностями стиля мышления, присущего эпохе модерна. Как полагает Н.Е. Копосов, история, заново «изобретенная» в XVII–XVIII вв., заняла место старой аристотелевской вселенной иерархически упорядоченных идеальных сущностей; она стала своего рода принципом восприятия социального мира, согласно которому вещи группируются «в кластеры, происхождение которых можно было объяснить, только изучив индивидуальные процессы их формирования» [Копосов, 2011, с. 15–16]. Неудивительно, что апелляция к прошлому играет важную роль в легитимации и делегитимации социального порядка, конструировании групп и артикуляции идентичностей, политическом целеполагании, мобилизации поддержки и т.д. Статьи, обзоры и рецензии, опубликованные в этом выпуске, под разными углами рассматривая проблему политического использования прошлого, дают материал для осмысления одного из важнейших аспектов современной символической политики.

Рубрику «*Тема выпуска*» открывает статья исследователя из университета Упсалы *И. Торбакова*, анализирующая роль исторической политики в современных международных отношениях в поисках объяснений «войн памяти», развернувшихся в последние десятилетия в Восточной Европе. Этот сюжет продолжает *В.А. Ачкасов*, рассматривая «политику памяти» как инструмент

строительства посткоммунистических наций. Его коллега по Санкт-Петербургскому государственному университету *К.Ф. Завершинский* в своей статье анализирует методологические возможности осмысления социальной памяти посредством исследования символических структур социальных коммуникаций. Рубрику завершают сравнительно-эмпирические зарисовки *А.И. Миллера* (ИНИОН РАН) и *К.В. Киселёва* (Институт философии и права УрО РАН) о технологиях конструирования символов в контексте исторической политики и об особенностях политического использования прошлого в практике электоральных кампаний в России.

С темой политического использования прошлого перекликаются и материалы, представленные в других разделах сборника. Споры о прошлом занимают существенное место в современных дискуссиях о модернизации, которым посвящена статья *О.Ю. Малиновой*. Они играли значимую роль и в недавней президентской избирательной кампании, которую анализирует *О.В. Попова* (СПбГУ). Эти статьи включены в рубрику *«Политика как производство смыслов»*, в которой предполагается публиковать статьи и обзоры, отражающие результаты исследований идейно-символической составляющей современных политических процессов в России и за рубежом. В первом выпуске в эту рубрику также вошли: статья *Е.О. Негрова* (СПб.), посвященная анализу охранительного дискурса в СМИ; работа молодого исследователя из Томска *И.А. Шкурихина*, рассматривающая противоречивые интерпретации концепта демократии в риторике участников президентских выборов 2012 г. в России; работа *Г.Л. Тульчинского* (СПб.), в которой анализируются составляющие противоречивого феномена, обозначаемого популярной метафорой «информационные войны».

В современной символической политике огромную роль играют средства массовой информации, которые «визуализируют» пространство социально разделяемых смыслов. Имея в виду и в дальнейшем уделять серьезное внимание анализу дискуссий, представленных в СМИ, в этом выпуске в рубрике *«Символическая политика в медийном пространстве»* мы публикуем статью исследовательницы из Санкт-Петербурга *Т.П. Вязовик*, предлагающую анализ серии телевизионных передач «Суд времени» в контексте традиций публичных «судов» 1920–1930-х годов, а также работу *В.Н. Ефремовой* (ИНИОН РАН), обобщающую дискуссии в печатных СМИ по поводу нового национального праздника – Дня народного единства (4 ноября). Оба материала развивают основную тему выпуска.

Наконец, следуя традициям ИНИОН РАН, мы планируем знакомить читателей с новой литературой по проблематике, связанной с полем символической политики, публикуя рецензии и рефераты работ отечественных и зарубежных авторов. В этом выпуске в рубрику «*С книжной полки*» вошли три рецензии, развивающие основную его тему. *О.Ю. Малинова* размышляет над книгой Н.К. Копосова, анализирующей историческую политику СССР и в постсоветской России в контексте мировой тенденции подъема памяти в условиях кризиса идеи объективности исторической науки и веры в будущее. *В.Н. Ефремова* знакомит с результатами исследования международного коллектива авторов во главе с Д. Маккроном и К. Макферсон, посвященного национальным праздникам как инструментам конструирования и мобилизации национальной идентичности. *Л.А. Фадеева* рассуждает о монографии члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук, профессора Л.П. Репиной «Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая практика» и роли исторического сознания и политики памяти в современной символической политике.

## Литература

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Academia, Медиум, 1995. – 323 с.
- Бурдьё П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: РАН; РОССПЭН, 2011. – 285 с.
- Киселёв К.В. Символическая политика: власть vs. общество. – Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006. – 132 с.
- Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. – М.: НЛЮ, 2011. – 320 с.
- Левада Ю.А. Человек лукавый: двоемыслие по-русски // Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки, 1993–2000. – М.: Московская школа политических исследований, 2000. – С. 508–529.
- Малинова О.Ю. Почему идеи имеют значение? Современные дискуссии о роли «идеальных» факторов в политических исследованиях // Политическая наука. – М., 2009. – № 4. – С. 5–24.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.

- Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой // Полис. – М., 1999. – № 1. – С. 168–174.
- Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. – М., 1999. – № 5. – С. 62–76.
- Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия / Под ред. А.Ю. Сунгурова и др. – М.: РАПН; РОССПЭН, 2008. – 422 с.
- Birkland T.A. An introduction to the policy process: theories, concepts and models of public policy making. – 2nd ed. – N.Y.: M.E. Sharp, 2005. – 297 p.
- Blumer H. Symbolic interactionism: perspective and method. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969. – X, 208 p.
- Brysk A. «Hearts and minds»: bringing symbolic politics back in // Polity. – Basingstoke, 1995. – Vol. 27, № 4. – P. 559–585.
- Coakley J. Mobilizing the past: Nationalist images of history // Nationalism and ethnic politics. – Philadelphia, 2007. – Vol. 10, № 4. – P. 531–560.
- Cohen J.E. Presidential responsiveness and public policy-making: the public and the policies that presidents choose. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1999. – 304 p.
- Denzin N.K. Symbolic interactionism and cultural studies. The politics of interpretation. – Oxford, etc.: Blackwell, 1992. – 217 p.
- Edelman M. The symbolic uses of politics. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1964. – 201 p.
- Edelman M. Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence. – Chicago: Markham publishing company, 1971. – 188 p.
- Gamson W.A., Stuart D. Media discourse as a symbolic contest: the bomb in political cartoons // Sociological forum. – N.Y., 1992. – Vol. 7, № 1. – P. 55–86.
- Harrison S. Four types of symbolic conflict // The journal of Royal anthropological institute. – Chichester etc., 1995. – Vol. 1, № 2. – P. 255–272.
- Kaufman S.J. Escaping the symbolic politics trap: reconciliation initiatives and conflict resolution in ethnic wars // Journal of peace research. – L., 2006. – Vol. 43, № 2. – P. 201–218.
- Schopflin G. The functions of myth and a taxonomy of myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schopflin. – N.Y.: Routledge etc., 1997. – P. 19–35.
- Tilly C., Goodin R. It depends // The Oxford handbook of contextual political analysis / Ed. by R.E. Goodin and Ch.Tilly. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – P. 3–32.
- Schneider A.L., Ingram H. Social constructions in the study of public policy // Handbook of constructionist research / Ed. by Holstein J.A., Gubrium J.F. – N.Y.: The Guilford press, 2008. – P. 189–211.

*О.Ю. Малинова*



# ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

С.П. Поцелуев

## «СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»: К ИСТОРИИ КОНЦЕПТА<sup>1</sup>

Хотя феномен символической политики так же стар, как и сама политика, его систематическое изучение началось сравнительно недавно, примерно в середине прошлого века. Между тем это достаточный срок, чтобы говорить об *истории* соответствующего концепта. В настоящей статье мы опишем ряд важных подходов к исследованию символической политики, как они наметились за последние десятилетия в политологии и смежных с нею науках.

### М. Эдельман: Символический акт как предмет политического анализа

Вряд ли будет преувеличением сказать, что концептуальную основу для современного исследования символической политики заложили книги известного американского политолога Мюррея Эдельмана. В символических политических актах<sup>2</sup> он видел амбивалентный по своей природе феномен. С одной стороны, Эдельман трактует символические акции как позитивные антропологические константы, как необходимое и ничем не заменимое средство политической организации и управления. С другой же стороны, он

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD).

<sup>2</sup> Здесь и далее мы будем употреблять выражения «символический акт» и «символическое действие» как синонимы.

подчеркивает их негативные аспекты, из-за которых политическое как таковое подменяется игрой в политику, квазитеатральным зрелищем как индикатором социального отчуждения.

Концепция Эдельмана опиралась на наработки политических психологов (в частности, Г. Лассуэлла), на социально-антропологические, психологические и философские подходы к исследованию символических форм (Э. Кассирер, Б. Малиновский, Дж.Г. Мид, Э. Сепир, К. Лоренц и др.), на теорию информации А. Моля и теорию масс-медиа М. Маклюэна. Она имела несколько левую окраску в духе «критики идеологии».

Предметом анализа у М. Эдельмана выступает «символический аспект политики» или «символические формы в политическом процессе», точнее, «воздействие символических функций на поведение элит и масс» [Edelman, 1991, S. 1, 4]. Соответственно, в своем исследовании американский ученый отталкивается от дихотомической модели политики. Он проводит различие между политикой как «парадом абстрактных символов» или «зрительским спортом», предназначенным для массовой общественности, с одной стороны, политической деятельностью организованных групп, преследующих свои специфические интересы – с другой.

По мысли Эдельмана, символы выполняют амбивалентную функцию: «Человек создает себе политические символы, которые либо стимулируют и поддерживают его, либо заманивают в ловушку заблуждения» [Edelman, 1991, S. 1]. При этом речь идет не столько об отдельных символах (гербах, гимнах, именах, мифических образах и т.п.), сколько о действии как символе. В своем анализе политической коммуникации М. Эдельман использует понятие «символический акт», предложенное шведским социологом У. Химмельштрандом, не без влияния со стороны известной теории «речевых актов». Химмельштранд определяет символические акты как «действия, направленные исключительно на символы, причем зачастую – вне связи с их предметными и понятийными референтами» [Himmelstrand, 1960, p. 43].

Концепт символических политических актов основывается у Эдельмана на прагматической трактовке языка, который американский политолог понимает скорее как форму политического действия, нежели как способ описания политики. «В этом смысле язык, события, и самооценки суть часть одного и того же дела, и они взаимно детерминируют свои значения» [Edelman, 1977, p. 4]. То, что мы воспринимаем как политическое событие, есть зачастую лишь символическая конструкция (спектакль), ибо для массы

недоступно прямое наблюдение реальных политических процессов, тем более, непосредственный контроль над ними. С опорой на труды Э. Сепира и Н. Гудмана, М. Эдельман подчеркивает особую «густоту» символов политического спектакля. В отличие от обычных референтных знаков, «сгущающие символы» (или «знаки-конденсаты») политической коммуникации возбуждают массовые эмоции и объединяют их в одно символическое событие (акт).

Почему символические акты могут быть политически эффективными? М. Эдельман исходит из того, что большинство людей склонны мыслить стереотипами, персонализировать и символически упрощать реальность – это помогает им справляться со сложными социальными ситуациями. Неопределенность политических сигналов стимулирует страх перед экзистенциальными угрозами. «Упорядочивающие» интерпретации реальности возникают в результате взаимного согласия относительно значимых символов. Следуя концепции информации А. Моля, Эдельман понимает этот процесс как когнитивную селекцию, а сами символы – как способ смысловой организации репертуара представлений [Edelman, 1990, S. 95].

Опираясь на символический интеракционизм Дж.Г. Мида, Эдельман утверждал, что действенность политической символики следует объяснять не тем, насколько она помогает политической элите манипулировать населением и мошенничать, а тем, в какой мере она способствует признанию массой существующего политического порядка – в частности, за счет «взаимного принятия (на себя) ролей» (*mutual role-taking*). Политические символы становятся эффективными благодаря вживанию в «социальную текстуру» (Б. Малиновский). «Главные ключи к символической силе правительственных действий находятся в повседневной общественной и частной деятельности, а не в экзотических и церемониальных актах государства» [Edelman, 1990, S. 17]. Именно благодаря «работающим» символам становятся возможными идентификация и стабильная идентичность в политике.

Дихотомической модели политических действий соответствует фундаментальная дихотомия массового мышления, в силу которой для зрителей политической «драмы» каждое политическое событие означает либо угрозу, несущую страх, либо умиротворение, вселяющее надежду. Отсюда вытекает важное прагматическое следствие: людей можно выводить из себя или, напротив, успокаивать исключительно благодаря символическим актам, т.е. не путем удовлетворения важнейших потребностей и требований

граждан или, напротив, их игнорирования, но путем *изменения* их требований и ожиданий [Edelman, 1990, S. 18].

Немецкий политолог А. Дёрнер упрекает эдельмановский подход к символической политике в жестком противопоставлении «сцены» и «закулисы», реальности и иллюзии в политическом процессе [см.: Dörner, 1996, S. 25]. По нашему мнению, А. Дёрнер существенно упрощает при этом понимание Эдельманом символических актов, стремясь подчеркнуть прагматические аспекты собственного концепта символической политики. Оценка политико-символических<sup>1</sup> актов в духе критики идеологии вовсе не создает у Эдельмана ту «проблему дихотомического сценария», о которой пишет Дёрнер. В этой связи американский политолог высказывается недвусмысленно: «Хотя правительственные учреждения прилагают немало усилий к тому, чтобы манипулировать мнением массы, не это является главным предметом нашего интереса. Намного важнее для нас та мобилизация мнений, как массы, так и элиты, которая возникает из привязанности к одним и тем же символам» [Edelman, 1990, S. 21].

В отличие от Дёрнера и других авторов, подчеркивающих консервативно-прагматическую роль символической политики, Эдельман указывает на ее классово-конфликтную подоплеку. Распределение власти в обществе не есть нечто «самоочевидное», оно всегда является более или менее признанным результатом постоянной борьбы интересов и меняющегося баланса сил между различными социальными группами, но прежде всего – между группировками внутри политической элиты. Символическая политика, которой власти систематически занимаются, помогает им не только достичь, но и в долгосрочной перспективе гарантировать свои групповые выгоды и привилегии. С другой стороны, символы привлекают к себе внимание массы и, таким образом, отвлекают ее от конфликта интересов внутри элит. Символы «так фильтруют для общественности частные тактики, что те не вызывают негодования, протеста и сопротивления, но молчаливо переносятся или даже принимаются в качестве законных» [Edelman, 1990, S. 44].

Как отмечает американский политолог Х. Паунс, эдельмановский концепт символической политики стал в свое время вызовом по отношению к «плюралистической исследовательской програм-

---

<sup>1</sup> Здесь и далее мы будем употреблять выражение «политико-символический» как производное от термина «символическая политика».

ме как доминирующему объяснению американской политики»<sup>1</sup>. Если «плюралисты» исходили из того, что большие общественные группы могут достигать своих целей на политической арене, то теория символической политики, предложенная Эдельманом, утверждала обратное. В предисловии 1990 г. к немецкому изданию своих трудов М. Эдельман подтвердил принципиальность своего конфликта с «плюралистами», заметив, что для тех главным критерием справедливой политики выступает *процесс политического участия*, тогда как для него – *результаты политического действия*. А эти результаты, по убеждению Эйдельмана, фактически воспроизводят социальное неравенство, в то время как политическое участие зачастую лишь символизирует, а не осуществляет справедливое выравнивание интересов. В этом вопросе, подчеркивал Эдельман, «не может быть никакого примирения, потому что по сути – это не эмпирический, а моральный и политический вопрос» [Edelman, 1990, S. VIII].

Таким образом, отличительной чертой эдельмановского подхода является то, что он четко выделяет двух главных субъектов символической политики: с одной стороны, немногочисленные и хорошо организованные группы с их специфическими интересами, а с другой – большую, но плохо организованную массу политических «зрителей». Правда, Эдельман указывает на возможность сближения своего концепта символической политики с «плюралистической» позицией в той мере, в какой конкретизируются условия, при которых большие группы граждан могут оказывать влияние на правительство. Вполне можно предположить наличие достаточно многочисленных и вместе с тем самоорганизующихся групп гражданского общества, использующих политико-символические стратегии. Это – та «символическая политика снизу», о которой пишет, к примеру, немецкий политолог Т. Майер. Правда, он добавляет к ней «символическую политику сверху и снизу одновременно» (случай эффективного политического ритуала, объединяющего власть и подвластных), а также «символическую политику сверху в качестве символической политики снизу» (случай «демократии зрителей»), когда имеет место медийно опосредован-

---

<sup>1</sup> Х. Паунс ссылается на изложение сути этой программы в фундаментальном труде известного американского ученого А. Бентли: Bentley A. The process of government / Ed. and introduc. by P.H. Odegard. – Cambridge: Belknap/Harvard univ. press, 1967 [см.: Pounsey, 1988, p. 783].

ная и чисто эмоциональная вовлеченность граждан в политику при отсутствии возможности влиять на нее) [Meuer, 1992, S. 185–189].

В целом, М. Эдельман был настроен скептически относительно способности гражданской массы использовать в своих интересах символическое пространство современных западных демократий. В более поздних своих работах он называет это пространство «политическим спектаклем». По его убеждению, «конструирование спектакля и повседневная политическая деятельность суть одно и то же, хотя претензия на то, что они суть нечто разное, помогает легитимировать официальные действия властей» [Edelman, 1988, p. 125]. Общественность конструирует свой собственный спектакль и тем самым сооружает себе дискурсивную «клетку», которая подрывает гражданский дух и перспективы реального политического плюрализма.

Главной заслугой М. Эдельмана является то, что он очертил исследовательское поле, концептуальное единство которого обеспечивается не спекулятивными вопросами политической философии, а методологией конкретного, в том числе эмпирического, анализа символов как языковых средств образования и поддержки политических идентичностей. Отмечая, с одной стороны, интегративные, мобилизационные и терапевтические функции символических актов, совершенно позитивные и незаменимые в хаотичной и неопределенной политической ситуации, Эдельман, с другой стороны, видит в символической политике мощный инструмент манипуляции общественным мнением в интересах властвующих групп. Типичен случай, когда символические акции властей идут навстречу желаниям и настроениям самой массы, но при этом грубо противоречат ее коренным интересам. Этот сюжет эдельмановской концепции символической политики близок проблематике политической элитологии, в частности, анализу В. Парето «алогического» поведения масс.

Х. Паунс, анализируя рецепцию теории символической политики М. Эдельмана спустя четверть века после публикации его известной книги «The Symbolic Uses of Politics» [Edelman, 1964], отмечает, что эта теория стала в США предметом широкой междисциплинарной дискуссии. По словам Паунса, представителям риторики она помогла очертить границы между драмой и политикой; юристы апеллировали к ней в ходе дискуссий о «критическом правоведении»; в исследованиях стран «третьего мира» она предвосхитила «теорию личной власти» К. Росберга и Р. Джексона, продемонстрировав, каким образом элиты этих стран поддержи-

вают дисбаланс между этническими группами. Исследователям американской политики она помогла впоследствии объяснить появление новых социальных движений (или «single issue movements»), а также действия политиков, организующих символические акции в ходе предвыборных кампаний [см.: Pounsey, 1988, p. 785].

В своих поздних работах Эдельман обращает особое внимание на то, что конструирование и действенность политического спектакля объясняется, в первую очередь, распространением печатных и электронных средств коммуникации. Современные медиа позволяют различным заинтересованным группам так организовать освещение политических событий, что действия этих групп получают широкую общественную поддержку. Этот момент теории символической политики был позднее развит, в частности, в коммуникативной модели, предложенной немецким политологом Ульрихом Сарцинелли.

### **У. Сарцинелли: Коммуникативная модель символической политики**

Под «символической политикой» – аналогом эдельмановского концепта «symbolic political action» – Сарцинелли понимает в широком смысле языковые действия, которые функционируют как политические «символы-конденсаты». Эти символы Сарцинелли характеризует, прежде всего, по их коммуникативным функциям.

Сарцинелли критикует лумановскую концепцию власти из-за ее структурно-функционального «нейтралитета» и «анонимности». Сам он четко определяет фактического субъекта символической политики – властную элиту, которая должна легитимировать свою политику с помощью демократических процедур, а потому вынуждена использовать символы для получения согласия широких слоев населения. Конкретнее, «при помощи концепции символической политики должна быть намечена та коммуникативно-теоретическая основа, с помощью которой можно было бы объяснить стратегии изображения, обоснования и оправдания, развиваемые участниками избирательной кампании. Эти стратегии понимаются как специфическая политическая реальность, причем специфическая относительно ее функционального значения для политической легитимации» [Sarcinelli, 1987, S. 88].

В соответствии с функционалистской точкой зрения, Сарцинелли определяет символическую политику, с одной стороны, как незаменимое изобразительное средство для визуализации полити-

ческих отличий и расхождений (политическое общение посредством символов), а с другой – как инструмент политического менеджмента, обеспечивающего лояльность (иницирование готовности поддерживать власть) [Sarcinelli, 1987, S. 229]. Между функциями символов в символической политике – сложные отношения. С одной стороны, символы обеспечивают осмысленную редукцию сложной социальной реальности, которая делает политический процесс постижимым для граждан. С другой стороны, символы выступают в качестве эрзаца политики, в роли обманного средства. Тем самым они способствуют гражданской пассивности и скорее затемняют, чем проясняют политическую действительность.

Сарцинелли отчасти следует критической оценке Эдельманом символической политики, характеризуя ее как «языковую игру для обеспечения далеко идущей автономии действий политической элиты», как своего рода «драму» и «самоинсценирование»<sup>1</sup> политики перед пассивными зрителями политического «театра» [Sarcinelli, 1987, S. 239–241]. Фокусировка внимания общественности на инсценировании политических действий увеличивает разрыв между «медийной логикой» и «логикой принятия решений», создавая «риск коллективного заблуждения» [Sarcinelli, 1992, S. 154].

Однако, несмотря на эту сдержанную оценку коммуникативных эффектов символической политики, последняя квалифицируется Сарцинелли, особенно в поздних его публикациях, довольно позитивно. Его подход к анализу феномена символической политики отличается более дифференцированной и менее критической направленностью по сравнению с концепцией М. Эдельмана. Сарцинелли, к примеру, не принимает алармистский тезис Ю. Хабермаса о том, что в современной коммуникации «критическая публичность» якобы вытесняется публичностью «манипулятивной». В циклически повторяющихся избирательных инсценировках Сарцинелли видит не «форму распада гражданской общественности», а закономерный (системно-функциональный) принцип обеспечения господства. Хотя оценка символической политики как «языко-

---

<sup>1</sup> Мы используем в данной работе несколько искусственный термин «инсценирование» как русскую кальку с нем. «Inszenierung» ввиду того, что близкие по смыслу термины «инсценировка» или «постановка» не вполне выражают суть дела. Более подробную трактовку данных терминов см. в разделе «Символическая политика как инсценирование: три модели».



вой игры» и «зрелища» и несет в себе элемент критики, она нейтрализуется опорой на витгенштейновскую философию языка и гоффмановский концепт повседневной театральности [Sarcinelli, 1987, S. 240].

В отличие от многих современных политологов, критикующих избирательную кампанию как «плебисцит о личностях в отсутствии тем», Сарцинелли защищает персонализацию политикосимволических акций как необходимое следствие демократической формы правления [Sarcinelli, 1987, S. 166]. В статье 1998 г. немецкий политолог называет критическую оценку символической политики (как «спектакля», «шоу») «поверхностной и близорукой» (хотя в более ранних работах он и сам отчасти ее разделял). По мысли Сарцинелли, логичнее говорить о долгосрочном и постепенном процессе «трансформации политического», имея в виду не только адаптацию партийно-политического дискурса к медийной логике, но и характерные для западных демократий структурные изменения в политической коммуникации. Утверждение о том, что политика якобы совершается теперь только в «медиаформате», Сарцинелли считает некорректным [Sarcinelli, 1998 a, S. 275].

По его мнению, необходимо признать тот факт, что медийный образ политики сам является реальностью, причем реальностью объективной даже в том случае, когда она лишь неадекватным образом актуализирует «реальную» политическую культуру. Медийный образ политической действительности становится действительностью самой политики. Не следует также упускать из вида, что политическое участие в форме пассивного отслеживания политических событий, как они изображаются в средствах массовой информации, является не просто пассивным, но сопряженным с переживаниями, и в этом смысле – реальным и даже по-своему активным. Это – участие в политике тех, кто «из-за своих социальных ролей не в состоянии действовать политически, но кто, тем не менее, желает быть вовлеченным в политику» [Sarcinelli, 1987, S. 223].

Сарцинелли исходит из того, что средства массовой информации стали во всех современных системах ключевым инструментом политического управления. Представление о политике и медиа как двух автономных социальных подсистемах уже не отвечает, по мнению Сарцинелли, нынешним отношениям СМИ и политики, их фактическому симбиозу. Медийно опосредованная политическая коммуникация оказывается сегодня сложным процессом конструирования реальности, в который специфическим образом вовлечены журналисты и политики. Эта конструкция есть «символиче-

ский мир» [Sarcinelli, 1987, S. 216], причем в него входят не только эмблемы, значки и флаги, но также (и даже прежде всего) риторические приемы и стратегии, понятия и художественные формы выражения, ритуалы и мифы.

Учитывая тему нашего исследования, важно отметить, что Сарцинелли, развивая идеи М. Эдельмана, Г. Просса и Х. Руста, понимает масс-медиа не только как «средство транспортировки символов», но и как основу ритуализированной и мифологизированной коммуникации. Эта коммуникация воплощается как в действиях политиков, так и в восприятии политики со стороны граждан. Ритуалы и мифы массовой коммуникации структурируют временной бюджет субъектов и синхронизируют их сознание таким образом, чтобы гарантировать социальную и культурную стабильность [Sarcinelli, 1987, S. 86].

Символическая политика понимается тем самым как системно-имманентный ответ на медийную демократию, соответственно, как продукт медийного общества. В отличие от М. Эдельмана, Сарцинелли в своей теории символической политики делает акцент на ее информационно-изобразительных, а не властных функциях. В этом смысле концепция Сарцинелли находится в ряду коммуникативно-теоретических подходов, которые констатируют, что коммуникация, в частности электронная коммуникационная среда, стала «стратегической игрой, которая определяет успех или провал отдельных лиц, организаций, социальных групп и обществ» [Münch, 1995, S. 83].

В целом, подход Сарцинелли к символической политике в общем контексте политической науки можно назвать «центристским». Таковым он представляется по отношению, к правой позиции системно-функциональной теории, с одной стороны, к левому концепту символической политики, развитому, в частности, Т. Майером – с другой. Критика последним системно-функционального подхода затрагивает и теорию символической политики, предложенную У. Сарцинелли. Признавая вклад Сарцинелли в «понимание искаженной коммуникации», Майер вместе с тем считает слишком абстрактным его определение символической политики как использования символов в политических целях. Приравнивание символической политики к любому использованию политической символики делает концепт символической политики, убежден немецкий политолог, банальным и логически безбрежным, а у самого феномена символической политики отбирает политический смысл и остроту [Meuer, 1992, S. 60].

## **Т. Майер: Символическая политика как «видимость» политики**

Томас Майер известен в Германии как автор многочисленных публикаций, в которых он развивает оригинальный концепт символической политики, по духу близкий левым социал-демократам и традициям «критики идеологии».

Такая интерпретация символической политики усматривает в ней, прежде всего, видимость или эрзац настоящей политики, т.е. разновидность «ложного сознания». Данный подход направлен, прежде всего, против радикальной теории систем, предложенной известным немецким социологом Н. Луманом. С одной стороны, Майер соглашается с тезисом Лумана о чрезвычайной сложности (комплексности) современного социума и вслед за ним признает устаревшим целое поколение теорий, понимавших политику как властную ось, задающую движение и направление всему обществу. Однако, с другой стороны, Майер подчеркивает, что понятие сложности, которое было введено в область социальных наук в качестве просветительской парадигмы, направленной против упрощенных моделей деятельности, оборачивается своеобразным академическим цинизмом и фатализмом. Коль скоро, пишет немецкий ученый, выясняется, какой вклад то или иное положение дел вносит в поддержание наличной системы отношений, оно считается объясненным и тем самым – по крайней мере, в рамках «бизнеса» самой науки, – вполне оправданным в своем существовании [Meyer, 1992, S. 151].

Отвергая системно-функциональный подход, Майер трактует символическую политику как угрозу рациональной политической культуре. Развивая этот тезис, немецкий политолог стремится расширить рамки концепта символической политики. Он не ограничивает ее анализ материалами газетных сообщений и риторикой избирательных кампаний, но обращается также к грамматике и семантике «визуальной видимости» [Meyer, 1992, S. 151]. По мнению Майера, суть символической политики обнаруживается не в самих символах, но в той обманчивой видимости, которая производится в процессе их использования. Эта видимость может приобретать самые разные формы, причем не только визуальные.

Так, видимость, производимая действием (по терминологии Т. Майера – *Handlungsschein*; мы будем называть это «акционистской видимостью»), по аналогии с известным термином «акционизм»), – это нечто иное, чем просто кажущееся, мнимое действие

[Scheinhandlung]. Действие, которое производит эту видимость, вполне реально, но его *фактическое значение* существенно отличается от его *кажущегося смысла*. Типичный пример такой акционистской видимости – министр, который посещает образцовую школу, стремясь символически компенсировать в глазах миллионов телезрителей убогую образовательную политику. Вместе с тем видимость может порождаться не только действиями, но и словами (как действиями). Майер называет это когнитивной видимостью и приводит в качестве примера искусственную поляризацию электората, производимую при помощи ярких метафор, вообще любых слов-символов («Социализм или свобода!», «Социализм или смерть!») [Meyer, 1992, S. 40–41]. Причем когнитивная видимость порождается не только речевыми символами, но и символами-образами (примером могут служить предвыборные фотографии кандидата с разными категориями населения: бизнесменами, спортсменами, пенсионерами и пр.).

В отличие от старых политических идеологий, символическое инсценирование политики вводит в заблуждение *не утверждая, но показывая*. В этом – секрет его манипулятивной эффективности.

Майер подчеркивает, что символы, в отличие от других знаков, характеризуются многозначностью и семантической динамикой. То, какая функция и какое значение конкретного политического символа должны быть задействованы в данной ситуации, зависит от воли, интересов и эмоциональных потребностей политических субъектов. В результате получается сложная дифференцированная картина символических политических актов.

Немецкий политолог предлагает различать символическую политику «сверху» и «снизу». Первую он определяет как «циничную форму коммуникативного управления посредством технического производства перцептивных иллюзий» [Meyer, 1992, S. 178]. Это управление эксплуатирует (в эгоистических интересах власти) способность символа отсылать к несуществующим или отсутствующим предметам. Символическая же политика снизу (например, символическое нарушение норм в случае актов гражданского неповиновения), разделяя природу видимости, разоблачает как раз то, что призвана скрыть символическая политика сверху. Это Майер называет «классическим различием между манипуляцией и просвещением» [Meyer, 1992, S. 63].

Символическое инсценирование политики означает ее специфическую эстетизацию, которая проявляется в доминировании визуального начала, «логики» образного развлечения над устным и

письменным словом, шумного медийного монолога – над пониманием посредством диалога. Майер усматривает прямую связь между эстетизацией политики и политическим отчуждением. Отчуждение, по его мнению, является не «туманной категорией из репертуара романтических политических иллюзий» [Meyer 1994, S. 154], но реальной общественной ситуацией, в которой людям кажется невозможной рациональная оценка политических событий и, тем более, осмысленное в них участие. Символическая политика есть важный момент этого отчуждения, так как посредством ее эстетики производится иллюзия близкой причастности к центрам политической власти. А это освобождает «гражданина зрителя» от поиска реального участия в политике, личного влияния на политический процесс [Meyer, 1994, S. 143].

Эстетизация политики приводит, по словам Майера, к «трансформации политического», которую он в своей книге с аналогичным названием характеризует как «изгнание политического» [Meyer, 1994, S. 130]. Речь идет о том, что рациональное понимание, критический дискурс систематически вытесняются из публичных сфер общественной жизни и заменяются инсценированными образами. Это ведет к «ползучему институциональному изменению» рациональной демократической системы. Примечательно, что и Сарцинелли называет тезис Майера о трансформации политического «интересной гипотезой» [Sarcinelli, 1998 b, S. 14].

Трактовка Т. Майером символической политики как «стратегии коммуникации, продуманной с позиций военной науки», как «антикультуры систематического притворства» [Meyer, 1992, S. 190] является, по мнению ряда авторов, излишним преувеличением ее реальных негативных аспектов. Так, А. Дёрнер, соглашаясь с тезисом о том, что символическая политика часто проявляется как своего рода политическое плацебо, сразу же оговаривается, что это – хотя и важный, но отнюдь не единственный аспект политико-символических актов. К числу последних, по мнению Дёрнера, относятся не только сознательно инсценированные акты, рассчитанные на публику, но и собственно «политический бизнес», в том числе – закулисные переговоры с глазу на глаз. Дёрнер считает вводимую Майером дихотомию символической политики «сверху» и «снизу», равно как и его тезис о символической политике как угрозе рациональной политической культуре, проявлениями «социального романтизма» и видит в них следствие майеровской критики системной теории, критики, которая, как представляется Дёрнеру, уступает даже аргументации раннего Хабермаса [Dörner, 1996, S. 23–24].

На наш взгляд, было бы неправильно сводить предложенное Майером понятие «видимости», как и всю его концепцию символической политики, к простому противопоставлению сущности и видимости, реальности и симулякра. Уже в «Инсценировании видимости» (1992) Т. Майер подчеркивает, что символическая выразительность есть «законное и часто незаменимое средство политики» [Meuer, 1994, S. 140]. В последующих своих публикациях он дает более дифференцированную оценку политико-символических актов. Предложенную им в 1992 г. трактовку медийного инсценирования политики как «антидискурса», а симбиоза СМИ и политиков – как «системы организованной безответственности» [Meuer, 1992, S. 110], еще можно, с некоторой натяжкой, рассматривать как реминисценцию на тему романтического антикапитализма гегельянско-марксистского образца. Однако в более поздних работах Майер признавал, что символическое инсценирование может выступать способом проявления подлинности, т.е. быть «рациональным» [Meuer, 1999, S. 169]. Хотя логика политического и деформируется под воздействием фактора медийного инсценирования, она не перестает существовать [Meuer, Kampmann, 1998, S. 66].

По нашему мнению, тезис Майера о символической политике как угрозе для рационального концепта политики справедлив, хотя и требует уточнения. Дело в том, что политико-символические стратегии берут на вооружение или сознательно производят мифы, ритуалы и культы, которые, интегрируя общество, одновременно создают риск иррационализации (мистификации) политического дискурса. По этой же причине символическая политика может быть эффективнее традиционной пропаганды как стремления предложить людям определенные *идеи*, т.е. изложить им «истину» агитационно-просветительским способом. Символические политические акты, напротив, «воспитывают» массу суггестивными средствами, зачастую без аргументов и даже без слов.

Дифференцированный концепт символической политики, который Т. Майер развивает в более поздних своих публикациях, двигаясь в направлении модели «политического театра», не перестает быть *критическим* концептом. Немецкий политолог продолжает ставить вопросы о социальной рациональности и моральной ответственности политико-символических стратегий. По нашему мнению, такая постановка вопроса представляется вполне уместной в обществах, которые страдают от острых социальных и идентификационных проблем (Россия в этом смысле – типичный случай). Символическая политика часто используется здесь в ущерб

демократическому просвещению, а за критикой «социальной романтики» нередко скрывается банальный политический конформизм, который любую альтернативу «функционирующей системе» объявляет нонсенсом и утопией.

Но при всех отмеченных преимуществах подходу Т. Майера свойственны и некоторые слабости, которые характерны и для традиционной «критики идеологии», в которой дискурс власти представлен в негативном (по преимуществу) смысле «ложного сознания», что, на наш взгляд, уступает даже концепту «культурной гегемонии» А. Грамши. Получается, что символическая политика – как форма *псевдо*политики – оказывается противоположной политике «истинной» и «реальной». Компенсацией этой методологической односторонности могут служить подходы к символической политике, обозначившиеся в смежных с политологией дисциплинах: социологии общения, культурной антропологии, семиотике и др. Ниже мы намерены вкратце охарактеризовать некоторые из них.

### **Символическая политика как инсценирование: Три модели**

Начнем со сложного, дифференцированного подхода к символической политике, который мы обозначили здесь непривычным термином «инсценирование». Говоря абстрактно, «инсценирование» означает выведение чего-либо на сцену перед публикой. Отчасти отвечая по смыслу терминам «инсценировка», «спектакль», «перформанс», «исполнение», «представление» и т.п., концепт «инсценирования» находится по отношению к ним на другом логическом уровне. Хотя мы и будем время от времени использовать «инсценирование» в качестве синонима для упомянутых терминов (говоря, к примеру, об «инсценировании мифа в ритуале»), в то же время этот концепт будет иметь для нас и более глубокий теоретический смысл. В этом (втором) смысле инсценирование относится к инсценировке или перформансу примерно так же, как воображение – к сказке или гипотезе, т.е. здесь соотносятся функция и ее результаты. Инсценирование понимается как функциональная (родовая) характеристика современных дискурсивных практик, уже немислимых без растущего потенциала конструирования реальности на электронной «сцене» современных медиа [Ontrup, 1998, S. 21]. В этой связи представляется неслучайным, что концепты «инсценирования» и «перформанса» пережили в последние десятилетия настоящий бум в западной гуманитарной мысли. По

словам немецкого социального антрополога К.П. Кёппинга, сегодня можно говорить чуть ли не о «театральном» или «перформативном повороте» исследовательского интереса, по аналогии с известным «лингвистическим поворотом» [Körpping, 1998, S. 46].

Применительно к политической коммуникации концепт «инсценирования» используется в разных смыслах. Мы остановимся здесь на трех взаимосвязанных объяснительных моделях инсценирования: театральной, драматологической и перформансной.

### *Театральная модель*

Театральная модель в теории символической политики – это не просто сравнение политики с театром и не просто метафора, освещающая отдельные аспекты данного явления. Речь идет о попытке подвести символическую политику под *расширенный концепт* театральности.

Если политика сравнивается с театром, и если под этим сравнением подразумевается нечто большее, чем только метафора, тогда должен быть общий знаменатель политических инсценирований, с одной стороны, и театральной художественной сцены – с другой. По мнению Т. Майера и Р. Онтрупа, такой общий концепт театральности состоит в «публично выделенных, предъявленных, демонстративных действиях и в том, что эти действия выполняют символическую функцию» [Meyer, Ontrup, 1998, S. 523].

Отталкиваясь от этой дефиниции, Т. Майер и М. Кампман определяют *политическую* театральность как «изобразительную деятельность, которая посредством активного тела и/или его медиатизированных образов стремится к достижению рассчитанных политических эффектов у публики» [Meyer, Kampmann, 1998, S. 32]. Театральный дискурс призван вызвать у зрителя определенную реакцию (смех, слезы, раздумья и т.п.) и реализуется в тщательно рассчитанных эмоциональных ходах. Но в политическом театре, сверх того, речь идет о чисто политическом расчете, который использует театральное исполнение в качестве своего инструмента. Далее, любой театральный дискурс является визуально доминирующим уже из-за своей телесности (он использует все тело актера в качестве знаковой системы). Союз электронных коммуникативных техник с телевидением как ведущим коммуникативным средством создал в свое время «электронную сцену» и развил специфические формы театральности, которые потенци-



ально могут интегрировать все другие формы репрезентации и коммуникативные стратегии [Meyer, Ontrup, 1998, S. 525–527].

Другими словами, речь идет о театральной презентационной логике, релевантной как для самой политики (в узком смысле), так и для ее медийного изображения.

«Политический театр» – это неоднозначный концепт и столь же неоднозначный феномен. В концептуальном плане не совсем понятно, что такое, в конечном счете, «политический театр»: специфическая форма политики или прикладная форма искусства? Т. Майер и М. Кампман фиксируют эту амбивалентность концепта, замечая: «Политика как театр не является как раз тем, чем она притворяется: практикой политического; но и театром она не является, ибо театр по своему понятию есть признание в том, что он – всего лишь игра» [Meyer, Kampmann, 1998, S. 32].

Но и на эмпирическом уровне политическая театральность предстает как явление сложное, дифференцированное. Не претендуя на исчерпывающую классификацию, можно выделить следующие взаимосвязанные площадки, на которых разыгрывается современный «политический театр»:

- сцена повседневного общения, на которой политики играют друг с другом и друг для друга в рутинном политическом бизнесе;
- сцена публичных выступлений политических деятелей (активистов) перед «живой» аудиторией в режиме общения лицом к лицу, но с учетом презентационных возможностей медиа;
- сцена публичного инсценирования политики перед массовой медийной аудиторией;
- сцена сетевого политического инсценирования, предполагающего дифференцированную аудиторию и интерактивный режим общения.

Театральная модель рассматривает символическую политику как синтез театральной и собственно политической логик. Т. Майер и М. Кампман называют следующие формы такого синтеза: персонификация, мифический конфликт героев, драма, архетипический рассказ, вербальное сражение, социальная ролевая драма, символическое действие, искусство развлечения, социально-интегративный ритуал новостей [Meyer, Kampmann, 1998, S. 68–69]. Сходным образом, известный французский политик и политолог Р.Ж. Шварценберг еще в 70-х годах прошлого века выделил четыре ключевые театрально-политические роли, которые можно рассматривать как формы синтеза политической и театральной логик: Герой-Спаситель, г-н Каждый, Симпатия, Отец Нации [Schwartzenberg,

1980, S. 19]. В отличие от Майера и Кампман, в качестве отправной модели Шварценберг рассматривал не художественный театр, а шоу-бизнес. В его понимании политический артист – скорее идентификационная, чем развлекательная фигура, причем представленная не только «симпатиями», но и «священными монстрами». Этим, помимо прочего, объясняется серьезность квазитеатральной игры в политике. В целом, театральная модель символической политики, предложенная Р.Ж. Шварценбергом, не столько уподобляет политиков актерам на театральной сцене, сколько объясняет, как они «капитализируют» театральный престиж мастеров эстрады, знаменитых актеров, колдунов и пророков, героев фильмов и сериалов – одним словом, публичных звезд в широком смысле. Посредством таких эмоционально-эстетических «протезов» политики облегчают себе путь к сердцу избирателя.

Модель политического театра, как она представлена в работах Т. Майера, позволяет не только (через глубокие аналогии между художественным театром и публичным политическим общением) подчеркнуть общую для них презентационную логику, но также – теперь уже через различия между художественным и политическим театром – высветить своеобразие собственно политических символических стратегий. Однако майеровская модель страдает излишне резким противопоставлением символической и реальной политики, характерным, в целом, для традиции критики идеологии. Тезис о том, что политический театр, выдающий себя за политику, политикой не является, требует, конечно, уточнения: даже если политический театр не является «серьезной» политикой, он остается *реальной* политикой в качестве необходимого элемента политической коммуникации.

Кроме того, модель театра недооценивает роль повседневности для концепта политического инсценирования. Для Т. Майера и М. Кампман в случае повседневной сцены политического театра речь идет лишь о театре в «метафорическом» смысле. «Актеры не исполняют друг для друга те же спектакли, что и для своей публики, потому что все они знают ремесло и понимают фокусы. На ежегодном совещании союза чародеев волшебством не занимаются» [Meyer, Kampmann, 1998, S. 34]. С этим остроумным замечанием можно, однако, поспорить: во-первых, повседневная сцена политики не исчерпывается общением одних только профессионалов; во-вторых, даже их общение – как можно предположить на основе данных социологии повседневности – не столько

ослабляет элемент театральности, сколько делает его более изо- щренным (этот сюжет мы оставляем здесь без развития).

### *Драматологическая модель*

В известной мере, ограниченность театральной модели сим- волической политики восполняет драматологическая модель, вос- ходящая к анализу общения лицом к лицу в работах известного американского социолога И. Гофмана. По его утверждению, обыч- ные социологические теории ролей должны быть развиты в на- правлении социолингвистической теории интеракции. Тем самым открывается новый аспект символической политики, который традиционно недооценивался в рамках других подходов к данному феномену.

В интерпретации Гофмана, социальные интеракции и дефи- ниции ролей не совпадают с психическими действиями и реакциа- ми, но суть *перформансы* (исполнения), т.е. родственны по своей дискурсивной структуре элементам театра: роли, актеру, перфор- мативному речевому акту. Как метко заметил немецкий социолог Х.-Г. Зёффнер, мы наделяем все наши послания инструкциями для их толкования и режиссуры, или «пред-знаками» [Soeffner, 1989, S. 150], которые делают наши повседневные действия инсцени- ровками. Гофман, например, неоднократно указывает на то, что мы постоянно маскируем себя в повседневном общении, причем такие маскировки не ограничиваются нашим лицом, но включают все тело.

То, что на самом деле является необходимым условием на- шей социальной адаптации, – это не то, *чего* ожидает от нас обще- ство, а то, как *мы разыгрываем* друг перед другом выполнение этих ожиданий. Посредством этих инсценировок мы даем знать нашим ближним, что мы готовы принять социальные нормы и требования даже тогда, когда мы их не в состоянии выполнить. То, что подход в духе критики идеологии склонен клеймить как лице- мерие и обман, выступает с драматологической точки зрения важ- нейшим антропологическим условием социальной коммуникации, ибо даже обман, к которому люди прибегают порой бессознатель- но, является неотъемлемым элементом коммуникации.

Таким образом, повседневное ролевое поведение предпола- гает не «сценарии» в смысле художественной театральности, но смысловые структуры, которые Гофман подробно описывает в своей теории фреймов. Эти структуры реализуются произволь-

но. Когда мы полагаем, что «выражаем себя совершенно спонтанно и неформально, т.е. без расчета, просто, естественно», именно тогда мы следуем «социально фиксированному плану, который определяет, почему, когда и какая форма выражения является подходящей» [Goffman, 1981, S. 35].

Решающую роль играет при этом тело, которое в гофмановской драматологии выступает носителем «социальной информации» (невербальные высказывания о характерных свойствах индивида), а также производителем знаков и объектом соответствующих «узнаваний» (особенно, «первых впечатлений»). Эта информация читается как текст, который функционирует в контекстах основных форм смысловых трансформаций (с одной стороны, «обманов», а с другой – «модуляций»).

Первичные «фрейминги» с их модуляциями и обманами играют решающую роль в производстве повседневной театральности. Они существенно конкретизируют характерный для театральной модели концепт «роли» как типичного поведенческого образца. С драматологической точки зрения эти образцы суть не только роли, но «способы поведения, которые не просто проигрываются, а реализуются как определенные виды модуляции реальных процессов» [Willems, 1998, S. 36]. В повседневной жизни люди не просто играют роли подобно актерам в театре; «габитусы, актуализированные в “актерстве” жизни, образуют основу ... совершенно нетеатральной, даже антитеатральной театральности» [Willems, 1998, S. 37].

И. Гофман неоднократно подчеркивал недостаточность модели – метафоры «театра» для описания драматургии повседневного общения лицом к лицу. В отличие от художественного театра, на «сцене» повседневности разыгрываются не вымышленные, а реальные события, и здесь играют не актеры в масках своих персонажей, а реальные люди с реальными интересами, к тому же в обычной жизни роль публики сливается с ролью актера [Гофман, 2000, с. 30]. Все это – не просто другая, а именно противоположная театру драматургия.

Конечно, и в так понятой повседневности символическая политика остается сознательно преследуемой стратегией с рассчитываемыми властными эффектами. И в повседневных политико-символических инсценировках следует, прежде всего, видеть прагматические цели: сообщать / внушать вполне определенные эмоции, оценки, смыслы и т.д. Многозначность символов никогда не является здесь самоцелью, но инструментом стратегической

игры. Вместе с тем символический акт как *габитуальный* смысловой тип покоится «на приобретаемом индивидуально, но до этого всегда коллективно доступном имплицитном знании о том, что, когда, где и с кем можно или нельзя говорить или делать» [Soeffner, 1989, S. 143]. Это значит, что в любой символической политике, так или иначе связанной с повседневностью, невозможно все рассчитать, а «ложь» политико-символических акций зачастую основывается на дорефлексивных компетенциях и автоматизмах, поэтому она есть нечто большее, чем банальный пропагандистский обман.

Как указывалось выше, одним из ключевых концептов гофмановской драматологии является «перформанс» [performance], означающий деятельность человека перед «житейской аудиторией» в процессе повседневного общения. Однако следует делать различие между перформансами в сфере обыденной жизни и перформансами, выделенными (четким размежеванием «актеров» и «публики») из повседневности, особенно в пространстве новых и новейших медиа. Другими словами, специфическая драматургия повседневного общения далеко не исчерпывает всего многообразия перформансных жанров.

Освещая важный аспект «*анти*театральной театральности» политико-символических акций, драматологическая модель оставляет без внимания вопрос о том, в каких еще *нет*еатральных перформансах может выражаться символическое инсценирование, в том числе в политике. Определенным ответом на этот вопрос может служить концепция перформанса, активно развивавшаяся в последние десятилетия в западных социальных и гуманитарных науках.

### ***Перформансная модель***

В свое время известный американский театровед и театральный режиссер Р. Шехнер, пытаясь выразить общее между *play*-игрой, *game*-игрой, спортом, театром и ритуалом, ввел понятие *performance* как деятельности, исполняемой индивидом или группой индивидов *в присутствии* другого индивида или группы индивидов [см.: Balme, 1998, S. 25–28]. Соответственно, перформансный подход к символической политике рассматривает ее как серию «исполнений» перед различными публиками, исполнений, за которыми, помимо художественно-эстетических моментов, скрываются властные мотивы.

Перформанс понимается тем самым не как форма, которая пространственно находится где-то рядом с театром, ритуалом или повседневным общением лицом к лицу, но как структура, которая является для них общей. Благодаря театрално-антропологическим исследованиям стало возможным релятивировать застывшие европейские понятия ритуала и театра и ввести для их описания вместо логики «или – или» принцип «как – так и». В результате, театр и ритуал перестали трактоваться как исключающие друг друга феномены, но стали пониматься как разные точки перформансного континуума.

Следует отметить, что любой политический перформанс не только предполагает зрителей перед сценой, но и склонен вовлекать их в свое игровое действие. В этом смысле, как с исторической, так и с практической точки зрения противоположность политических и художественных перформансов относительна. Как метко заметил немецкий медиасоциолог Р. Курт, «итальянцы, присутствовавшие на политических спектаклях Муссолини, не только аплодировали, но и подыгрывали ему в духе комедии дель арте. Народ и дуче составляли, таким образом, одно сообщество инсценирования» [Kurt, 1999, S. 175]. Можно сказать, что любой политический перформанс представляет собой такое сообщество, хотя каждая страна и каждый политический режим развивают свои специфические перформансные жанры. Но все эти жанры вовлечены в манипуляции общественным сознанием. Манипулятивные цели преследуются при этом с учетом затрат и выгод, т.е. в духе инструменталистской рациональности, представленной, однако, в облачении перформансной игры.

Чтобы ввести в общую коммуникативную рамку социальный контекст разного рода перформансов, В. Тэрнер, известный англо-американский антрополог, ввел понятие «социальной драмы» [Turner, 1989, S. 145]. Социальные драмы начинаются с нарушения важнейших социальных норм и правил, что рано или поздно приводит к политическому кризису. Ритуальные и театральные действия, разыгрываемые в социальной драме, в существенно большей мере связаны «самой жизнью», чем это предполагается современными понятиями театра и ритуала. Поэтому для описания социальной драмы Тэрнер, помимо этих категорий, применяет понятие перформанса. Под ним он понимает всякого рода художественные исполнения (культурные представления), включая ритуал, церемонию, карнавал, театр и поэзию, которые он характеризует как «объяснение и развитие самой жизни» [Turner, 1989, S. 18].

Что делает перформансный подход актуальным для современной теории символической политики? – То, что он акцентирует тотальную эстетизацию всей политической сферы посредством медиа, в особенности электронных СМИ. Другими словами, перформансная модель помогает лучше, чем отдельные понятия ритуала, театра, литургии, мифа и т.д., понять современную медиализированную политическую эстетику, ее сильное влияние на политические процессы. Немецкий антрополог Т. Менникен усматривает здесь главную причину для роста популярности концептов «театральности» и «инсценирования», выражающих «изменившиеся формы коммуникации в постиндустриальных обществах» [Mennicken, 1998, S. 519].

Символическая политика, описываемая как перформанс, не столько ориентирована на познавательное информирование публики, сколько призвана «провоцировать мнения и легитимировать решения» [Schicha, 1999, S. 149]. Однако это не значит, что политическая реальность трактуется из-за этого как сплошная фикция; просто масс-медиа стали естественным контекстом для любых политических событий, так что политики должны учиться успешно презентовать себя публике. Такая способность востребована избирателем и поощряется им, поэтому политические перформансы ни в коем случае не являются лишь следствием злой воли каких-то темных сил-манипуляторов.

Для нас перформансный подход важен еще и потому, что он позволяет анализировать «сценическое» поведение в политике шире и глубже, чем с точки зрения европейского концепта художественного театра. Ведь вполне можно представить себе ситуацию, когда политические акто(ё)ры и не скрывают, что играют спектакль, и открыто реализуют принцип «делать-так-как-будто». Однако от этого признания различие между политическим и художественным театром не исчезает. Понятие «перформанс» здесь более уместно, потому что оно, с одной стороны, не исключает признания в квазитеатральной игре, а с другой – подчеркивает инструменталистский, а потому вполне серьезный характер этой игры.

Благодаря перформансному подходу к символической политике легче понять, почему «обман» публики не является ее основной (или, по крайней мере, единственной) функцией. В случае художественного театра это само собой разумеется, ибо игровая подмена идентичности здесь ясно маркирована. Но и в политическом перформансе (к примеру, в ритуальной симуляции политики)

«нельзя говорить о лжи, потому что здесь верят в действительность переживаемой реальности» [Körping, 1998, S. 64]. Эта специфическая серьезность перформансной игры способствует формированию политических идентичностей и долгосрочной легитимности социальных порядков.

Итак, перформансный подход определяет различные формы символического инсценирования политики не по формально-эстетическим критериям, а через призму выражения разного социального опыта и поведения. Из-за этого перформансную модель можно рассматривать как методологический мостик между моделью политического театра и культурно-антропологическим подходом к символической политике.

### **Символическая политика в перспективе культурной антропологии**

Все рассмотренные выше подходы к символической политике, обращаясь к таким сложным символам, как миф и ритуал, невольно вторгаются в традиционную область культурной антропологии. Для антропологического подхода политический символ – это не просто «референтный символ», но знак, пробуждающий эмоции и оценки, делающий доступным пониманию то, что выходит на пределы непосредственного человеческого представления. Это не столько семиотический, сколько герменевтический феномен [Kurz, 1982, S. 79]. Пожалуй, лучше всего этот момент выражает «сравнительная символия» В. Тэрнера, которая с самого начала рассматривает символы как социальные динамические системы, а не просто как «знаки» или «категории мышления» [Turner, 1989, S. 33].

Это в особой мере относится к мифам, которые мы, вслед за А. Дёрнером, понимаем как символические комплексы или «растянутые символы», в свою очередь, символы в этой логике могут рассматриваться как «сжатые мифы» [Dörner, 1996, S. 48]. Как отмечалось выше, своеобразие символической политики состоит в том, что она есть в основе своей действие как символ. Этот момент усиливается нарративной структурой мифа (поступками мифических героев), содержащей в себе зачаточную политическую онтологию. В ней предлагаются простые ответы на сложные вопросы политического универсума, а также ясные образцы оценки и поведения. Классик социальной антропологии Б. Малиновский видел в



традиционном (архаическом) мифе не вымысел, но «переживаемую реальность» [Малиновский, 1998, с. 98], которая руководит мыслями, чувствами и поведением людей, выступает для них чем-то более реальным, чем сама повседневность.

В прагматической перспективе концепта «символической политики» не следует смешивать (де-)легитимационные функции политического мифа с аналогичными функциями политических идеологий и политических шоу. Легитимация посредством мифа безусловна, если, конечно, она производится *настоящим* мифом, а не PR-легендой. П. Бурдьё метко назвал телесный экзис «реализованной политической мифологией, вошедшей в плоть и кровь, ставшей стабильным телодвижением и тем самым стабильным способом мысли и чувства» [Bourdieu, 1987, S. 129].

Важно также иметь в виду, что есть такие социальные и политические феномены, которые могут быть легитимированы *только* посредством мифа. В этом смысле миф «рационализирует» (оправдывает) даже то (и прежде всего то), что само по себе является абсурдным и / или несправедливым. Благодаря этому свойству миф оказывается незаменимым средством любой символической политики, которая, к примеру, в случае нацистроительства применяет символы, призванные объединить все классы и слои общества – вопреки всему, что их фактически разъединяет.

Чтобы быть и оставаться работающим символом, политические мифы должны не просто рассказываться, но постоянно проигрываться именно в качестве ритуальных драм со злыми и добрыми силами. В этой связи можно согласиться с тезисом А. Дёрнера о том, что история политического мифа не может быть написана без учета ритуала его инсценирования [Dörner, 1996, S. 33]. Как и в случае мифа, политический ритуал создает упрощенную картину действительности, внося смысл и порядок в запутанные, неоднозначные ситуации; внушает отдельному человеку гордость и уверенность, что он не является аутсайдером, но участвует в общем и важном деле; поощряет конформизм и согласие с сакральными порядками, рождая в связи с этим чувство удовлетворения и радости; облегчает социальное общение и взаимопонимание в группе. Любой устойчивый социальный институт предполагает наличие ритуалов как стереотипной моторной активности, в которой масса либо сама участвует (партиципаторный ритуал), либо наблюдает ее на расстоянии (зрелищный ритуал).

Определение В. Тэрнером ритуального символа как «атома», который содержит все специфические свойства ритуала [Тэрнер,

1983, с. 33], близко упомянутому выше пониманию символа как «сжатого мифа». Тёрнеровский «доминирующий символ» ритуала также можно интерпретировать как «сжатый ритуал». Такое расширенное понятие символа позволяет включить в анализ политико-символических стратегий не только отдельные действия (или символические акции) политиков, но также укорененные в данной политической культуре мифы, ритуалы, культы и т.д.

Как и миф, настоящий ритуал выступает важнейшим средством формирования и трансформации идентичностей. Именно компонента «трансформативности» отличает, по мнению антропологов, настоящие ритуалы от простых «церемоний»<sup>1</sup>. Во взаимодействии с мифами политические ритуалы способны оправдывать самые необычные социальные привилегии или лишения. В этой связи указывается на политически двусмысленную функцию политического ритуала: с одной стороны, на его трансформативно-воспитательную силу, с другой – на присущее ему ролевое принуждение и связанную с этим опасность вытеснения индивидуального начала.

Функционалистский метод в социальной (культурной) антропологии акцентирует единство мифов и ритуалов в коммуникативной ткани как традиционных, так и современных обществ. Однако исследование этих символических комплексов в рамках других подходов дает весьма дифференцированную картину, выделяя различные группы магических и религиозных мифов, обнаруживающих специфические отношения к ритуалам [см.: Michaels, 1999]. Но как бы ни трактовались эти отношения, в последние годы заметно усилился интерес к мифам и ритуалам политической коммуникации. Британский антрополог Д.Н. Геллнер заметил в этой связи, что современная политическая наука, одержимая экономическими моделями электорального поведения, полностью пренебрегла вопросом о том, в какой мере ритуалы самого разного рода продолжают оставаться в центре внимания как политических лидеров, так и людей, которые их выбирают [Gellner, 1999, S. 52].

Статус ритуалов в символической политике зависит от идеологических и культурных функций политических мифов. В традиционных обществах политические мифы были встроены в религиозные идеологии, соответственно, сам концепт ритуала был детерминирован религиозной традицией. После ухода великих утопий политическая сфера сама принимает на себя их идеологи-

---

<sup>1</sup> См.: «Ritual is transformative, ceremony confirmatory» [Turner, 1972, p. 339].

ческие и эстетические функции, что становится особенно актуальным при образовании европейских наций. Известный американский историк Дж. Мосс говорит в этой связи о возникновении «нового политического стиля» [Mosse, 1976, S. 7], в котором «любая политическая акция должна была трансформироваться в спектакль» [Mosse, 1976, S. 18]. Главную роль в этом новом стиле играют «политические литургии», которые представляют собой вид ритуалов в рамках политических (или гражданских) религий [см.: Riviere, 1999, S. 26]. В политических литургиях не просто «рассказывается» о власти, но власть *проигрывается* эстетически убедительным образом вместе с порядком ее рангов и вдобавок с намеком на их «высший» смысл.

По мысли немецкого политолога, необходимо *развивать политологию символических форм*, которая бы всерьез занималась эстетическим измерением политики. Не только в тоталитарных режимах, применительно к которым данный вопрос неплохо изучен, но и «в современных западных демократиях культуриндустрия всегда активно участвует в производстве политической эстетики» [Dörner, 1996, S. 40–42]. Подтверждением этого может служить американская гражданская религия, в которой «Декларация о независимости» выступает в роли священного текста, модулируемого далее в многочисленные перформансные жанры, к примеру, в боевики вроде «Рембо» или «Терминатора». По нашему мнению, функционально сходный опыт имеется и в России (например, фильмы «Брат», «Мы из будущего», «9 рота» и др.).

К политологии символических форм, безусловно, относится символическая политика памяти, которая осуществляется посредством особых институтов в публичном пространстве. В зарубежной научной литературе немало пишется о «культурной памяти» [Assmann, 1999] или «культуре памяти» [Faulenbach, 2003], о «политике памяти» [Rappaport, 1990; Savage, 1994; Reichel, 1995; Myth and Memory, 2000] или «политике прошлого» [Umkämpfte Vergangenheit, 1999], прежде всего, в рамках строительства наций. Российский политолог О.Ю. Малинова говорит в этой связи о «публичной истории» как элементе символической политики. Опираясь на концепцию символической власти П. Бурдьё как «власти добиваться признания власти» [Бурдьё, 2001, с. 260], О.Ю. Малинова понимает под символической политикой *«деятельность политических акторов, направленную на производство и продвижение / навязывание определенных способов интерпретации социальной реальности в качестве доминирующих»* [Малинова, 2011, с. 106].

Тем самым символическая политика трактуется не как противоположность «реальной» политики (в духе критики идеологии), а как ее «специфический аспект», хорошо представленный как раз в «политике памяти».

Этой политикой зачастую востребована тонкая реинтерпретация, а не резкая смена символов. И здесь открывается пространство для семантических манипуляций, классическим примером которых может служить переименование национал-социалистами пролетарского Первоя в «День национального труда». Причины, по которым массы поддались на эту грубую манипуляцию и приняли новый праздник, можно интерпретировать с учетом природы символов. Немецкий историк Х. Уберхорст объясняет это «эффектом узнавания», который пробуждает у массы представление, будто при помощи старых символов новая власть будет преследовать и политические цели, выражением которых эти символы когда-то являлись [Ueberhorst, 1989, S. 162]. Аналогичные дискурсивные практики можно наблюдать в процессе (ре-)интерпретации советской и досоветской символики в постсоветских странах.

Культурно-антропологический концепт символической политики позволяет также осмыслить квазирелигиозное взаимодействие мифов и ритуалов в дискурсивном пространстве политического *культа* как практики обожествления политических субъектов – будь то культ политического героя (личности), культ нации (народа) или культ политической партии (движения). Если законченный политический культ отвечает политической религии традиционных и тоталитарных обществ, то светский (секуляризированный) культ выражается в рамках гражданской (национальной) религии демократического режима. Любой политический культ проходит определенные этапы своего становления. Так, применительно к тоталитарному «культу личности» немецкий политолог Р. Лёман выделил три таких этапа: возвеличивание, монументализация и мифологизация [Löhmman, 1990, S. 11].

Современный культ политической личности помимо сакрального включает еще и театральный элемент, что было хорошо показано Р.Ж. Шварценбергом на примере политических «героев». Речь идет не только об аналогии между звездами политики и шоу-бизнеса; суть в том, что в современных обществах, где политики п(р)одают себя как звезды, «сливаются воедино феномены *leadership* und *showmanship*» [Schwartzenberg, 1980, S. 24]. Конечно, в зрелых демократиях культы политических личностей довольно быстро становятся объектом деконструкции, абсурдизации и вы-

смеивания в рамках института политической сатиры. В других случаях – в тоталитарных и авторитарных режимах, а также во времена войн, катастроф и кризисов, – унифицированные масс-медиа создают мифологизированный образ реальности, способствующий возникновению и закреплению разнообразных политических культов.

В рамках культурно-антропологического подхода следует различать мифы, ритуалы и культы как инструменты символической политики и как элементы традиционной политической культуры. В отечественной науке такой подход развивает, к примеру, А.Л. Топорков, проводя существенное различие между мифами традиционными (архаическими, религиозными), с одной стороны, и мифами современными, т.е., политическими и идеологическими, – с другой [Топорков, 2000, с. 45–46]. Но еще раньше на важность этого различия указывал немецкий философ Э. Кассирер, сравнивавший современное мифотворчество с производством боевого оружия [Кассирер, 1990, с. 61].

В целом, развиваемый в культурной антропологии функционалистский подход к сложным символам (мифам, ритуалам, культам) позволяет хорошо описать их прагматическое единство в рамках политико-символических стратегий. В противоположность подходу в духе критики идеологии, антропологическое понимание символической политики акцентирует ее социально-интегративные, стабилизирующие и социально-терапевтические функции. С другой стороны, такой подход склонен абстрагироваться от классово-антагонистических аспектов политического процесса, которые политико-символическими средствами можно только ослабить, но отнюдь не «вылечить».

Заметим также, что, в отличие от чисто семиотического подхода, культурно-антропологический концепт символической политики гораздо больше внимания уделяет социально-психологическим аспектам символических актов. Одним словом, в центре антропологического подхода стоит, скорее, «текстура», чем «текст» символической политики. Вместе с тем семиотическая модель политико-символических стратегий имеет свои преимущества, на которых мы вкратце остановимся в заключение нашего обзора.

## Символическая политика как предмет политической семиотики

С точки зрения семиотики как общей теории знаков все средства коммуникации обнаруживают в своей основе паралингвистический характер. И культурные феномены, как подчеркивает в своем «Введении в семиотику» Умберто Эко, могут изучаться таким образом, как если бы они были знаковыми системами [Eco, 1972, S. 295]. Семиотика культуры предполагает, что понятие текста может и должно быть расширено на целые произведения, ритуалы, культурные эпохи. Ведь они тоже выполняют условие текстуальности, будучи «осмысленными последовательностями элементов» [Eimermacher, 1986, S. 39].

Мифы, ритуалы и другие сложные символические формообразования суть по природе своей смысловые единицы, которые могут быть истолкованы как определенный способ использования знаков. Отсюда становится очевидной существенная связь между драматологическим и семиотическим концептом символической политики, связь, которая с необходимостью возникает на основе лингвистического определения социальных интеракций. И в рамках перформансного подхода оформилось «понимание того, что такие жанры, как ритуал, церемония, карнавал, празднество, зрелище, парад и спорт, могут быть рядом перекрывающихся метаязыков, причем на разных уровнях и в разных вербальных и невербальных кодах» [Turner, 1989, S. 159]. Соответственно, нужна специальная семиотическая теория смысла, способная проникнуть в суть такого рода перформативных процессов.

Применение семиотического метода при описании и анализе политических практик, конечно, не есть нечто само собой разумеющееся, особенно если принять во внимание парсонсовское аналитическое разграничение социальной и культурной систем. Однако, как заметил известный немецкий публицист и медиатеоретик Г. Просс, семиотика и теория коммуникации становятся политическими науками, коль скоро они размышляют о регулировочных механизмах культур [Pross, 1983, S. 12]. К примеру, широко обсуждаемая в политической науке тема нациестроительства непосредственно затрагивает культурную политику данного общества, что делает культурно-семиотический подход востребованным для политического анализа.

С опорой на Ю.М. Лотмана, можно сказать, что любое политическое поведение разворачивается в семиосфере как обществен-

ном знаковом пространстве с габитуализированным присутствием различных (по типу и уровню) политических символов. Эта политическая семиосфера является не нейтральной знаковой средой, а местом различных властных эффектов, целевой точкой которых является не столько тело, сколько «душа», мышление, восприятие и ощущение. Это – тот символический универсум, вне которого символический политический акт как разновидность семиозиса вообще не мог бы стать реальностью [Лотман, 1992, с. 13].

С точки зрения нашей темы представляется интересным концепт «политической семиотики», предложенный А. Дёрнером. Под ней подразумевается «семиотический анализ, который описывает, как устанавливаются знаки в политическом процессе, как они связываются со значениями и какие функции они выполняют внутри социальной группы» [Dörner, 1996, S. 20]. Дёрнер рассматривает семиотическое измерение политики с двух взаимосвязанных точек зрения: символической политики и политической культуры.

Под «символической политикой» немецкий политолог понимает, с опорой на социологию символических форм П. Бурдьё, стратегическое использование символического капитала как постоянную борьбу за «власть наречения»: за возможность обязательного установления наименований, понятий и интерпретаций. Предлагая собственное понимание политики, А. Дёрнер полемизирует с подходом в духе критики идеологии, представленным в теориях М. Эдельмана, У. Сарцинелли, Т. Майера и др. В отличие от них, А. Дёрнер подчеркивает, что политико-символический акт есть не столько отвлечение и симуляция, псевдо- и эрзац-политика, сколько незаменимый способ политического управления.

Политическую культуру в качестве «второй семиотической перспективы политики» Дёрнер понимает как семиотически выкристаллизовавшийся результат коммуникативных процессов и одновременно – как нефальсифицируемые рамки для всякой попытки практиковать символическую политику. Со своей стороны, символическая политика может в форме стабильных очевидностей упрочиться в семиотических институциях и закрепиться в виде определенной политической культуры. Если эта долгосрочная перспектива вовлекается в стратегические расчеты, тогда можно говорить о *конструировании* политической культуры. По словам А. Дёрнера, затвердевшая до политического культа символическая политика образует основу для строительства соответствующей политической культуры [Dörner, 1996, S. 30].

Конечно, взаимоотношения символической политики и политической культуры – это предмет особого и обстоятельного разговора, для которого у нас здесь, к сожалению, нет места. Заметим лишь, что тезис Дёрнера о конструировании политической культуры открывает важную методологическую перспективу для анализа политико-символических стратегий в рамках современного нациестроительства. С этой точки зрения представляется интересным развитое в русской семиотической традиции понятие культуры как биологически ненаследуемой памяти человеческого коллектива, памяти, понятой как текст. Признание исторического события как существующего культурного феномена означает его принятие в текст коллективной памяти. Напротив, забвение понимается как исключение соответствующих текстов из состава культуры. История уничтожения текстов, их удаления из резервов коллективной памяти всегда сопровождается историей создания новых текстов [Lotman, Uspenskij, 1986, S. 859].

Здесь мы видим очевидные параллели между культурно-антропологическим и культурно-семиотическим рассмотрением селективности любой культуры. Символическая политика нациестроительства, которая по сути своей имеет дело с «изобретением традиции», тоже может трактоваться как целенаправленная работа над коллективной памятью, связанная с переосмыслением, реинтерпретацией, изобретением или забвением исторических фактов.

Практика переименований, также составляющая важный элемент «изобретения традиции», имеет глубокие корни в мифомышлении, поскольку – как указывает семиотика культуры – система имен собственных образует особый мифологический слой языка, а понимание мифологии в некотором смысле равносильно припоминанию [Лотман, Успенский, 1992, с. 62, 67]. При анализе политико-символических актов важно учитывать, что спонтанно возникающие в общественном сознании мифологические слои принципиально отличаются от сознательных попыток «имитировать мифогенное сознание средствами немифологического мышления» [Лотман, Успенский, 1992, с. 69].

При всех преимуществах культурно-семиотического подхода к символической политике, отвергающего бихевиористскую редукцию «культуры» к «attitudes» und «orientations», сам этот подход тоже обнаруживает методологический редукционизм. Последний связан с базисной метафорой «механизма» при описании культуры («культура как *механизм* для организации и хранения информации в коллективном сознании»), как «вспоминающий *ме-*



ханизм» и т.п.) [Lotman, Uspenskij, 1986, S. 857]. Упомянутая выше «политология символических форм» Дёрнера призвана, помимо прочего, отчасти смягчить этот редукционизм, объединяя в себе подходы из классических теорий мифов, социологии символических форм П. Бурдьё, культурологии в широком смысле и др. [Dörner, 1996, S. 35–39]. Однако соотношение между «политологией символических форм» и «политической семиотикой» остается у немецкого политолога не совсем прозрачным.

Другой проблемной точкой культурно-семиотического подхода является динамика культурных кодов и текстов. Для углубленного понимания символической политики важно учитывать внутренний диалог внутри значительных (к примеру, национальных) дискурсивно-культурных формаций. Методологической базой здесь может служить тезис Ю.М. Лотмана о структурной неоднородности семиотического пространства как резерве его динамических (диалогических) процессов, генерирующих принципиально новую информацию [Лотман, 1992, с. 16–19].

Полезно было бы использовать при этом понятие «потенциальных текстов» культуры как процессуальной структуры, в которой различные концепты, благодаря присущей им семантической связи, как бы предполагают и «ожидают» друг друга [Романов, 1991, с. 119]. Соответственно, можно говорить и о «потенциальной культуре» [Глебкин, 1998, с. 51], в том числе потенциальной *политической* культуре, к становлению которой символическая политика имеет непосредственное отношение.

\*\*\*

При ближайшем рассмотрении и сравнении различных подходов к символической политике, с одной стороны, оказывается, что очевидные различия между ними обусловлены чисто аналитическими причинами. Возможно, было бы разумнее в этом случае говорить не столько о различных *подходах* (моделях, теориях), сколько о дополняющих друг друга методологических *акцентах* при анализе политико-символических стратегий. В пользу этого суждения говорит, прежде всего, концепция символической политики М. Эдельмана, в которой представлены – в той или иной форме и степени – практически все указанные выше подходы. Однако, с другой стороны, как раз критическая рецепция книг Эдельмана и его полемика с теми же «плюралистами» обнаруживают и глубокие основания для принципиальных различий в современных концептах символической политики. Эти различия

уходят корнями в существенность дисциплинарных и методологических границ, а также идейно-политических разногласий авторов, занимающихся данной проблематикой. Правда, на чисто функциональном уровне, отвлекаясь от упомянутых различий, единство подходов к символической политике можно установить, принимая во внимание три измерения любого политико-символического акта: утилитаристское, художественно-эстетическое и сакральное. Все формы символической политики обнаруживают эти измерения, правда, в разной степени, с разными акцентами и в разных конstellациях.

## Литература

- Бурдые П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, К.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с.
- Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. – М.: Янус-К, 1998. – 168 с.
- Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А.Д. Ковалева. – М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. – 304 с.
- Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестн. МГУ. Сер. 7. Философия. – 1990. – № 2. – С. 58–65.
- Лотман Ю.М. О семиосфере // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-х т. – Таллин: Александра, 1992. – Т. 1. – С. 11–24.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-х т. – Таллин: Александра, 1992. – Т. 1. – С. 58–76.
- Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // Pro et Contra. – 2011. – Т. 15, № 3–4 (май-август) – С. 106–122.
- Малиновский Б. Магия, наука и религия / Пер. с англ. П. Хомика; Под ред. О.Ю. Артемовой. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с.
- Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 190 с.
- Топорков А.Л. Миф: традиция и психология восприятия // Мифы и мифологии в современной России / Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. – М.: АИРО-XX, 2000. – С. 39–64.
- Тэрнер В. Символ и ритуал. – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1983. – 277 с.
- Assmann A. Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. – München: Beck, 1999. – 424 S.
- Balme Ch. B. «Verwandter der Kern aller Menschen». Zur Annäherung von Theaterwissenschaft und Kulturanthropologie // Ethnologie und Inszenierung: Ansätze zur Theaterethnologie / B.E. Schmidt, M. Münzel (Hrsg.). – Marburg: Curupira, 1998. – S. 19–44.
- Bourdieu P. Sozialer Sinn: Kritik der theoretischen Vernunft. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. – 335 S.

- Dörner A. Politischer Mythos und symbolische Politik. Der Hermann-Mythos: zur Entstehung des Nationalbewußtseins der Deutschen. – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1996. – 421 S.
- Eco U. Einführung in die Semiotik. – München: Wilhelm Fink, 1972. – 474 S.
- Edelman M. Constructing the Political Spectacle. – Chicago; London: The Univ. of Chicago press, 1988. – 137 p.
- Edelman M. Political language. Words that succeed and policies that fail. – N.Y. e.a.: Academic press, 1977. – 166 p.
- Edelman M. Politik als Ritual: die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. – Frankfurt am Main; N.Y.: Campus Verlag, 1990. – xiv, 202 S.
- Edelman M. The symbolic uses of politics. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1964. – 164 p.
- Eimermacher K. Zur Entstehungsgeschichte einer deskriptiven Semiotik in der Sowjetunion // *Semiotica Sovietica: sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen, (1962–1973)* / K. Eimermacher (Hrsg.). – Aachen: Rader, 1986. – Bd. 1. – S. 11–69.
- Faulenbach B. Erinnerungskultur – Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus und Stalinismus in Deutschland // *Kultur – Kulturpolitik – Kulturwissenschaft. Traditionen und neue Debatten in Ost und West.* – Bochum: Institut für Deutschlandforschung, 2003. – S. 52–72.
- Goffman E. Geschlecht und Werbung / Aus dem Amerik. von T. Lindquist. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981. – 328 S.
- Himmelstrand U. Social pressures, attitudes and democratic processes. – Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1960. – 471 p.
- Köpping K.P. Inszenierung und Transgression in Ritual und Theater. Grenzprobleme der performativen Ethnologie // *Ethnologie und Inszenierung: Ansätze zur Theaterethnologie* / B.E. Schmidt, M. Münzel (Hrsg.). – Marburg: Curupira, 1998. – S. 45–86.
- Kurt R. Inszenierungen von Politikern in den Medien Film und Fernsehen. Mussolini, Hitler, Kohl und Schröder // *Medieninszenierungen im Wandel: Interdisziplinäre Zugänge* / Ch. Schicha, R. Ontrup (Hrsg.). – Münster: Lit, 1999. – S. 173–179.
- Kurz G. Metapher, Allegorie, Symbol. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982. – 103 S.
- Lotman Ju.M., Uspenskij B.A. Zum semiotischen Mechanismus der Kultur // *Semiotica Sovietica: sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen, (1962–1973)* / K. Eimermacher (Hrsg.). – Aachen: Rader, 1986. – Bd. 2. – S. 853–880.
- Löhmann R. Der Stalinmythos: Studien zur Sozialgeschichte des Personenkultes in der Sowjetunion, (1929–1935). – Münster: Lit, 1990. – 360 S.
- Mennicken T. Performanz und Penetranz. Theatererfahrung und Ethnologie: Vierzehn Szenen // *Ethnologie und Inszenierung: Ansätze zur Theaterethnologie* / B.E. Schmidt, M. Münzel (Hrsg.). – Marburg: Curupira, 1998. – S. 517–536.
- Meyer T. Inszenierung des Scheins. Voraussetzungen und Folgen symbolischer Politik. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992. – 205 S.
- Meyer T. Inszenierung und Rationalität // *Medieninszenierungen im Wandel: Interdisziplinäre Zugänge* / Ch. Schicha, R. Ontrup (Hrsg.). – Münster: Lit, 1999. – S. 168–172.
- Meyer T. Die Transformation des Politischen. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. – 276 S.
- Meyer T., Kampmann M. Politik als Theater. Die neue Macht der Darstellungskunst. – Berlin: Aufbau-Verlag, 1998. – 144 S.

- Meyer T., Ontrup R. Das Theater des Politischen: Politik und Politikvermittlung im Fernsehzeitalter // Inszenierungsgesellschaft / H. Willems, M. Jurga (Hrsg.). – Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. – S. 523–541.
- Michaels A. «Le rituel pour le rituel» oder wie sinnlos sind Rituale? // Rituale heute: Theorien – Kontroversen – Entwürfe / C. Caduff, J. Pfaff-Czarnecka (Hrsg.). – Berlin, 1999. – S. 23–47.
- Mosse G.L. Die Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen von den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich / Aus dem Engl. von O. Weith. – Frankfurt am Main; N.Y.: Campus, 1993. – 286 S.
- Münch R. Dynamik der Kommunikationsgesellschaft. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995. – 313 S.
- Myth and memory in the construction of community: historical patterns in Europe and beyond. – Bruxelles; Bern; Berlin; Frankfurt am Main; N.Y.; Wien: PIE Lang, 2000. – 329 p.
- Ontrup R. Die Macht des Theatralischen und die Theatralität der Macht // Kommunikation im Wandel. Zur Theatralität der Medien / U. Göttlich, J.-U. Nieland, H. Schatz (Hrsg.). – Köln: Halem, 1998. – S. 20–35.
- Pross H. Ritualismus und Signalökonomie // Rituale der Medienkommunikation / H. Pross, C.-D. Rath (Hrsg.). – Berlin, 1983. – S. 8–12.
- Rappaport J. The politics of memory: native historical interpretation in the Colombian Andes. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990. – xiv, 226 p.
- Reichel P. Politik mit der Erinnerung: Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit. – München: Hanser, 1995. – 387 p.
- Riviere C. Politische Liturgien // Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich / A. Pribersky, B. Unfried (Hrsg.). – Frankfurt am Main e.a.: Peter Lang, 1999. – S. 25–38.
- Sarcinelli U. Parteien und Politikvermittlung: Von der Parteien – zur Mediendemokratie? // Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft. Beiträge zur politischen Kommunikationskultur. Bundeszentrale für politische Bildung / U. Sarcinelli (Hrsg.). – Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1998 a. – S. 273–296.
- Sarcinelli U. Politikvermittlung und Demokratie: Zum Wandel der politischen Kommunikationskultur // Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft. Beiträge zur politischen Kommunikationskultur / U. Sarcinelli (Hrsg.). – Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1998 b. – S. 11–23.
- Sarcinelli U. «Staatsrepräsentation» als Problem politischer Alltagskommunikation: Politische Symbolik und symbolische Politik // Staatsrepräsentation / J.-D. Gauger, J. Stigel (Hrsg.). – Berlin: Reimer, 1992. – S. 159–174.
- Sarcinelli U. Symbolische Politik. Zur Bedeutung symbolischen Handelns in der Wahlkampfkommunikation der Bundesrepublik Deutschland. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. – 301 S.
- Savage K. The politics of memory: black emancipation and the civil war monument // Commemorations. The politics of national identity / Ed by J.R. Gillis. – Princeton, NJ: Princeton univ. press, 1994. – P. 127–149.
- Schicha Ch. Politik auf der «Medienbühne» // Medieninszenierungen im Wandel: Interdisziplinäre Zugänge / Ch. Schicha, R. Ontrup (Hrsg.). – Münster: Lit, 1999. – S. 139–167.

- Schwarzenberg R.-G. Politik als Showgeschäft. Moderne Strategien im Kampf um die Macht. – Düsseldorf; Wien: Econ, 1980. – 377 S.
- Soeffner H.-G. Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Zur wissenssoziologischen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik / H.-G. Soeffner, L. Vogt (Hrsg.). – Frankfurt am Main, 1989. – 235 S.
- Turner V. Betwixt and between: the liminal period in Rites de Passage // Reader in comparative religion: An anthropological approach / W.A. Lessa, E.Z. Vogt (eds.) – 3 th ed. – N.Y.: Harper and Row, 1972. – P. 338–347.
- Turner V. Vom Ritual zum Theater: Der Ernst des menschlichen Spiels. – Frankfurt am Main: Fischer, 1989. – 198 S.
- Ueberhost H. Feste, Fahnen, Feiern. Die Bedeutung politischer Symbole und Rituale im Nationalsozialismus // Symbole der Politik – Politik der Symbole / R. Voigt (Hrsg.). – Opladen: Leske & Budrich, 1989. – S. 157–178.
- Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich / P. Bock (Hrsg.). – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. – 304 S.
- Willems H. Inszenierungsgesellschaft? Zum Theater als Modell, zur Theatralität von Praxis // Inszenierungsgesellschaft / H. Willems, M. Jurga (Hrsg.). – Opladen; Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 1998. – S. 23–81.

**Н.М. Мухарямов**

**О СИМВОЛИЧЕСКИХ НАЧАЛАХ  
В ЯЗЫКЕ ПОЛИТИКИ  
(ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)<sup>1</sup>**

Термин «символическая политика» связан с несколькими коннотациями, вступающими в противоречие друг с другом, что чревато определенными недоразумениями. С одной стороны, здесь предполагается политическая деятельность, прибегающая к особым – знаковым – способам своей организации. Символы в политике выполняют ответственные функции – оформляют идентичность политических сообществ как целостных образований, а также идентичности групповых субъектов политических отношений на микро-, мезо- и макроуровнях. Они мобилизуют сторонников, они призваны деморализовать противников. Наконец, они легитимируют все формы сознания и практики, играя тем самым незаменимую прагматическую роль.

Прагматика как язык в действии, согласно определению классиков семиотики Ч.С. Пирса и Ч.У. Морриса, имеет дело с отношением между знаком и его интерпретатором, теми, кто продуцирует знаки, транслирует их и принимает. Широко известна триада науки о знаках: синтактика (межзнаковые отношения), семантика (отношения между знаком и обозначаемым) и прагматика (отношения между знаками и их интерпретаторами).

С другой стороны, символическая политика часто трактуется как нечто, имитирующее реальные действия. Символическое здесь полагается в качестве субститута – замещения практической поли-

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант 11-03-00621а.

тики через своеобразный эффект «плацебо», т.е. в качестве fake-версии «аутентичной» политики. В этом толковании символическая политика вписывается в терминологическую перспективу – «ритуальная политика», «церемониальная политика», «симулятивный язык». Б. Дубин помещает в это семантическое поле и дефиницию: «Будем понимать под символической политикой формирование, поддержание и трансляцию представлений о коллективной идентичности, образов настоящего и прошлого, фигур власти и угроз социальному целому с помощью системы масс-медиа, публичных ритуалов мобилизации и солидарности». Инструментом осуществления такой политики он называет символизацию безальтернативности («стабильность», «суверенитет», сплочение нации); меморизацию коллективной идентичности (символы прошлого); медиатизацию (зрительская симуляция принадлежности) [Дубин, 2006, с. 18].

Соотнесение «настоящей» и «чисто символической» политик предпринимается на основании совокупности измерений [Blühdorn, 2007, p. 257]:

Таблица

	<b>аутентичная политика</b>	<b>символическая политика</b>
онтологические качества	истина, оригинальность, производство политики, субстантивная политика	фальшь, поддельный вид, презентация политики, виртуальная политика
эффективность	социальная эффективность: фокус на интересах, нуждах и проблемах подвластных	политическая эффективность: фокус на интересах, нуждах и проблемах политических элит
этические качества	честность, прямота, инклюзия, транспарентность, доверие	нечестность, обманчивость, двуличие, эксклюзия, замаскированная коррупция
влияние на политическую культуру	создание доверия к демократическим институтам, рациональная публичная делиберация, заинтересованность и участие	подрыв доверия к демократическим институтам, удушение рациональной делиберации, порождение апатии

Если подойти к теме более широко, то антиномия «семиотичность – симулятивность» снимается через признание фундаментального обстоятельства, что символизм составляет имманентную сторону политического. Такова широко известная теоретическая позиция П. Бурдьё (а это один из общепризнанных классиков в рассматриваемой теме), ссылаясь на которую, О.Ю. Малинова

предлагает рассматривать символическую политику не как противоположность, но как специфический аспект «реальной» политики [Малинова, 2010, с. 92].

Символизм политического, символизм власти – суть явления базового характера. Эти свойства не имеют, условно говоря, надстроечного по отношению к политическому универсуму свойства. Это не есть нечто такое, что можно «вынуть» из реальности без последствий разрушительного характера. Символизм присущ властвованию как элемент его генезиса и на онтологическом уровне. Колонны Диониса в Фивах и Аполлона в Дельфах, замки, крепости, дворцы, корона, меч, геральдика – все это символы власти [Ковачев, 2006, с. 249–260]. Символы, согласно гипотезе В.В. Бочарова, «не просто оформляют власть, но, в известном смысле, тождественны ее содержанию» [Бочаров, 2006, с. 275]. Власть и символизируется и символизирует. Характерный комментарий к феномену власти как прерогативы номинарования (по П. Бурдьё): «Скипетр королей и царей – признак речи, которая имеет право определять реальность; он возник из *skeptron* древних греков, передававших его друг другу во время коллективных обсуждений, чтобы обозначить того, кто в данный момент наделен группой правом авторитетной речи» [Хархордин, 2011, с. 69].

Символизм в политике имеет древние метафизические, теологические корни, которые прослеживаются, как показывает Ю. Хабермас, от самых истоков организованной государственности до современности. «Архаические ритуальные практики были преобразованы в государственные ритуалы – общество, как единое целое, представляло себя в фигуре правителя. Это именно то символическое измерение слияния политики и религии, для описания которого может быть использовано понятие политического. ... Таким образом, политическое означает символическую репрезентацию и коллективное самопонимание сообщества, которое отличается от племенных обществ своим рефлексивным поворотом к сознательной, а не спонтанной форме социальной интеграции» [Хабермас, 2011]. Миссия поддержания социальной интеграции была, следовательно, изначально не реализуема без символического оформления. Сохраняются, по-видимому, все основания усматривать продолжение закономерной взаимной привязанности символического и политического и в фазисах секуляризации.



## Символы в языке политики: Семиотический статус

Оценочная конфронтация, конфликт негативно и позитивно окрашенных образов, присутствие символов и символического в политике естественным образом переносятся и в область собственно политического языка. Неудивительно, что в исследованиях политики признание объективной обоснованности и значимости использования символов (морально легитимной «экспрессивно-символической» стороны дела) противопоставляется иному видению: символические «эрзацы», суррогаты, инсценировки, суггестия; «оккупация» смыслов, манипуляции, декор, шумовой эффект, – все это – характерные изобразительные приемы, создающие «темную» картину символического в политике, которую иногда именуют «семантической политикой». Как пишет С.П. Поцелуев: «*Семантическая политика* – это оперирование символами в сфере политического языка, т.е. инсценирование смыслов и значений политических языковых символов. ...Традиционный политический язык ценил аргументацию, был близок к текстам и опирался на научные теории. Именно это придавало политической речи авторитет. Но после краха великих утопий язык становится разменной монетой политического бизнеса» [Поцелуев, 1999, с. 70].

Приведенная позиция, естественно, может вызывать разные полемические реакции, связанные и с мерой оправданной категоричности и логикой аргументации. Почему, к примеру, такая политика квалифицируется именно в качестве *семантической*, если в центре внимания оказываются символы? В любых ли своих исторических изводах «традиционный политический язык» опирался на научные теории? Или, наконец, насколько «великим утопиям» был свойствен иммунитет от «инсценирования» символов политического языка? Корректнее, по-видимому, усматривать в манипуляциях извечную практику политического использования языка. Со времен «Политики» Аристотеля слово «демагог» имеет, как минимум, две смысловые ипостаси. С одной стороны, демагоги – это сторонники «крайней демократии», отдающие предпочтение не законам, а воле народного собрания. «В тех демократических государствах, где решающее значение имеет закон, демагогам нет места; там на первом месте стоят лучшие граждане; но там, где верховная власть основана не на законах, появляются демагоги», – утверждал Аристотель. С другой стороны, демагогия отождествлялась им с «мастерством по части красноречия», с желанием «подольститься к народу» [см.: Аристотель, 1984, с. 496–497; 536–537].

Вопрос о том, насколько символы в языке политики поддаются контрафактному воспроизведению и распространению, – один из ключевых моментов в рассматриваемой теме. Возможные варианты решений зависят от учета семиотического статуса символа в процессе политического использования языка. По этому предмету идут нескончаемые споры. Логика аргументов, которыми оперируют участники дискуссий, задается исходной дистинкцией «знак – символ». «Символ (как и образ) создает общую поведенческую модель, знак – регулирует конкретные действия, – пишет Н.Д. Арутюнова. – ...Знак и символ способны на разные преступные действия: знак может солгать, символ – обмануть. В символе можно обмануться, в знаке – ошибиться. Знак не может быть произвольно фальсифицирован: реакция адресата программируется им достаточно однозначно. Символ мощен, но беззащитен. Его, как и образ легко фальсифицировать. В символе, а не в знаке, зарождается демагогия» [Арутюнова, 1999, с. 344]. Знак и символ – по-разному конвенциональны, по-разному включены в коммуникацию – с различной степенью императивности.

Согласно классической типологии Ч.С. Пирса, иконы, индексы и символы – особые разновидности знака. Качества иконы схожи с качествами объекта; индекс, будучи связан со своим объектом, образует с ним органическую пару. «Символ связан со своим объектом через идею пользующегося символом ума», он *«применим к чему бы то ни было, что может воплощать идею, связанную со словом»* [Пирс, 2000, с. 216, курсив Ч.С. Пирса]. Основное свойство символа – в том, что он конвенционален (т.е. не имеет изначально заданной и объективно обусловленной связи со своим референтом), тогда как в случае иконы и индекса такая связь является мотивированной. «Пирс выделяет три типа знаков: индексы, иконические знаки и символы, – пишет российский философ Ф. Гиренок. – В их основе лежат причинность, сходство и условность. Например, дым – это знак огня. Фотография человека – знак человека. Рыба – знак Христа. Флюгер – вырожденный знак, ибо показывает направление ветра, а не означает ветер» [Гиренок, 2012, с. 74].

Символ, таким образом, репрезентирует идею, икона – объект или его деталь [см.: Тайсина, 2003, с. 105].

С семиотической точки зрения, символ призван не указывать, не сигнализировать, не обозначать или маркировать, но – что в высшей степени важно для политического функционирования символа – выражать, представлять. «Мы избежим большой пута-

ницы и игры слов, – писала Сьюзен Лангер, – если признаем, что обозначение не фигурирует в символизации вообще» [Лангер, 2000, с. 175].

Символ, естественно, по-разному трактуется на разных «горизонтах» и уровнях сознания.

На «низовом» уровне – в обиходе «наивной семиотики», в общеупотребительном варианте, о чем так часто говорится как о «чисто символическом», т.е. замещающем реальное действие. Здесь символы отождествляются с эмблемами. Это – отображение предмета (символика, атрибутика и пр.). Дистанция между абстрактным и конкретным в данном случае минимальна [см.: Мечковская, 2004, с. 192].

На уровне научного познания – в логико-математических процедурах – символы отвечают за кодировку, т.е. знак как символ приобретает иной семиотический статус и включается в более строгую – иерархическую – типологию по степени абстрактности, по признаку дистанции от обозначаемого: естественный знак – указывает; образ – отражает; слово – описывает; буква – фиксирует; символ – кодирует [Соломоник, 2002, с. 132].

Важной стороной функционирования «символических явлений» в контекстах науки становится то, что они, во-первых, выражают и представляют идеи (а не факты) и, во-вторых, символизируют отношения, а не субстанции [см.: Лангер, 2000, с. 23]. Следовательно, говоря о символических началах в языке политики, требуется разграничивать принципиально соперничающие парадигмальные ракурсы – субстанциональный и реляционный (связанный не с вещами, а с отношениями).

На самых «высоких» уровнях сознания символы попадают в царство метафизического, в область экзистенциальности, трансцендентности – выходят за свои пределы. Символы здесь воплощают идеальное в его мифологических, сакральных, вероисповедных, эстетических изводах, не поддающихся рассудочным операциям дешифровки (декодирования). Символы, символический язык, как писал Павел Флоренский, «знаменуют» соотношение высшего и низшего бытия, горнего и дольного в противоположность чувственным представлениям и «чувственному языку» [см.: Флоренский, 1990, с. 560].

Символ на этих горизонтах «не дан, а задан», он принципиально полисемичен, чем более многозначен – тем содержательнее, опосредованно своими смыслами сцеплен с «самым главным», в него надо «вжиться» [Аверинцев, 1971, с. 826].

Иное дело, что качество экзистенциальности одними авторами за символом признается, другими – нет. Об этом специально высказывался Ролан Барт в «Основах семиологии», указывая на различие подходов Пирса (отрицание экзистенциальности символа) и Юнгом (утверждение таковой) [см.: Барт, 2000, с. 264–265].

В контексте размышлений о метафизике символа формулируется еще одна принципиальная дестинкция его сознательного восприятия – «знание vs понимание». М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский писали: «Символы мыслятся нами как репрезентация не предметов и событий, а *сознательных посылок и результатов сознания*». Способность людей быть на уровне символов сама по себе реализуется на разных ступенях посвященности. Есть «индивиды символической жизни», а есть те, кто принимает лишь одну сторону символов. То есть можно знать «бухгалтерию» символизма, но не понимать ее. «Но символ можно и *понимать*. Кто понимает символ, не нуждается в балансе расчета наказаний, поощрений, указаний и оправданий» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 99, 182]. Ключевая роль такого различения применительно к теме «язык – политика – символ» очевидна. Речь, по существу, идет о том, как символы способны повлиять на сопричастность человека к политической действительности, формировать и менять его когнитивные компетенции при восприятии практики властвования, при взаимодействии с институтами, при «вживании» в символический мир политики.

Таким образом, природа символического, его эпистемологический статус трактуются в весьма широких вариациях, от чего напрямую зависят решения и ответы, касающиеся политического языка. Возникающие в связи с этим вопросы в свою очередь образуют значимую тематическую область политологического познания. Чем является символ применительно к политическому использованию языка? Что представляют собой объекты символизации в языковом пространстве политического – много их или мало, дискретны они или континуальны? Каковы механизмы воздействия символических структур и явлений политического языка на сознание и поведение многообразных действующих лиц – индивидуальных и групповых, стихийных и институциональных? Насколько символизм политического языка поддается технологическим манипуляциям в целях мобилизации, борьбы, отчуждения, принуждения, господства, насилия и пр.?

Встает, наконец, и круг специальных вопросов, которые связаны с динамичными качественными изменениями политической

жизни и политических коммуникаций – с происходящим в сфере новых информационно-коммуникационных технологий. Что будет происходить с языковыми символами в политике под воздействием кардинальных перемен? Будут ли символы подвергаться трансформациям в координатах «вербализация – девербализация»?

Формат предлагаемого материала, естественно, не может претендовать на то, чтобы дать ответы на поставленные вопросы в систематизированном виде и в требуемой полноте. Предполагаются, скорее, варианты логического продвижения в направлении возможных решений.

### **Что символизируется в языке политики**

Применительно к связке «язык – политика» существуют бесчисленные объекты и способы символизации, которые не всегда доступны для строгих классификаций, тем более – таксономий. Возможной представляется направленность рассуждений, которая опиралась бы на критерий абстрактности символов, на содержащуюся в них дистанцию между означаемым и означающим.

Следует, прежде всего, отметить, что символизации могут подвергаться любые явления – как в самой политической жизни, так и в языковой реальности. Иное дело, о какого рода символах может идти речь в тех или иных конкретных случаях, точнее – о символах какого семиотического ранга или уровня. Отсюда вытекают возможные квалифицирующие оценки. В каких-то вариантах – в наивной семиотике и в обиходном употреблении слов – это символ, равный знаку, то, что правильнее было бы назвать меткой, внешне идентифицирующим признаком, сигналом, ритуальным жестом, своего рода «лейблом», «бейджиком». В других сегментах информационного пространства политики связь между означаемым и означающим приобретает более сложный, опосредованный и, что самое существенное, многозначный вид. Ошибки в «считывании» символа-знака – суть утилитарные дисфункции. Применительно же к символам более «высокого» порядка говорить следует уже не о распознавании, не об узнавании, но о реакциях иного когнитивного свойства – об ассоциациях и рефлексии. Таковы, к примеру, символы, функционально близкие к эмблемам. К тому же разряду, вероятно, могут быть отнесены фигуры пропаганды, медийные штампы, стереотипы, речевые клише и пр. На принципиально ином уровне находятся политические вербальные символы высокой степени абстракции, относящиеся к области метафизиче-

ского, экзистенциального, трансцендентного. Здесь, как было выше отмечено, предполагается как знание, так и понимание символического в политике, точнее – во взаимодействии языка и политики.

На каждом уровне по-разному складываются условия вхождения в коммуникацию, возможности технологического использования, в том числе – в целях манипуляции, контроля или принуждения.

Один из наиболее существенных моментов тематического круга «язык – политика – символ» связан с тем, какие феномены содержат в себе возможности символизации в политико-лингвистических контекстах. На первый взгляд, как кажется, абсолютно любые. В самом деле, символической актуализации может подвергаться все, что угодно. Это и фонологические черты индивидуального речевого поведения, и начальственные резолюции (подпись как своеобразный графический символ административных полномочий). Это и слоган, призыв, клятва, «сакральный» текст, и тезаурус, и социолект, и, наконец, язык как таковой в его целостных характеристиках. Символическую «нагруженность» могут получать дискретные явления языковой жизни или ее системные свойства, возникшие благодаря мерам кодификации, нормализации и пр.

Однако в политическом использовании языка явно присутствуют пределы символизации. Существуют различия между областью условного, сугубо конвенционального, многозначного, связанного с воображаемым, с одной стороны, и когнитивными зонами системно упорядоченного, поддающегося дефинициям, не экспрессивного, терминологического, собственно дискурсивного – с другой. Причем, одно и то же явление, одно и то же слово может обнаруживать себя либо в пространстве символов, либо в сфере рационально-дискурсивного. Решающая роль здесь принадлежит контексту, возникающим коннотациям, интенциям субъектов говорения.

Сказанное иллюстрируется множеством примеров. Характерна в этом отношении композиция книги Г. Гусейнова «Д.С.П. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х», одна из глав которой называется «Идеологемы – от букв до цитаты». В круг анализируемых предметов попадают элементы идеологического сообщения, включая, как отмечает автор, «мельчайшие значащие единицы» – от буквы до устойчивого словосочетания. Особый символический смысл имели отказ от «ер»<sup>а</sup> в ходе реформы русского языка 1918 года, имевший целью демократизирующее упрощение, и его явочный реверсивный возврат – столь же символический – в 1990-е [см.: Гусейнов, 2003, с. 44–45].

Другие примеры из этого ряда – акцент, падежные окончания (Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германии), предлоги («на» или «в» Украине), топонимы.

Фонетический строй речи («легитимное произношение») – например, артикуляцию фонемы «г», – Пьер Бурдьё относил к символическому капиталу и его составляющей – языковому капиталу. «Борьба между французским языком революционной интеллигенции и местными наречиями и говорами – это борьба за символическую власть...» [Bourdieu, 1999, p. 48].

Показательны и «кейсы» политико-символических дискуссий вокруг графической основы языка. Успешный опыт перевода турецкого языка с арабской орфографии на латинскую – эффект принудительной «романизации», проведенной Ататюрком, – имеет символическую основу. Реформа ассоциировалась со стратегией роста турецкого национального самосознания в противовес исламскому и персидскому векторам идентификации, со стремлением соединить турецкий секуляризированный национализм с европейскими ценностями [см.: Андерсон, 2001, с. 69, 240]. Перевод графической основы тюркоязычных народов на латиницу в конце 1920-х годов происходил в идеологическом контексте романтического интернационализма и ожидания скорой мировой революции. Спустя приблизительно десятилетие все тюркские языки народов СССР были переведены на кириллическую графику, что также символизировало возобладавшие принципы централизации. После распада Союза ССР новые независимые государства с тюркоязычным титульным населением вновь заявили о намерении вернуться к унифицированному варианту турецкого алфавита. К этому движению в начале 1990-х годов присоединилась и Республика Татарстан, что наделало тогда немало шума. В каких-то республиках внедрение турецкого алфавита перешло в практику, но, например, в Казахстане, по оценкам экспертов, остановилось на символическом уровне. Для Татарстана такой переход был заблокирован федеральными мерами законодательного характера. Однако во всех случаях символические – постимперские – основания, по-видимому, преобладали, хотя эксплицитно на первом месте стояли доводы утилитарно-прикладного характера (фонетическая адекватность передачи некоторых звуков латинскими буквами, более свободный доступ в Интернет и пр.). Очевидно, по крайней мере, что неудачи внедрения турецкого алфавита на постсоветском пространстве не столкнулись с массовым культурным движением, которое бы «снизу», в явочном порядке, стало бы пользоваться турецким алфавитом.

Язык как таковой, язык как система всегда наделен символической функцией, которая приоритетна по отношению к остальным функциям, в том числе – к коммуникативной, экспрессивной. Коммуникативная функция, как отмечает в своих комментариях идей Эдварда Сепира В.М. Алпатов, производна от символической. Э. Сепир впервые в 1933 г. отметил функцию языка как «символа социальной солидарности»: любая группа людей, даже самая малая, «стремится развить речевые особенности, выполняющие символическую функцию выделения данной группы из более обширной группы... “Он говорит как мы” равнозначно утверждению “Он один из наших”» [Алпатов, 1999, с. 216–217]. Эта теоретическая установка дает богатые возможности для раскрытия символического потенциала любых явлений языкового универсума. Язык не просто содержит символы в силу своей знаковости, не просто оперирует ими, оглашает их. Языки так же, как и речевая деятельность, сами по себе могут символизировать идентичность, солидарность, сплочение, а значит, и политику, задающую групповую аскрипцию и конструирующую групповую субъектность.

В силу этого язык всегда служит «флагом» национального самосознания и самоопределения, нациестроительства, мощным орудием этнополитической мобилизации, всего комплекса, который Э. Смит именует «этносимволизмом». Символы задают границы, отделяющие «нас» от «них». Это звучит как аксиома, не зависящая от конфликта примордиалистской и конструктивистской парадигм. Это также не зависит от антинормии типов национализма – политического (политизированная этничность), с одной стороны, и культурного (в том числе – лингвистического) – с другой. Э. Смит в своей книге «Национализм и модернизм» со ссылкой на авторитетных исследователей национализма (Ф. Барт и Дж. Андерсон) акцентирует тезис, который является в высшей степени принципиальным для проникновения в суть символического вообще. Действенные символы, включая языковые символы, не могут возникать вдруг, по воле случая, по чьему-то произволу или технико-манипулятивному замыслу. «Содержание символов, таких как лингвистические «пограничники», часто устанавливается поколениями задолго до того, как они начинают действовать как опознавательные знаки для членов группы; именно поэтому «этническая символическая коммуникация – это коммуникация большой длительности (*longue durée*) между мертвыми и живыми» [Smith, 1998, p. 182].



## Языковые символы политического: «Непустое множество»

Что такое символ в языке политики? Много ли здесь символов или мало? Ответы зависят от критериев строгости при подходе к самому концепту «символ». Если относиться к нему в обыденном, наивно-семиотическом духе, то политическая жизнь сплошь соткана из знаков самого разного типологического плана – знаков-меток, знаков-сигналов, эмблем, признаков, икон, индексов, каких угодно еще означающих. Если же рассматривать символ в его особом семиотическом ранге и иметь в виду «знак идеи», связанный с высоким уровнем абстракции, с многозначностью и множественными интерпретациями, с воображаемым, то – не много. На этот счет – о «дефиците» символизма и символики – в литературе имеются авторитетные суждения как в общефилософском, так и в политико-лингвистическом контекстах. М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский писали, что в наше время символов для нашего собственного оперирования и потребления весьма мало. Скорее, можно говорить о псевдосимволике идеологических систем или о процессах десимволизации. «Оказываясь внутри наших знаковых систем, символы переходят (“переводят нас”) из ситуации понимания в ситуацию знания... Этим мы постоянно уменьшаем количество символов в обращении и увеличиваем количество знаков. По существу, богатейший опыт научного семиотизирования третьей четверти XX века – это опыт перевода *символов сознания в знаки культуры*» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, с. 101, 102].

Символика, как показывает Г.Г. Хазагеров, «это редкий и особый случай убеждающей речи». Обращение к политической символике, по мнению этого автора, ситуативно. Постоянно изъясняться символами нельзя, так как они слишком концентрированы, выделены, самодостаточны. С точки зрения искусства политического красноречия, символическая речь отличается и от метонимической стратегии ораторики, и от метафорической стратегии гомилетики. Однако при этом он специально подчеркивает: «Можно сказать со всей определенностью, что отсутствие общепризнанной символики самым губительным образом сказывается на всем политическом дискурсе» [Хазагеров, 2002, с. 167, 169].

Отдельные примеры символов в языке политики, вероятно, не поддаются строгой систематизации в силу ряда причин – и полисемии, нагруженности каждого знака в этом языке множеством семиотических рангов, и лингвокультурных различий полити-

ческой семиосферы во времени и пространстве. Одно и то же слово одновременно представлено в разных ипостасях знаковости: как «метка», как эмблема, как икона или индекс, как символ.

В новейшей отечественной научной литературе по теме взаимодействия языка и политики (а исследовательские инициативы в этой области демонстрируют активную поступательность) представлены продуктивные решения вопросов типологии знаков политического дискурса, построенной по основаниям референции и на принципах иерархичности. Е.И. Шейгал подробно комментирует вариант типологии, предложенный в монографии Ч. Элдера и Р. Кобба «Политическое использование символов» (1983). Результат, полученный этими авторами, основан на критериях объемности («широты охвата референтной области») и степени исторической устойчивости, что и образует иерархию:

- «все и всегда» – символы национального политического сообщества в целом;

- «часть и всегда / длительно»: а) структуры и роли, свойственные данной системе; б) нормы и ценности, свойственные данной системе;

- «часть и сейчас» – «ситуативные знаки», отражающие политическую реальность сегодняшнего дня (имена, названия доктрин и программ, актуальные проблемы, события).

Как показывает Е.И. Шейгал, опираясь на логику такого подхода, можно выделять закономерные тенденции в процессе функционирования символов и их взаимодействия:

- «символический вес» (широта состава коммуникантов и интенсивность их эмоциональных реакций) зависит от уровня знака в символической иерархии;

- знаки более высокого ранга генетически предшествуют большинству «ситуативных» политических знаков и обладают повышенной исторической устойчивостью;

- изменение эмоциональной ориентации по отношению к политическим знакам более высокого порядка влечет соответствующие изменения по отношению к знакам, расположенным по иерархии ниже;

- чем выше иерархический статус знака, тем более универсальна эмоциональная реакция на него в языковом сообществе [см.: Шейгал, 2012, с. 143–144].

Эвристический потенциал приведенных систематизирующих подходов, вне всякого сомнения, является весьма перспективным. Он дает инструменты картографирования символов в пространстве

и во времени (в синхронных и диахронных измерениях), качественной классификации этих символов в их актуальной обращаемости применительно к конкретным политическим лингвокультурам. Однако уместными представляются и некоторые оговорки.

1. Предложенные методики типологии будут успешно работать на материалах высокосемиотизированных сообществ с устоявшимися политико-культурными комплексами, с общепризнанными традициями, ценностями, коммуникативным доступом, языковыми компетенциями индивидов и групп, наконец, с действенными каналами социализации. Для ситуаций, связанных с радикальными переломами во всем социально-политическом укладе, с динамичными трансформациями «символического порядка», когда разрыв со старыми образцами выглядит незавершенным, а усвоение новых моделей – неполным, рубрика «все и всегда» применительно к знаковой организации политической жизни будет оставаться под вопросом.

2. Предложенный подход в своих основаниях содержит и критерии «эмоциональных ориентиров» и «эмоциональных реакций», и критерии, связанные с «когнитивной базой носителей языка». Такие классифицирующие основания, разумеется, должны по возможности реализовываться. Однако их трудно применять одновременно к знакам в целом и к символам как особой разновидности семиотической организации политической жизни. Символы в качестве «знаков идей» адресуются к своим «этажам» сознания, предполагающим рефлексию по поводу многозначных смыслов и отличным от эмоциональной сферы.

Тем не менее аналитические ракурсы, описанные Е.И. Шейгал, способны воссоздавать объемную и ценную в плане диагностики картину символов в языке политики и, следовательно, устанавливать действительное состояние «символической недостаточности» на разных уровнях.

Вербальные символы в языке политики получают внешне нейтральное наполнение, с одной стороны, и аксиологически мотивированное содержание – с другой, чему можно привести типичные примеры.

«Государство» – концепт лингвоспецифичный, не имеющий точного перевода, например, на английский язык. В определенных контекстах это слово приобретает свойство символа, поскольку оно не всегда имеет какое-то субстанционально обозначаемое. Государство – это не отдельная структура, не институт, не орган, не только территория и не только население, не «вещь», говоря в

терминах наивной семиотики. Символизм «государства» состоит в том, что оно обобщает, соединяет то, что в реальности рассредоточено по самым разным физически воспринимаемым явлениям (образующим денотат) в виде границ и таможенных служб, законодатель, правительственных агентств и служб, бюрократии и военных, судов и полиции, населения и гражданских состояний, системы учета и регистрации... Не прибегнув к наименованию «государство», невозможно воспроизвести в сознании целостную картину всех названных элементов в их совокупности. «Поиски эмпирического референта для такого понятия, как “государство”, бессмысленны, – пишет О. Хархордин, – поскольку высказывание, описывающее действие государства, имеет только грамматического субъекта, т.е. слово “государство” является подлежащим, сопровождаемым сказуемым, но не имеет при этом логического субъекта, в отличие от высказываний типа “Петр строит дом”, где присутствуют как грамматический, так и логический субъекты» [Хархордин, 2011, с. 9].

В отечественных публикациях, посвященных политической концептологии, довольно давно – по меркам новейшей истории российской науки – были сформулированы предостережения. Прямолинейные и изолированно взятые словесные презентации государственности вредны. Понятие современного государства многомерно, и стремления свести его к одной лишь вербальной формуле (например, правовое или социальное государство), «а тем самым редуцировать к некоему мифу, будут иметь исключительно негативные последствия», – писал М.В. Ильин [Ильин, 1997, с. 201–202]. Особенность «государства» как языкового символа состоит в том, что он исходно не является идеологически оценочным. Прагматика символизации государства зависит от контекста, от субъекта публичного манифестирования и его локализации в информационно-политическом пространстве.

Характерно, что самопрезентация «государственник» («государственник-патриот») прямых идеологических коррелятов не имеет. В новейшей истории России в подобном духе себя рекомендовали фигуры очень разных убеждений, что далеко не всегда вписывалось в координаты «правого» и «левого». Всякий раз при упоминании слова «государственник» возникает многозначное семантическое поле, открытое для интерпретаций. Это в определенном смысле дает некоторые шансы для уклонения от «главных» идеологических оппозиций. Можно понимать так, что «государственник» – это сторонник приоритетности национальных

интересов страны. Он, в общем смысле, не «западник», не «либерал» с культурной точки зрения. Иначе говоря, «государственник» – это атрибуция скорее стилистическая, чем системно-идеологическая. Напротив, слово «этатизм» в политико-экономическом контексте обладает значительно большей оценочной определенностью.

Еще один типологический разряд вербальных символов в языке политики образуется в аксиологической перспективе. Это – символы-ценности, по-разному укорененные и актуализированные в тех или иных политических лингвокультурах. Такие ценности могут получать кодификацию в текстах, прошедших ритуальную легитимацию в момент торжественного провозглашения, – хартиях, декларациях, конституциях. Г. Лассвелл писал: «Коммуникация организует два вида элементов: символы и знаки. Символы – это значения; знаки – материальные средства, используемые в десемантизации значения. Слово “конституция” – это символ (или, если быть более точным, группа символов), а черные отметины на бумаге в момент печатания слова – знаки» [Лассвелл, 2007, с. 165]. Вместе с тем в языке политики представлены ценности более высокого символического ранга, с большей степенью абстракции, с иной нормативностью. А. Аузан трактует эти ценности как надконституционные, как неформальные правила, выраженные в символическом общественном договоре. Для американцев это – такие «три кита», как индивидуальная свобода, частная собственность и конкуренция. Англичане в этот перечень добавляют традиции. Немцы – еще и *Ordnung*. Часто такие ценности включены в преамбулы конституций. «Если во Франции это “свобода, равенство, братство”, то в Америке человек обладает правом на “свободу, собственность и стремление к счастью”». «Российские надконституционные ценности пока не выявлены» [Аузан, 2011, с. 58–59].

Некоторые исследователи настаивают на том, что аксиологические составляющие являются необходимым атрибутом символов. Суммируя общие характеристики символа, в том числе – его политический, «институциональный» тип, В.И. Карасик называет ряд моментов. Это – «перцептивный образ, характеризующийся смысловой глубиной, обозначающий идею, которая обладает высокой ценностью, генерирующий новые смыслы, допускающий множественное истолкование, отсылающий к сверхчувственному опыту» [Карасик, 2010, с. 59]. Следуя этой логике, нужно, по видимому, включать в число признаков вербального символа в политическом языке еще и престижность. Отправитель сообщения, содержащего символы, субъект публичного говорения, опери-

рующей символами, всегда и чаще всего имплицитно притязают на авторитет и рассчитывают на уважительный отклик со стороны адресатов. Без свойств престижности легитимирующая сила символа немислима, а это, в свою очередь требует множества предпосылок ментального, психологического, морального свойства. Как пишет Б. Дубин, «*политические* символы – это отсылки к политическим общностям различного характера и масштаба, указания на место (престиж) данной общности среди других, отделенных от нее символическими рубежами...» [Дубин, 2012, с. 7].

Знаки коммерческой престижности (бренды) в ситуации потребительского общества могут распространяться на основе иррациональных мотивов реципиентов, на основе эффектов моды, демонстративного присвоения вещей в силу их означающей силы, которая маркирует статус владельца. Престижность политического символа, имея, несомненно, некоторое сходство с товарной знаково-стью, требует приобщения к идейной стороне (символ как знак идеи). К смысловой глубине и многозначности.

Задачи данного изложения, разумеется, не предполагают обзора вербальных символов в языке политики в какой-либо степени полноты. Речь, в данном случае, может идти о мотивах и способах использования этих символов, т.е., собственно, о прагматическом аспекте.

Прагматика вербальных символов политического реализуется под воздействием довольно жестких требований к знаковому статусу тех единиц, которыми оперируют акторы – отправители сообщения. Открытость символов для прикладной эксплуатации в политико-рекламных, демагогических, манипулятивных целях, как минимум, не является безусловной. В этой области действуют свои ограничения именно семиотической природы.

Во-первых, вербальные символы политического в процессе избыточного, чрезмерного обращения в информационном пространстве утрачивают свой знаковый статус. Символами в политическом использовании речи нельзя злоупотреблять, иначе они перестают быть символами и переходят в разряд более упрощенных эмблем, сигналов, иконических или индексальных обозначений, знаков-меток, кличек и т.д. Символы, будучи искусственно внедряемы, а тем более – суггестивно навязанными, перестают выполнять свое предназначение, утрачивают статус символического. В случаях «передозировки» символы неизбежно утрачивают действенность. Они мутируют. Символ («полный Объект Символа»), как разъяснял Ч.С. Пирс, имеет в своей основе закон: он дол-

жен обозначать [denote] индивидуальность и означать [signify] свойство. Если объектом символа становится что-то одно – только индивидуальность (*сингулярный* символ) или только свойство (*абстрактный символ*), то происходит вырождение символов [см.: Пирс, 2000, с. 213–214].

Во-вторых, произвольное обращение с вербальными символами в политике с точки зрения прагматики в наши дни становится все более и более проблематичным делом из-за повышения металингвистической компетенции аудитории, которую в эпоху Интернета уже нельзя рассматривать как пассивных участников асимметричной коммуникации. Новые технологии сетевого общения радикально трансформируют языковую среду политической деятельности и, следовательно, условия циркуляции политически релевантных и опосредованных знаками смыслов. Складываются ранее невиданные принципы функционирования символических объектов, предполагающие не только способы доступа к участию в информационном взаимодействии и его масштабы, но, что самое главное, непрерывность и мгновенную скорость такого взаимодействия. На фоне таких изменений в языковой среде политического поддержание символического пафоса крайне затруднено, если в принципе возможно.

Под воздействием сетевых технологий в языковом оформлении политической реальности происходят системные сдвиги – в корне меняются соотношения и взаимовлияние категорий официальности и неофициальности публичной коммуникации, возвышенных и низких форм речи. Отменяются стилистические и жанровые иерархии. В постоянном движении оказывается весь прагматический уклад коммуникации, а значит, и циркуляции символически оформленных политических смыслов.

В мире мемов, «лайков» и «постинга», «френдлент» и «хэштегов» в калейдоскопических формах происходит постоянная идейная картография и каталогизация политически значимых сообщений и тем, ранжирование популярности и «символического веса» информационных явлений. Инструменты выявления употребляемости ключевых слов – слова, помеченные символом «#», – дают возможность слежения за обсуждением в блогосфере, дают моментальные «срезы» всего, что вызывает публичный интерес. Хэштэг «#чп» – митинг на Чистых прудах, «#6 дек», «#охотанажуликов», «высурковская пропаганда», «#ОккупайАбай» – все это, с одной стороны, идеальный политико-информационный ориентир, а с другой – проявление тенденции десимволизации и даже девер-

бализации политически значимой речи, которая оказывается спрессованной до размеров «френдленты».

В то же время Сеть несет с собой и такое явление прагматического свойства, присущее новейшим веяниям в политической коммуникации, как стилистическая (пере)аранжировка реагирования на символически оформленное сообщение. Все символические «посылы» со стороны власти и в целом символического истеблишмента обнаруживают себя либо в стихии сетевого карнавала, пародирования, сарказма, «стеба», либо – реже – воспринимаются в духе цинизма и апатии. Видное место в этой стихии принадлежит «эрративам» – нарочитым до глумливости искажениям правильного написания слов («в партийу фступи сначала», т.е. докажи свою состоятельность) [Гусейнов, 2006, с. 383, 398]. Стратегия иронического сопротивления официозным символам политического языка составляет характерную черту культурно-информационной среды современной России. Мобилизационный ресурс «авторитарного» языка перестает работать по стандартным схемам, а медийные штампы дискредитируются средствами иронии, гротескового обыгрывания.

*Жизнь играет с нами шахматную партию,  
Все поделено на два неравных поля.  
Жить в эпоху суверенной демократии  
Лучше в княжестве соседнем, возле моря.  
В. Емелин [Емелин, 2009, с. 171]*

Подводя итог, следует еще раз заметить: символ в языковой среде политического с трудом представим в семантическом поле «контента», «креатива», «имиджа» или (под другим углом зрения) «симулякров». Из символов не создашь «облака». Как знаки идеи, они заряжены силой магического воздействия. Они знаменуют ситуацию решающего выбора, мгновенного воссоздания картины политической реальности и в этом качестве не замещает эту реальность, но становится ее частью. Прагматика символов такова, что они не предназначены для оперативного управления действиями человека, для этого есть знаки. Символы повелевают.



## Литература

- Аверинцев С.С. Символ // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А.А. Сурков. – М.: «Советская энциклопедия», 1971. – Т. 6. – С. 826–831.
- Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – 368 с.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: «КАНОН-пресс-ц», «Кучково поле», 2001. – 288 с.
- Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. / Пер. с древнегреч.; Под. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1984. – Т. 4. – 830 с.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – XV, 896 с.
- Аузан А. Институциональная экономика для чайников / Приложение // Esquire. – М., 2011. – № 5. – 128 с.
- Барт Р. Основы семиологии // Французская семиотика: от структурализма к пост-структурализму. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. – С. 247–311.
- Бочаров В.В. Символы власти или власть символов? // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии: в 2-х т. / Сост. и отв. Ред. В.В. Бочаров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – Т. 1: Власть в антропологическом дискурсе. – С. 274–305.
- Гиренок Ф. Абсурд и речь. Антропология воображаемого. – М.: Академический Проект, 2012. – 237 с.
- Гусейнов Г.Ч. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. – М.: Три квадрата, 2003. – 272 с.
- Гусейнов Г. Введение в эрратическую семантику (на материале «Живого журнала») // Integrum: точные методы и гуманитарные науки / Ред.-сост. Г. Никипорец-Такигава. – М.: «Летний сад», 2006. – С. 383–405.
- Дубин Б. Симулятивная власть и церемониальная политика. О политической культуре современной России // Вестник общественного мнения. – М., 2006. – № 1. – С. 14–25.
- Дубин Б. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et Contra. – М., 2011. – № 5. – С. 6–22.
- Емелин В. Челобитные. – М.: ОГИ, 2009. – 184 с.
- Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – 432 с.
- Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. – М.: Гнозис, 2010. – 351 с.
- Ковачев А.Н. Символы власти и их интерпретация в различных культурах // Антропология власти: Хрестоматия по политической антропологии: в 2-х т. / Сост. и отв. Ред. В.В. Бочаров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – Т. 1: Власть в антропологическом дискурсе. – С. 249–273.
- Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства / Общ. ред. и послесл. В.П. Шестакова. – М.: Республика, 2000. – 287 с.
- Лассвелл Г. Стиль в языке политики // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 2 (22). – С. 165–177.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.

- Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 224 с.
- Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
- Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубович, К. Чухрукидзе, Т. Дмитриева. – М.: Логос. 2000. – 448 с.
- Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. – М., 1999. – № 5. – С. 62–75.
- Поцелуев С.П. Символическая политика // Городское управление. – Обнинск, 2008, – № 6. – С. 2–13.
- Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Мн.: МЕТ, 2002. – 408 с.
- Тайсина Э.А. Философские вопросы семиотики / Под. ред. И.С. Нарского. – Казань: Изд-во Казан. гос. энерг. ун-та, 2003. – 188 с.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины / Вступ. С.С. Хоружего; Ин-т философии АН СССР и др. – М.: «Правда», 1990. – (Из истории отечественной философской мысли.) – Прилож. к журналу «Вопросы философии». – Т. 1 (II). – С. 493–839.
- Хабермас Ю. Что такое «политическое». Рациональный смысл сомнительного наследия политической теологии // Русский журнал. – 2011. – 28 августа. – Режим доступа: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/CHto-takoe-politicheskoe> (Дата посещения: 29.09.2011.)
- Хазагеров Г.Г. Политическая риторика. – М.: Никколо-Медиа, 2002. – 313 с.
- Хархордин О. Основные понятия российской политики. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 328 с.
- Шейгал Е.С. Язык СМИ и политика в семиотическом аспекте // Язык СМИ и политика / Под ред. Г.Я. Солганика. – М.: Издательство Моск. ун-та; Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. – С. 121–161.
- Blühdorn I. Sustaining the unsustainable: symbolic politics and the politics of simulation // Environmental politics. – Canterbury, UK, 2007. – N 16/2. – P. 257–275.
- Bourdieu P. Language and symbolic power. – Cambridge: Harvard univ. press, 1999. – i-vii, 295 p.
- Smith A.D. Nationalism and modernism. – London; N.Y.: Routledge, 1998. – xiv, 270 p.

**Д.Е. Москвин**

## **ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОЛИТИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ**

Происходящая в последние десятилетия стремительная трансформация «галактики Гуттенберга» в мир видимого и просматриваемого, которая сопровождается сменой коммуникационных моделей и изменением роли вербальных практик, представляет собой серьезный вызов традиционным методологиям и парадигмам в социальных науках. Визуализация – это уже не тренд, это объективная реальность, требующая адекватных методов изучения, новых и постоянно обновляющихся исследовательских компетенций, обработки множественных и разноплановых объемов эмпирических данных и их интерпретации. И если в западных социальных науках на протяжении последней трети века происходит активное накопление опыта научного анализа визуальной культуры, то в России формирование междисциплинарного пространства визуальных исследований остается очаговым, спорадическим и вторичным относительно зарубежных моделей. Это отчасти характерно и для отечественной политологии. Сегодня в политической жизни, вероятно, не осталось ни одного аспекта, который не мог бы быть визуализирован: любое событие сопровождается медиа-интерпретациями (телевидение, фотография, интернет-трансляции), любой политический актер формирует собственный визуальный образ (имиджелогия, технологии брендинга), любое высказывание может быть трансформировано в плакат или карикатуру. Пропаганда, манипуляции, воздействие массмедиа, информационные войны – эти традиционные для второй половины XX в. предметы политологического исследования приобрели за

последние два десятилетия принципиально иное измерение, что связано с тотальным распространением Интернета, широкой доступностью цифровых технологий, феноменом новых медиа. Условно можно говорить о формировании новой области научного знания – «визуальной политологии» (по аналогии с визуальной социологией, обоснованной Петром Штомпкой), однако для этого необходимы определение предметного поля и подтверждение выбранных методов изучения.

Для актуализации проблемы изучения визуальных культуры и среды в рамках политической науки необходимо, с одной стороны, уточнить категориальный аппарат и основные подходы к интерпретации понятий, носящих междисциплинарный характер, с другой – сформировать собственную методологию, позволяющую изучать политические процессы визуальными методами. При этом необходимо избегать оппозиции «вербальных методов» и «визуальных», каждый из них раскрывает исследователю свой объем информации и дает возможности для интерпретации.

## **Понимание визуальной культуры**

Пересечение визуальной культуры и политики было зафиксировано давно. Начиная с А. Грамши и В. Беньямина, складывается традиция изучать тесное переплетение визуальных искусств (прежде всего, фотографии и кинематографа) с особенностями политического режима и развитием политических идеологий. Визуальное еще в первой трети XX в. становится необходимой технологией легитимизации власти, удержания ею контроля и заданного порядка (идеологизированный кинематограф, плакатная агитация, пропагандистская фотография). Опыт тоталитарных систем убедительно продемонстрировал широкие возможности визуальных технологий. Современные исследования убедительно доказывают, что, к примеру, в Третьем рейхе внимание к визуальным эффектам, глубине и масштабам их воздействия было достаточно пристальным [см.: Fascination and Terror, 2006; Васильченко, 2010]. Некоторые из созданных тогда технологий в дальнейшем трансформировались в современные способы организации массовых мероприятий, рекламную агитацию и пр. По аналогичному пути шла сталинская Россия. В дальнейшем широкие политические возможности визуальных технологий, их унифицированное воздействие на большие массы людей стали очевидны и другим режимам и системам властвования. Сегодня визуализация полити-

ки достигает абсолютного охвата, приводя даже к таким заимствованиям, как выстраивание президентской кампании по технологиям брендинга (например, выборы 2008 г. в США). Интересно, что традиционно наиболее детальному изучению подвергались визуальные и культурные артефакты именно тоталитарных систем при гораздо более слабом исследовательском интересе и рефлексии к специфике визуальных репрезентаций либеральных и демократических режимов.

Очевидно, что выстраивание визуальных коммуникаций в общественно-политической сфере имеет длительную историю. Она восходит к классическим формам искусства – живописи, архитектуре, скульптуре, прочим пластическим искусствам. В разные исторические периоды происходило смещение акцентов, менялась интенсивность воздействия и масштабы проявлений. Эпоха книгопечатания в конечном итоге придала вербальным практикам особую силу, что и сделало возможной трансформацию, через которую прошли страны Запада в XVIII–XIX вв. (ярчайшим примером торжества вербальной культуры можно считать предреволюционную Францию, которую Т. Карлейль называл «бумажным веком» [Карлейль, 1991], а О. Кошен – «республикой словесности» [Кошен, 2004]). XX век поставил во главу угла проблему «власти образа» и «образа власти», кардинально изменив логику политического процесса и символической политики. Эти тенденции оказались увязаны с развитием медиа и массовых коммуникаций и были концептуализированы в работах М. Маклюэна, Ж. Бодрийяра, Ги Дебора, Н. Больца, Н. Лумана и др.

Однако исследовательский потенциал в области взаимопересечения визуального и политического оставался ограниченным до тех пор, пока не сложилось междисциплинарное пространство, позволявшее избавиться от традиционных «цеховых» ограничений. С точки зрения нового подхода, распространение символов государственности и их трансформация – это не только пропаганда, но и элемент визуальной политики, а выстраивание строгого и выверенного образа политического лидера может быть связано не только с формированием культа личности, но и с конструированием нового политического символа и т.д.

Вообще, обращение к визуальной культуре как доминирующей форме репрезентации окружающей действительности не может рассматриваться как новое явление в истории человечества. Переход от устного этапа развития человеческой культуры к письменному был гораздо более революционным, чем современная

смена носителей информации с печатных на визуальные. Можно утверждать, что скорее найден разумный компромисс между победившей некогда культурой печатного текста и утраченной в период Модерна культурой визуального восприятия, о чем говорили, начиная с Виктора Гюго и заканчивая Умберто Эко, многие мыслители и исследователи. Однако нынешний ренессанс визуального оказывается вызовом традиционным парадигмам научного анализа. Результатом этого вызова стало формирование междисциплинарной области исследований *visual culture*, вобравшей в себя методологии антропологии, истории, изучения культуры, социологии, философии и пр. С 1970-х годов интерес к визуальному стремительно рос в социальных науках, концентрируя внимание не только на визуальных проявлениях массовой культуры, но также на изучении городской среды, социальных процессов, практиках формирования и устойчивости визуальных образов. Возникшая еще на рубеже столетий благодаря фотографии визуальная этнография во второй половине XX в. дополнилась визуальной антропологией, а затем с начала 1980-х годов визуальной социологией. При этом, как отмечает Петр Штомпка, отвоевывание своего научного пространства этими направлениями шло с заметными затруднениями [Штомпка, 2007, с. 3].

Один из современных классиков в области визуальных исследований Николас Мирзоефф фиксирует следующие особенности визуальной культуры: она «связана с визуальными проявлениями, через которые потребитель с помощью интерфейса визуальных технологий получает информацию, смыслы или удовольствие», она «не является частью нашей повседневной жизни, но она есть сама повседневная жизнь» [Mirzoeff, 1999, p. 3]. Более того, Мирзоефф устанавливает прямую связь между визуальным кризисом культуры и переходом к постмодерну, когда западные философия и науки начинают использовать иллюстративную, нежели текстуальную, модель мира, отмечая значительные трудности в фиксации мира как письменного текста (доминировавшей в период лингвистического поворота, осуществлявшегося на основе структурализма и постструктурализма) [Mirzoeff, 1999, p. 5]. Другими словами, *визуальная культура* – это новая парадигма аналитического мышления, позволяющая через разнообразные технологии и методы визуальной репрезентации и фиксации выстраивать дополнительное измерение действительности. Объектом изучения становится все воспринимаемое глазами, а предметная область обращает исследователя к визуальным технологиям, коммуникациям, политикам.

## Визуальный образ как ядро визуальной культуры

Визуальная культура многосоставна, но общим местом стало признание того факта, что ее ядром является визуальный образ. Американский исследователь и фотограф Сьюзен Зонтаг сформулировала это так: «Общество становится “современным”, когда один из основных видов его деятельности – создавать и потреблять образы» [Sontag, 2005, p. 119]. Российский дизайнер и исследователь в области визуальной политики государства Павел Родькин подчеркивает политическую функцию образов, а также процесса их конструирования и распространения, рассматривая их как необходимый элемент современного государственного суверенитета [Родькин, 2007, с. 17].

Однако относительно базового понятия «визуальный образ» в социальных науках не сложилось единого подхода. Роджер Канэлс отмечает, что под влиянием антропологии образ долгое время воспринимался как «исключительный объект, основная задача которого – сделать видимым все, что находится в пространстве трансцендентного, и не важно, является ли это, с нашей точки зрения, “реальным” или “воображаемым”, “конкретным” или “абстрактным”» [цит. по: Spencer, 2011, p. 28]. Образ является своеобразным агентом в социальных взаимоотношениях, обрастая многочисленными социологическими атрибутами. Тот же исследователь предлагает придерживаться иного подхода, рассматривая визуальный образ как дискурс [цит. по: Spencer, 2011, p. 232].

В свою очередь, Стивен Спенсер трактует визуальный образ как сообщение в ситуации коммуникации, создающее, утверждающее или воспроизводящее смыслы и значения в рамках культурного поля [Spencer, 2011, p. 20]. Спенсер предлагает модель интерпретации образа, состоящую из нескольких последовательных этапов анализа коммуникативных действий и осуществляющих их субъектов. Большое внимание он уделяет «шумам», сопровождающим процесс кодирования и декодирования значения образа, которые могут быть обусловлены политическими и экономическими мотивами конструирования образа, властными дискурсами, мифами и стереотипами, особенностями контекста создания образа и его считывания и пр. Он подчеркивает, опираясь на теорию У. Эко, что образ может быть «ошибочно декодирован», он может содержать представление об объекте, но может быть и опосредующим медиумом, особенно когда речь идет о социальном контроле и идеологии [Spencer, 2011, p. 22].

В целом трактовки визуального образа вписываются в парадигмальные рамки (пост)структурализма и семиотики, пересекаясь с такими понятиями, как «знак», «символ», «означаемое». Именно поэтому как в зарубежных, так и в отечественных источниках можно увидеть ссылки на работы Ч. Пирса, Ф. де Соссюра, Э. Кассирера, Р. Барта, М. Фуко, Т. ван Дейка, П. Бурдьё, Ж. Дерриды, Ж. Лакана, М. Шапиро, К. Силвермана, Ж. Бодрийяра, У. Эко, Ю.М. Лотмана, А.М. Пятигорского, З.Г. Минца и др.

В рамках визуальной культуры образ существует как узловое ядро сложной сети социальных конструктов, ментальных представлений, психологических феноменов и политических практик. Среди них, в контексте обсуждаемой темы, наиболее значимыми оказываются:

– *визуальные коммуникации* – понятие, пришедшее из современного дизайна и обозначающее «передачу информации посредством *визуального языка* (изображений, знаков, образов, типографики, инфографики), с одной стороны, и *визуального восприятия* (органов зрения, психологии восприятия) – с другой». Визуальные коммуникации в современном обществе все больше отходят от роли пассивного посредника: «обрастая» кодами (особенно в рекламе), они приобретают ярко выраженный манипулятивный характер (*«то, что я хочу показать»*) [Родькин, 2010];

– *визуальные технологии* – способы трансляции и навязывания определенных смыслов, массового воздействия через визуальные репрезентации. Представляются как одна из основ функционирования современной общественно-политической сферы, эффективной, успешной деятельности органов власти и субъектов политики. Перечень подобных технологий постоянно расширяется за счет внедрения новых технических средств передачи информации, расширения знаний об устройстве восприятия человеком визуальных образов и информации;

– *визуальная политика* – новое понятие, подразумевающее целенаправленную деятельность по конструированию образа и формированию устойчивых визуальных коммуникаций. Может рассматриваться как деятельность национального государства или локальных акторов (партий, местных властей, крупных корпораций, гражданских организаций и пр.). Вероятно, можно говорить о наличии нескольких визуальных политик в зависимости от стоящих за ними субъектов и преследуемых целей;

– *визуальные компетенции* – набор способов, схем и методик декодирования визуальной информации, а также ориентации в



усложняющемся пространстве визуальной культуры. Это понятие обращает к феномену восприятия, подробно разобранным в контексте деятельности и культуры В.М. Розиным [Розин, 2009], а также к формированию визуального опыта и визуального воображения [Штомпка, 2007].

В своей последней монографии Н. Мирзоефф [Mirzoeff, 2011] ставит вопрос о праве смотреть, ранее выпадавший из поля зрения политической философии и юридических дисциплин. Учитывая, что способность видеть эволюционирует и во многом зависит от социокультурного контекста и физиологических особенностей человека (многочисленные эксперименты психологов свидетельствуют об этом [Розин, 2009]), право смотреть и право на свободную интерпретацию увиденного, избавление от идеологических шор в визуальном восприятии человеком становятся по-настоящему политической проблемой современности и потенциальной целью правозащитных движений. Речь идет о режимах и настройках оптики – социальной проблеме и историческом феномене, достаточно проработанных в рамках визуальной антропологии [Визуальная антропология: настройка оптики, 2009; Визуальная антропология: режимы видимости при социализме, 2009]. С этим коррелируют и совсем новые понятия в рамках визуальных исследований – визуальная безопасность и визуальная экология, которые пока не только не стали частью официального дискурса, но и слабо концептуализированы научным сообществом.

## **Визуальные репрезентации в политике: Что изучать?**

Визуальный образ только тогда становится эффективным источником информации, когда оказывается репрезентирован через какой-либо канал коммуникации. Исследование современного состояния визуальных коммуникаций, технологий и степени их системности в общественно-политической сфере может осуществляться с помощью эмпирических обобщений данных, представленных с помощью следующих типов визуальной репрезентации:

- *Архитектура, пластические искусства* – традиционный набор репрезентирующих артефактов, позволяющих фиксировать властные дискурсы, идеологические установки, считывать формируемую картину мира. Это наиболее древний способ визуальной репрезентации, успешно используемый и в настоящее время (например, появление «башенного» стиля в постсоветской городской

архитектуре, реконструкция барельефов с сюжетами сталинской эпохи в московском метро и пр.).

• *Фотография* – наиболее часто изучаемый способ визуальной репрезентации, позволяющий, с одной стороны, иметь дело со статичным образом, а с другой – интерпретировать его, учитывая эстетические, коннотативные и контекстуальные особенности. Изучение фотографий позволяет фиксировать латентные властные иерархии, формируемый и желаемый образ политика и общественного деятеля, политические практики и их специфику (например, поведение на демонстрациях, отношение к выступлению политика и пр.). Фотографии чаще всего становятся инструментом идеологического воздействия [Кинг, 2005].

• *Кинематограф* – динамический вариант визуальной репрезентации, содержащий различные дискурсивные практики, интерпретируемый в зависимости от контекстов смотрящего и снимающего, но наиболее сильно воздействующий на аудиторию на протяжении XX в. Методологические основы изучения политического кинематографа были заложены в послевоенное время А. Базеном, З. Кракауэром, Р. Арнхеймом, а в советской России – С. Юткевичем. Правда, как правило, эмпирические обобщения касаются кинематографа тоталитарной эпохи, а также воздействия Голливуда на глобальное сообщество.

• *Карикатура, шарж* – вариант визуальной репрезентации, воспринимаемый как неформальный, зачастую превращающийся в часть официальной пропаганды и формирования образа врага, как, например, разные творческие коллективы в период Второй мировой войны [Кукрыниксы, 2006; Родс, 2008]. Современные исследования показывают, что данный канал визуальной коммуникации эффективно использовался в решении глобальных политических вопросов еще в конце XVIII в. [Россомахин, Хрусталёв, 2007].

• *Плакат* – традиционный для XX в. носитель визуальной информации, наиболее успешный в рекламных и пиар-коммуникациях. Оказался достаточно быстро адаптирован под общественно-политические задачи, переживая с течением времени те же трансформации в связи со сменой визуального языка, что и рекламные аналоги. В современной России плакат остается значимым элементом предвыборной борьбы, о чем свидетельствует электронная кампания 2011–2012 гг.

• *Телевидение* – наиболее массовый по охвату способ визуальной репрезентации, а также наиболее изученный с точки зрения воздействия и эффективности.

• *Новые медиа* – явления, порожденные интенсивным развитием цифровых технологий и Интернета в первом десятилетии XXI в., провоцирующие формирование новых каналов массового распространения информации и ее визуализации (социальные сети, блоги, Twitter, YouTube, интернет-ТВ и пр.). Ряд исследователей склонны рассматривать новые медиа как «новые системы доставки», а не как новые формы коммуникации. Это скорее чрезвычайно удобные и рассчитанные на пользователя электронные системы, которые распространяют аналогичный текст сообщения, не меняя его контент, смысл или «меседж» [Howells, 2011, p. 221]. Впрочем, подобное суждение может быть подвергнуто критике. Например, интернет-ролик с освидетельствованием премьер-министра России и на тот момент кандидата в президенты был просмотрен за несколько дней 3,1 млн. пользователей канала YouTube в Интернете, что сопоставимо с аудиторией традиционных новостных телевизионных передач в прайм-тайм. Однако воздействие неформального и лишнего журналистского сопровождения ролика, распространенного по социальным сетям, могло быть более сильным, чем эффект от телевизионной трансляции пафосных выступлений на партийных съездах.

• *Граффити, стрит-арт* – способ визуальной репрезентации, активно используемый в настоящее время. Стены домов, целых кварталов, различных технических сооружений выступают как альтернативные носители информации. Городское пространство традиционно служит ареной конфликта властных и оппозиционных дискурсов и политик, а потому фиксация и изучение эмпирических данных, получаемых в городской среде, позволяют расширить представление о реальном распределении сил в обществе. Примером может служить интенсивное появление произведений уличного искусства в период выборов 4 декабря 2011 г. и 4 марта 2012 г. на улицах Екатеринбурга.

• *Компьютерные игры* – не только носитель визуальной информации, но, как убедительно показывает Дж. Нейсбит, «военно-игровой комплекс» [Нейсбит, 2005], формирующий определенную картину мира и алгоритмы поведения в витальных ситуациях. Широкое распространение компьютерных стратегий и тактик создает устойчивый набор стереотипов по отношению к различным странам, восприятию властных дискурсов и моделей политического поведения.

• *Реклама* – традиционный для постиндустриального общества источник получения визуальной информации также содержит

определенный объем политически значимых высказываний, суждений, стереотипов и дискурсивных практик. К примеру, глобальная торговая сеть Benetton активно эксплуатирует политические сюжеты для продвижения конструируемого ею жизненного стиля. По этому же пути идут многие торговые компании, телевизионные каналы, сети и пр.

Необходимость работать с каждым из указанных способов визуальной репрезентации в отдельности и системно – это достаточно серьезный вызов для гуманитарных и обществоведческих дисциплин, ориентированных на парадигмы вербальной эпохи, в том числе и для отечественной политической науки. Имеющийся опыт анализа визуальной среды советской эпохи, традиции изучения технологий манипулирования и пропаганды могут послужить хорошим фундаментом для расширения предметного поля визуальных исследований в рамках российской политологии.

### **Визуальные методы исследования: Как изучать?**

Создавая в середине 2000-х годов фактически первый учебник визуальной социологии, П. Штомпка исходил из того факта, что современное исследование социального не может быть полным и содержательным, если оно не использует современные же технологии. Он предлагал комплекс занятий, которые позволили бы социологу овладеть фотографическими навыками и развить собственное визуальное воображение с тем, чтобы в дальнейшем, вооружившись камерой и постмодернистской методологией, выйти на новый уровень качественных исследований и интерпретации данных [Штомпка, 2007, с. 131–140]. Создание аналогичного учебника по политической науке – вероятно, перспектива краткосрочного будущего. Однако ключевой проблемой остается набор методов визуального исследования и визуального анализа, которые на данном этапе формирования междисциплинарной области научного познания могут быть лишь заимствованы из дисциплин, на несколько десятилетий ранее начавших изучение визуальной культуры.

В 2011 г. британский исследователь Стивен Спенсер издал учебное пособие «Визуальные методы исследования в социальных науках», в котором обобщил разнообразный опыт работы социальных дисциплин с визуальными методами. Он подчеркивает: «Визуальные методы не являются более правдивыми, объективными или авторитетными, нежели традиционные, основанные на

вербальных практиках, подходы, и, естественно, без вербального объяснения, воспроизведения контекста и определения понятий визуальные образы зачастую бессмысленны и не имеют значения. Необходимо соблюдать осторожность из-за соблазнительной однозначности и ясности визуального образа» [Spencer, 2011, p. 68]. Аналогичного подхода придерживаются и российские визуальные антропологи Е. Ярская-Смирнова и П. Романов [Визуальная антропология... 2009, с. 9].

Вообще использование визуальных методов относят к феноменологической традиции в социальных науках, которая берет начало в философии Гуссерля. Она связана с исследованием внутреннего конструирования мира субъектом, действующим в определенном контексте. Этнографы, антропологи и социологи в течение последних десятилетий предложили различные методики получения эмпирических данных визуальными средствами. Наиболее распространенной из них оказалась *фотография*, позволяющая как фиксировать некое состояние субъекта и окружающего его контекста, так и добиваться максимально точного описания некой реальности. Это привело даже к появлению нового формата экспонирования научных результатов – социологических выставок [там же, с. 149–172]. При этом, правда, возникает проблема соотнесения научного и эстетического, когда научное исследование приобретает элементы, свойственные искусству. Впрочем, данное противоречие, все еще актуальное для современной России, практически потеряло свое значение в западном контексте: современное искусство рассматривается как один из способов познания, интерпретации и переустройства окружающего мира, а потому научное и эстетическое в нем могут гармонично сочетаться, усиливая итоговый эффект.

Не менее популярным в социальных науках стало использование *видеотехнологии*, применяемой для фиксации реальности, а также в качестве обучающей методики. Этот метод пришел из антропологии, увлеченной документированием культурных и социальных практик людей и сообществ, где статичной фотокартинки уже недостаточно для максимально полного понимания специфики того или иного действия, культа или обряда. В России одним из пионеров в этой области является Андрей Головнёв, заложивший основы киноантропологии – направления исследований, которое ставит своей целью определение методов «визуализации этнокультурных традиций, человека в культуре и культур в человеке, образа и типа в искусстве и науке, этничности и толерантности, взаимо-

отношений между представителями различных народов, национальной идентичности и кино». Представители этого направления тоже ставят вопрос о новом синтетическом языке, «сочетающем в изображении-звук-тексте научную строгость и художественную образность» [Головнёв, 2009, с. 9].

Не менее перспективной для социальных исследователей оказывается технология *картирования*, позволяющая работать с пространственными измерениями. Карта понимается как «одна из форм, отражающих различие в культурном восприятии территории» [Spencer, 2011, p. 71]. Этот метод удобен для изучения идентичностей, локальных сообществ, урбанистических исследований; он позволяет фиксировать политики памяти в городском пространстве, символические практики на конкретной территории, выстраивать субъективные маршруты, определять видимые и невидимые зоны в физическом пространстве. Всё это позволяет формировать целостное представление о повседневности и логиках неформальных практик, аргументированно воздействуя в дальнейшем на управленческие решения и социальные процессы.

Однако помимо выбора метода сбора и обобщения данных для ученого не меньшей проблемой в рамках визуальных исследований оказывается выбор аналитического инструментария интерпретации этих данных. Как замечают и П. Штомпка, и С. Спенсер, этот выбор не столь прост, учитывая, что при анализе визуального важны автор, образ, аудитория, возникающие между ними пространства деятельности и опосредующие эту деятельность «шумы». К настоящему времени широкое распространение имеют три метода интерпретации, ни один из которых не может рассматриваться как самодостаточный.

1. *Герменевтический метод* позволяет работать с образом автора, создающего визуальный образ и использующего определенную визуальную технологию. С. Зонтаг отмечала, что один и тот же объект фотографируется по-разному, а значит, дело в фотографии – в его оценке мира, выборе ракурса, его социальном статусе, знании, предубеждении и пр. [Штомпка, 2007, с. 78]. В рамках этого способа анализа исследователь получает возможность выстроить гипотезы о целях и задачах сконструированного визуального образа, предположить ожидаемые результаты, рассмотреть предшествующий опыт автора. В политических исследованиях это дает широкие возможности для выдвижения гипотез о политических акторах и их целеполагании.

2. *Семиотический метод*. Это наиболее проработанный способ интерпретации визуальных данных, восходящий к методологиям Ф. де Сосюра, Ч. Пирса и Р. Барта. Визуальный образ рассматривается как знак, к которому применимы измерения денотации, коннотации, *studium* и *punctum* [Барт, 2011], а также парадигмы и синтагмы. Этот способ анализа позволяет выявить «ценностно-смысловой механизм визуальной коммуникации», получить ответ на вопрос «об образовании и интерпретации смыслов в современной визуальной медиасреде» [Назаров, Папантому, 2009, с. 60]. Он позволяет расширить аналитические возможности при изучении феномена идеологического кинематографа, пропагандистской фотографии, плакатной агитации и пр., целостно рассмотреть видеообразы, транслируемые через интернет-сети.

3. *Дискурсивный метод* позволяет учитывать активное участие интерпретатора визуальных образов в модифицировании исходных значений, содержащихся в визуальном сообщении. Как отмечает Штомпка, «дискурсивная интерпретация стремится к выявлению того, кому адресована фотография (т.е. визуальная репрезентация. – Д.М.) и каким образом адресат соучаствует в формировании значения снимка посредством “практик рассматривания”, предпринимаемых в рамках определенных институций» [Штомпка, 2007, с. 96]. Дискурсивный анализ вовлекает исследователя в сложную сеть взаимопересечений языка, власти, структуры, агентов, социальных контекстов и т.д. Этот подход, приобретший много сторонников в традиционной вербальной парадигме исследований, обладает серьезным эвристическим потенциалом и в визуальных исследованиях политики.

Перечисленные методы интерпретации хотя и имеют широкое применение в области визуальных исследований, но оказываются близки к традиционным исследовательским парадигмам. Иными словами, визуальным исследованиям еще предстоит выработать собственную методологию, позволяющую этому направлению социальных наук претендовать на самостоятельность и верифицируемость. Возможно, как отмечает С. Спенсер, этому будут способствовать цифровые технологии и программирование, уже сейчас предлагающие отдельные аналитические пакеты, позволяющие обрабатывать различные объемы и типы данных [Spencer, 2011, p. 164–166].

Визуальное в общественно-политической сфере – это огромный исследовательский пласт, непрерывно разрастающийся и усложняющийся как за счет деятельности политических акторов, так и в результате исследовательских практик. В современных условиях уже невозможно игнорировать визуализацию как метод, а визуальные коммуникации и репрезентации как предмет политологических исследований. Сам факт того, что 80% информации человек получает визуально, заставляет ставить огромное количество вопросов о характере этого коммуникационного процесса. Политология как комплекс политических дисциплин может принести свой вклад в *visual studies* за счет изучения не только эмпирических данных, но и разработки таких проблем, как:

- формирование, навязывание и смена режимов оптики в социальном пространстве;
- идеологический и политико-дискурсивный контроль визуальной культуры;
- политики репрезентации и власть образов;
- политики символического исключения;
- культурные политики и их агенты;
- визуальная политика государства и способы ее функционирования;
- визуальные стратегии и тактики политических акторов;
- институционализация визуальных практик в общественно-политическом пространстве.

Политическая среда предполагает точки видимости и невидимости, и именно визуальные методы исследования позволяют соотносить эти части. К примеру, накоплен достаточный вербальный материал о неформальных отношениях и специфике кулуарного принятия политических решений, однако его дополнение визуальным рядом позволило бы усилить когнитивный и эвристический эффект этих исследований. Сами места кулуарных переговоров, характер построения неформальной коммуникации, символика пространства и различные контекстуальные измерения – все необходимо учитывать при разработке данной проблематики.

В XXI в. усложнился процесс конструирования визуальных образов в политике, он трансформирует привычные институциональные порядки и репрезентирует новые политически значимые объекты. Например, происходит переход государства от традиционной геральдической символики к современным брендам и фир-



менным стилям; отдельные территории осуществляют брендинг регионов, городов, выводя их в глобальное экономическое, социальное и культурное пространство; происходит формирование идентичностей сообществ и локальных культур; множится число уникальных визуальных образов и стилей основных субъектов политического процесса – партий и публичных лидеров. Всё это попадает в зону политологического анализа и может быть интерпретировано с помощью описанного выше категориального аппарата и других инструментов, которые еще предстоит разработать.

## Литература

- Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Пер. с фр., послесл. и коммент. М. Рыклина. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. – 272 с.
- Болц Н. Алфавит медиа. – М.: Издательство «Европа», 2011. – 136 с.
- Васильченко А.В. Имперская тектоника. Архитектура в Третьем рейхе. – М.: Вече, 2010. – 352 с.
- Васильченко А.В. Проектор доктора Геббельса. Кинематограф Третьего рейха. – М.: Вече, 2010. – 320 с.
- Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 312 с.
- Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 296 с.
- Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – 448 с.
- Головнёв А.В. II Всероссийский форум «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология» / РГНФ-Урал: история, экономика, культура. Свердловская область: Результаты научных работ, полученные за 2009 г.: аннотационные отчеты. – Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 2009. – С. 9–11.
- Карлейль Т. История Французской революции / Пер. с англ. Ю.В. Дубровина и Е.А. Мельниковой. – М.: Мысль, 1991. – 575 с.
- Кинг Д. Пропашие комиссары. – М.: Контакт-Культура, 2005. – 204 с.
- Кошен О. Малый народ и революция / Пер. с фр. О.Е. Тимошенко. – М.: Айрис-Пресс, 2004. – 288 с.
- Кукрыниксы. Графика, 1941–1945. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2006. – 184 с.
- Назаров М.М., Папантиму М.А. Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации: Опыт междисциплинарного исследования. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 216 с.
- Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла. – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 381 с.
- Родс Э. Пропаганда. Плакаты, карикатуры и кинофильмы Второй мировой войны 1939–1945. – М.: Эксмо, 2008. – 312 с.

- Родькин П.Е. Визуальная политика. Фирменный стиль России – М.: Совпадение, 2007. – 159 с.
- Родькин П.Е. Визуальные коммуникации – это? / Сайт PRDesign – Режим доступа: <http://www.prdesign.ru/text/2010/visualcommunications.html> (Дата посещения: 12.03.2012.)
- Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. – Изд. 4-е, доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 272 с.
- Россомахин А., Хрусталёв Д. Русская медведица, или политика и похабство. – СПб.: Издательство «Красный матрос», 2007. – 72 с.
- Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник / Пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. – М.: Логос, 2007. – 168 с.
- Fascination and terror. Documentation centre. Nazi party rally grounds Nuremberg. – Nuremberg: Druckhaus Numberg, 2006. – 96 p.
- Howells R. Visual culture. – Cambridge: Polity press, 2011. – 294 p.
- Mirzoeff N. An introduction to visual culture. – London: Routledge, 1999. – Mode of access: [http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Mirzoeff-What\\_is\\_Visual\\_Culture.pdf+mirzoeff+visual+culture+is&hl=ru&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEE5ivqpq8mjJrskfak0FpR34irq8zxXB8GZAHepZh-ZA7rwtHKDofLXjyEEJqkMA7eR6M-dVMTNFvdwM1u0wqNpXPs7shGgVvsEqxI4XirgjkZaPPCey3hv3WNo3fNy-VwduNM12&sig=AHIEtbSZGFNcet-eYaw15F7i40EE4DCT8A.pdf](http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Mirzoeff-What_is_Visual_Culture.pdf+mirzoeff+visual+culture+is&hl=ru&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEE5ivqpq8mjJrskfak0FpR34irq8zxXB8GZAHepZh-ZA7rwtHKDofLXjyEEJqkMA7eR6M-dVMTNFvdwM1u0wqNpXPs7shGgVvsEqxI4XirgjkZaPPCey3hv3WNo3fNy-VwduNM12&sig=AHIEtbSZGFNcet-eYaw15F7i40EE4DCT8A.pdf) (Дата посещения 10.02.2012.)
- Mirzoeff N. The right to look. A counterhistory of visibility. – Durham: Duke univ. press, 2011. – 388 p.
- Sontag S. On photography. – N.Y.: Rosetta Books LLC, 2005. – 286 p.
- Spencer S. Visual research methods in the social sciences. Awakening visions. – N.Y., London: Routledge, 2011. – 278 p.

# ТЕМА ВЫПУСКА: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ КАК ИНСТРУМЕНТ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И.Б. Торбаков

## «НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ» ИЛИ «НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ» ПРОШЛОЕ? МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

*Армянское радио спрашивают: «Можете ли вы предсказать будущее?» Ответ: «Конечно, без проблем. Мы точно знаем, как будет выглядеть будущее. У нас проблемы с прошлым: оно постоянно меняется».*

*Анекдот советской эпохи.*

*Конечно же, прошлое оказывает влияние на каждого человека. Но оно предлагает так много вариантов, что мы должны смотреть на текущие решения и выбор тех или иных политических шагов как на то, чем они являются на самом деле, – а именно: как на выбор. Выбор, который предполагает альтернативы, выбор, сделанный людьми, которые хотят, чтобы ситуация развивалась в выгодном для них направлении.*

*Merridale [Merridale, 2009, p. 9]*

Вопрос о том, в какой степени коллективная память и исторические нарративы влияют на международную политику России, несомненно, представляет собой только часть более обширной проблемы, а именно: каково отношение истории России к ее настоящему и будущему. В сущности, вопрос, который уже довольно долго и горячо обсуждается как западными, так и российскими учеными, сводится к следующему: является ли Россия действительно уникальной в своем постоянном стремлении фальсифици-

ровать и инструментализировать историю? Действительно ли она, как полагают многие комментаторы, является особенной страной с предельно «непредсказуемым прошлым», чье авторитарное настоящее и (очевидно, довольно унылое) будущее существенно предопределено ее крайне антидемократическим историческим наследием? По-видимому, в более широкой сравнительной перспективе Россия является не таким уж большим исключением. В конечном счете, многие государства используют историю в качестве инструмента для создания национальных государств, укрепления социальной сплоченности и стимуляции патриотических настроений, а также легитимации правления «власть предрежащих».

И все же можно, пожалуй, утверждать, что некоторые аспекты российского исторического процесса делают случай России действительно особым. Во-первых, российская история характеризуется множественными разрывами политического континуитета. В прошлом Россия трижды меняла свою «историческую» кожу: после дезинтеграции династической империи Романовых, сопровождавшейся кровопролитной Гражданской войной, она преобразовалась в коммунистический СССР, развал которого 20 лет назад привел к возникновению Российской Федерации в ее нынешнем виде. Каждое из драматических преобразований XX века оказывало мощное воздействие на представления о том, *что* есть Россия, и что значит быть русским. Все эти перевороты и разрывы делают обращение к «сокровищнице» российской истории в поисках соответствующих символов, образов и понятий – тому, что принято называть *usable past* (пригодное к использованию прошлое), – крайне проблематичным. Действительно, какое из недавних «прошлых» России мы должны выбрать в качестве дискурсивного ресурса, если разные периоды истории страны столь разительно отличаются друг от друга?

Во-вторых, парадоксально, но наряду с крайней политической нестабильностью имеет место поразительная геополитическая стабильность – в смысле удивительной долговечности России как геополитического образования. По крайней мере, с начала XVIII в. Россия является постоянным геополитическим фактором на северо-восточной окраине Европы; к этому же времени относятся ее первые претензии на статус великой (европейской) державы [LeDonne, 1997; LeDonne, 2004].

Однако каковы бы ни были «особенные черты» России, связь ее исторического прошлого с настоящим и будущим принципиально не отличается от того, как это взаимоотношение выгля-

дит в других странах. Российская текущая политика (как внутренняя, так и международная), конечно же, формируется под влиянием прошлого. Как пронизательно отметил в середине XIX в. Маркс в знаменитом и часто цитируемом концептуальном пассаже, люди действуют «при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого» [Маркс, 1960, с. 115]. Тем не менее в начале этого важного параграфа Маркс делает особый упор на то, что «люди *сами делают свою историю*», и это абсолютно верно. Люди делают ее, преследуя свои личные интересы, тщательно взвешивая различные возможности и оценивая многочисленные варианты собственных действий.

В этом контексте цель данной статьи заключается в исследовании связи внешней политики России с тем, что сейчас принято называть «политикой памяти» или «исторической политикой». Я начну с краткого рассмотрения специфики понимания правящими элитами России важности прошлого. Затем перейду к тому, как историческая политика оказывается задействованной в более широком контексте международной политики России. Далее последует анализ глубинной связи между исторической политикой и (международной) идентичностью России. И в заключение я подведу итог обсуждения ключевых аргументов, выдвинутых в данном исследовании.

Мой основной тезис состоит в том, что постсоветская Россия, как, впрочем, и целый ряд других стран, сделала историю инструментом достижения определенных политических целей, в том числе и в сфере международных отношений. Однако настороженное отношение России к любой политической философии, ее нежелание отождествить себя с какой-либо четко сформулированной идеологической позицией, а также упорное стремление избегать осмысленных идеологических дебатов заставляют ее делать выбор в пользу своеобразной исторической политики, которая отличается высокой степенью амбивалентности.

## **Россия: Прошлое и настоящее**

Политики, как правило, в основном заняты настоящим. И это вполне естественно. В конце концов, именно в рамках настоящего сосредоточены их наиболее жизненно важные интересы: обеспечение безопасности и содействие дальнейшему процветанию тех обществ, представителями которых они являются. Тем не менее

большинство политиков не забывают о том, насколько важно придать своему национальному прошлому положительную интерпретацию, равно как и о том, насколько тонко национальное прошлое взаимосвязано с настоящим. В этом смысле российские политики не являются исключением. Не кто иной, как граф Александр фон Бенкендорф еще в 1830 г. дал идеальную формулу национального прошлого, настоящего и будущего, каким его хотели бы видеть политики: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее – более чем великолепно, что же касается ее будущего – то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение», – заявлял глава секретной полиции при Николае I. [О Бенкендорфе и его деятельности см.: Монас, 1961.] Можно сказать, что политики озабочены прошлым настолько, насколько это прошлое, или, точнее, его репрезентация, позволяет расширить их возможности в достижении преследуемых ими целей во внутренней и внешней политике. В этом смысле, исторические нарративы представляют собой один из тех многочисленных инструментов, которые политики используют для достижения своих целей.

Однако понимание относительной важности различных средств, задействованных в процессе достижения политических целей, со временем меняется. В последнее время очень активно обсуждается вопрос о том, что в современном мире такие нематериальные феномены, как историческая память, нравственный капитал, «символическая сила», легитимность и т.п., приобрели такое же (или даже более важное) значение, как и традиционные геополитические факторы: территория, военная мощь, экономическая сила или демографический потенциал [Смолар, 2010]. Такой «сдвиг парадигмы» в большой степени связан с растущей значимостью понятия «мягкой силы» – фактора, который, по определению Джозефа Ная, обеспечивает способность определенной страны оказывать влияние на поведение других стран. Эта способность в значительной степени определяется престижем страны на международной арене, привлекательностью ее политического устройства, культурой, высоким уровнем жизни и, что немаловажно, нравственным капиталом [Nye, 2004]. Последний аккумулируется на протяжении истории в процессе национального «воспоминания о прошлом» и может иметь двойственную природу. Некоторые народы обращаются к памяти о своем героическом прошлом, которое помогает им преподносить себя в качестве первопроходцев человеческого прогресса, носителей «всеобщих ценностей», освободителей угнетенных и борцов против «мирового зла». Другие

народы стремятся с наибольшей выгодой использовать свой имидж «жертвы», активно пропагандируя тему «национального страдания» с особым упором на воспоминания о тех страданиях, исторических обидах, несправедливостях и причиненном им зле, которые в конечном итоге должны быть исправлены.

Но национальные «воспоминания» – вещь довольно скользкая и противоречивая. Как верно указывал Тони Джадт, «память по определению является спорной и пристрастной: то, что один человек признает, другой предпочитает не замечать» [Judt, 2005]. Любая интерпретация прошлого, в основе которой лежат национальные «воспоминания», неизбежно включает в себя не только самовосприятие данного народа, но также и то, какие взаимоотношения складываются у него с другими народами. Конфликт между национальными памятьями ведет, таким образом, к росту напряженности между государствами. Почему любая «национальная память» включает в себя «внешнеполитическое измерение»? Одно из возможных объяснений этого предложила исследователь из Эстонии Мария Малксо. «Поскольку все государства стремятся укрепить не только свою физическую безопасность, но также и свое самовосприятие и свой собственный образ в системе международных отношений, одновременно добываясь поддержки своих [национальных] нарративов “конституирующим другим”», – пишет она, – политика памяти является тем перекрестком, где сталкиваются политика идентичности и политика безопасности. Если идентичность является вопросом, относящимся к сфере безопасности, то не нужно удивляться, что и память также часто становится вопросом, относящимся к сфере безопасности, или намеренно подвергается “сеюритизации”. В дополнение к классическим дилеммам безопасности возникают новые онтологические дилеммы безопасности: достоверность “нашего” нарратива усугубляет недостоверность “их” истории; они считают нашу интерпретацию истории враждебной по отношению к ним – вот почему они бросаются – в рамках “политики памяти” – в контратаку против нас» [Mälksoo, 2010].

Разумеется, российские правящие элиты прекрасно осознают значение вдохновляющего «национального мифа» для консолидации общества. Очевидно, что они также видят практическую пользу энергичной «исторической политики», ибо она может быть эффективным орудием в «войнах памяти» с задиристыми соседями. Можно, однако, заметить, что в том, что касается истории, постсоветская Россия оказалась в довольно затруднительном положении, ибо российским

элитам не хватает надежного «строительного материала» для создания жизнеспособного национального мифа.

Существует несколько причин очевидно амбивалентного отношения Кремля к национальной истории – в том числе и применительно к ее использованию в российской международной политике. Во-первых, упомянутое выше отсутствие политического континуитета в России оставило в наследство целый набор взаимно противоречащих друг другу «прошлых». Во-вторых, ряд важных вех в истории России (как, например, изгнание поляков из Москвы в 1612 г. или триумфальная победа России над Великой армией Наполеона в 1812 г.), которые очень часто упоминаются как события, обладающие значительным потенциалом для создания эмоциональной общности «масс» с Государством и Народом, оказываются слишком удаленными во времени, чтобы вызвать сколь-нибудь существенный резонанс в сердцах и умах большинства населения современной России. В-третьих, недавняя история России – в особенности советский период – представляет собой настоящее минное поле, поскольку не существует общенационального консенсуса в отношении того, как интерпретировать большую часть ключевых событий, начиная с трагедии революции 1917 г. и заканчивая фарсом августовского путча 1991 г. Практически все происходившее в рамках советской эпохи – рамках, заданных этими датами, – является предметом жарких споров и ожесточенной идеологической борьбы. «Стало ли для нас это историей, как и стал ли историей весь XX век с его тремя революциями в начале и одной в конце?» – задает вопрос один из российских исследователей. «Однозначно, нет», – утверждает он. «До сих пор вокруг этих событий кипят страсти, и отношение к ним в значительной мере определяет сегодняшнюю политическую жизнь» [Шишкин, 2011]. Единственным исключением может быть Великая Отечественная война, победу в которой большинство россиян рассматривают как самое важное событие XX в. и которая таким образом может служить «основополагающим мифом» современной России. (В то же время «миф Великой Победы» также является в некоторой степени проблематичным, ибо воспевание героизма советского народа в ходе Второй мировой войны неизбежно влечет за собой необходимость оценки сталинизма и послевоенной политики Советского Союза в отношении стран Восточной и Центральной Европы. Я вернусь к этому вопросу ниже.)

Наконец – и это, пожалуй, самое важное – амбивалентное отношение кремлёвского руководства к истории коренится в при-



роде современной российской политической системы. Как отмечают наиболее проницательные аналитики, авторитарный режим, достигший стадии зрелости в годы правления Владимира Путина, чувствует себя наиболее адекватно в атмосфере двусмысленности и неопределенности [Greene, Lipman, Ryabov, 2010, p. 6]. Дело в том, что развал Советского Союза и рождение «новой России» не сопровождались возникновением новой, постсоветской идеологии или вообще сколь-нибудь цельной системы ценностей, разделяемой большинством россиян. В действительности произошло нечто прямо противоположное: как убедительно демонстрируют ведущие российские социологи, шок от «переходного периода» и «великой депрессии» 90-х напрочь подорвал социальную базу для политики, движимой идеологическими принципами, и превратил Россию в атомизированное общество, жаждущее получить передышку после десятилетия политического и экономического хаоса и готовое принять ту «стабильность», которую предлагает авторитарный режим с ярко выраженной персоналистской властью. Этот режим, кичась своей «деидеологизированностью» и успешно используя в собственных целях антипатию россиян по отношению к любой идеологии, сознательно избегает каких бы то ни было идеологических дебатов и нравственных оценок. Иными словами, Кремль всячески стремится уклоняться от четкого определения собственных идеологических позиций, в том числе – и по вопросам, имеющим отношение к истории. Как справедливо отмечают исследователи из Московского центра Карнеги, «заявление позиции потребовало бы, в конце концов, определения и затем отстаивания конкретной точки зрения. Одновременно это дало бы возможность оппонентам высказать альтернативную точку зрения. Отказываясь занять позицию, [российское] государство по сути “оккупирует” все [политическое] пространство целиком, не оставляя потенциальной оппозиции никаких шансов получить поддержку» [Greene, Lipman, Ryabov, 2010, p. 6].

Нежелание властей воспринимать прошлое во всей его сложности находит выражение в растущей коммерциализации и тривиализации российской истории. Контролируемые государством электронные средства информации пытаются на постмодернистский манер объединить – различные исторические фигуры, символы, лозунги и образы – судя по всему, с единственной целью – воспевания идеала сильной власти и легитимации нынешнего политического режима. На протяжении последних двух десятилетий, по меткому замечанию А. Островского, «советская история

стилизировалась и коммерциализировалась *еще до того*, как она подверглась тщательной оценке и изучению» [Ostrovsky, 2009, p. 19].

По-видимому, именно такое крайне двусмысленное отношение к прошлому и определяет российский подход к «историко-политическому» аспекту международных отношений.

## **К пониманию российского самовосприятия**

В научных и аналитических кругах идет нескончаемый спор о том, что является главным двигателем российской внешней политики, как она связана с проблемой национализма и какова роль идеологических факторов в определении внешнеполитического поведения России. На протяжении многих лет две диаметрально противоположные «школы мысли» сталкиваются лбами в обсуждении этой проблемы. Представители либеральной школы указывают на крайнюю важность господствующей политической философии России во все периоды ее существования – будь то русский православный религиозный мессианизм и антизападничество, или горделиво-заносчивое мировидение советских коммунистов, представлявших себя агентами «железных законов истории» и «могильщиками капитализма», или же охранительная доктрина «суверенной демократии», адепты которой с негодованием взирают на политику США и ЕС, агрессивно насаждающих «западную модель» по всему миру.

В свою очередь, «реалисты» в противовес «либералам» утверждают, что Россия практически всегда, в том числе и на протяжении последних 12 лет, выступала в международных отношениях как прагматичный актер. Ее поведение в значительной степени определялось соображениями безопасности и материальными интересами. Реалисты настаивают на том, что российская международная политика направлялась тем, что обычно называется *raison d'etat* (государственным интересом), почти не испытывала влияния идеологии и националистических настроений. Последние нередко использовались для достижения определенных политических целей, но едва ли являлись истинными мотивами поведения России.

В стремлении примирить два этих различных подхода, третье направление – так называемые «конструктивисты» – предлагает не рассматривать внутренние и внешние факторы как противостоящие друг другу, а воспринимать их как «диалектические и субъективно опосредованные в ходе политического процесса».

В самом деле, спрашивают конструктивисты, что же действительно означает понятие «национальные интересы»? Последние, будучи проецированы вовне, «сами всегда *субъективно* определяют себя через призму местного национализма: государство может достичь согласия по поводу этих интересов только в том случае, если определена сама национальная идентичность» [March, 2011, p. 190].

Проблема, однако, состоит в том, что спустя 20 лет после распада Советского Союза идентичность постсоветской России все еще четко не определена. Отношения России с соседними государствами Европы и Азии, а также с международными и глобальными институтами остаются предметом дискуссий. Оказывается, не так просто дать конкретные ответы на, казалось бы, очевидные вопросы. Кто является партнерами России? Есть ли у нее настоящие друзья? На каких союзников она может положиться? Как отмечает историк из Принстонского университета Стивен Коткин, Россия «на самом деле не принадлежит ни к чему конкретно. Она является европейской страной, но не западной. Она не принадлежит к Западу, но в равной степени не принадлежит и к Востоку. Она не нашла того места в международной системе, которое дало бы ей возможность преследовать свои собственные интересы и успешно реализовывать их в партнерстве с другими странами» [Kotkin, 2009].

После провала непоследовательных попыток интеграции с Западом в начале 90-х годов. Россия выбрала линию поведения, которую можно охарактеризовать шизофренической формулой «достижение сближения с Западом при сохранении дистанции от Запада». Конечная цель российской внешней политики заключается в обеспечении условий для сохранения и пролонгации нынешнего политического и экономического режима, а также в обеспечении его легитимации со стороны международного сообщества. Для достижения этой цели политические элиты пытаются разрешить триединую задачу: 1) обеспечить максимальную долговечность авторитарного правления и бюрократического капитализма; 2) получить признание своей системы как законной и правомерной; 3) интегрировать российскую экономику в мировую систему, одновременно ограждая свою внутреннюю политику от пагубных влияний извне [Torbakov, 2011]. Иными словами, российские правящие элиты хотят добиться своеобразного сочетания неинтеграции России как таковой с Западом и одновременно осуществить некую собственную квазиинтеграцию.

Стоит отметить, однако, что при всех разговорах об «особом пути России» и проявляющейся время от времени антизападной

риторике путинская Россия, похоже, не в состоянии сформулировать четкую альтернативу западному нормативному порядку. Ярким примером «нормативной слабости» России является «мюнхенская речь» Владимира Путина в 2007 г. В ней российский лидер жестко критиковал существующую международную систему, в которой доминируют Соединенные Штаты, но не смог предложить альтернативную нормативную модель. Явная непоследовательность в поведении России сразу же была отмечена рядом ведущих идеологов режима, которые тут же стали сетовать по поводу неспособности Москвы представить свои собственные нормы, отличные от тех, которые господствуют на Западе. «*Это не был язык ценностей, это не был язык новых стандартов*», – утверждал бывший ведущий политический советник Кремля Глеб Павловский. «Доктринальная слабость Мюнхенской речи – не в радикализме ее риторики, а в непроработке стандартов политики для нового, постамериканского мира» (курсив Г. Павловского. – *И.Т.*) [Павловский, 2010].

И все же, дело не в том, что правящий российский режим не может или не желает озвучить «новые ценности и стандарты». Представляется, что этот режим чувствует себя наиболее комфортно в атмосфере идейной размытости и неопределенности. По определению одного из аналитиков, так называемая Путинская Система характеризуется «исключительным безразличием к содержанию идеологических максим» [Prozorgov, 2009, p. 205]. По существу, мы имеем дело с режимом, где власть правит во имя сохранения власти. Иными словами, нынешний политический режим может быть определен как философски текучая и изменчивая *кратократия*, которой чрезвычайно трудно противостоять, ибо она старательно избегает принятия четкой позиции и готова надевать на себя любые (в том числе квазидемократические) маски в зависимости от того, какая из них будет наиболее соответствовать текущему моменту.

Однако в российском общественном сознании есть один важный аспект, который действует как своего рода идеологический суррогат, – это настойчивое стремление России обрести международно признанный статус «великой державы». Это стремление приняло размеры «почти что национальной миссии» – уже не только российские элиты, но и широкие массы населения стали склонны рассматривать «само государство эмоционально, представляя его в квазинационалистических и, более того, духовных терминах» [March, 2011, p. 191].

Разумеется, одно дело – воспринимать себя как великую державу, и совсем другое – быть признанной в качестве таковой на международном уровне. Теоретики международных отношений в большинстве своем согласны с тем, что статус великой державы сопряжен с тремя базисными критериями. Государство должно быть *великим* в геополитическом смысле, что означает наличие превосходящей военной мощи и экономической силы. Оно должно отвечать требованиям общепризнанных норм *как в* международных отношениях, *так и* во внутренней политике. И, наконец, оно должно обладать международным престижем, который создается на основании имеющегося у него нравственного капитала и «символической силы» [Neumann, 2008; Neumann, 2005; Adomeit, 1995]. В то время как постсоветская Россия, несомненно, отвечает первому критерию, будучи действительно «более великой» страной по сравнению со многими другим в смысле имеющихся у нее ресурсов, она постоянно упускает возможность обрести широкое международное признание из-за слабости своей социальной и символической силы. Принимая во внимание тот факт, что «международное жюри», которое присуждает этот желанный статус, состоит из ведущих стран Запада, постоянные провалы попыток России получить признание в качестве великой державы, находящейся на равных с ведущими западными партнерами, не могут не вызывать у нее чувства глубокого разочарования и раздражения. Как справедливо отметил Джеймс Шерр, «чувство обиды, в основе которого лежит ощущение унижения со стороны Запада... становится одним из основополагающих факторов политики... фактором не менее действенным, чем тот, которым была в свое время советская идеология» [Sherr, 2009, p. 205].

Можно сказать, что историческая политика является лишь одним из инструментов, который кремлёвское руководство использует для противостояния тому, что оно рассматривает как попытки Запада подорвать или снизить международный статус России. Поскольку «клеветники России» включают в свой арсенал распространение «враждебных» исторических нарративов, Москва должна быть готова выдвинуть контраргументы в рамках своей собственной «политики памяти».

## **Изменение ландшафта памяти в Восточной Европе и его влияние на международную политику**

Тектонические сдвиги в европейской геополитике, вызванные крушением коммунизма и развалом Советского Союза, – прежде всего расширение Европейского союза в восточном направлении и сопутствующее ему изменение позиции России в Европе – привели к неизбежным переменам на карте ландшафта европейской памяти. Распад Восточного блока, объединение Германии и последующее расширение ЕС необратимо подорвали «исторический консенсус» в отношении оценки Второй мировой войны и послевоенной эпохи. Этот консенсус просуществовал в Европе (включая СССР) на протяжении всего 40-летнего периода послевоенной «стабильности», будучи своего рода побочным продуктом «холодной войны» [The Politics of Memory, 2006; Gledhill, 2011; Kattago, 2009; Esbenshade, 1995; Judt, 1992]. Поскольку историю пишут победители, то на протяжении нескольких десятилетий доминировали два основных исторических нарратива. Первый был предложен западными союзниками, второй – Советским Союзом. Эти нарративы имели довольно много общего: оба восхваляли великую победу над нацистской Германией, успешное послевоенное восстановление, а также продолжительный период послевоенного мира и экономического развития. Другие (потенциально диссонансные) европейские голоса намеренно приглушались: по большому счету они были практически не слышны. И только разрушение международного порядка периода холодной войны выявило факт наличия в Европе многочисленных «мнемонических сообществ». Сегодня некоторые ученые выделяют в Европе как минимум три основных исторических нарратива, добавляя к уже существовавшим двум главным историческим интерпретациям еще одну историю – восточноевропейскую [Snyder, 2009; Davies, 2006]. Другая группа исследователей предлагает рассматривать фактически четыре версии военной и послевоенной европейской истории, выделяя из группы западноевропейских стран уникальный опыт Германии в отдельную категорию [Zehfuss, 2007]. В свою очередь, некоторые историки утверждают, что взгляд на Восточную и Центральную Европу как единое целое является «фикцией», и выделяют как минимум четыре основных ареала в рамках этого обширного и многообразного исторического региона. Классификация этих ареалов проводится в соответствии с тем, как отдельные восточноевропейские страны относятся к своему ком-

мунистическому прошлому [Schmale, 2008; Troebst, 2005]. Наконец, есть еще и те, кто утверждает, что у каждого отдельного европейского народа есть своя память о Второй мировой войне и послевоенном периоде [Krzeminski, 2005]. Как заметил Клаус Леггевие, «если в Европе уже есть (или еще только развивается) коллективная память, то она настолько же различна, насколько отличаются друг от друга европейские народы и их культуры» [Leggewie, 2010].

С учетом целей данной работы очень важно отметить тот факт, что Москва воспринимает попытки некоторых новых членов ЕС скорректировать «мнемоническую карту Европы» как стремление поставить под сомнение самоощущение, престиж и международный статус России. Настаивая на том, что «память Восточной Европы о Второй мировой войне в большей степени все еще остается *les lieux d'oubli*, нежели *les lieux de memoire*<sup>1</sup> в общем контексте официально признанной коллективной памяти Европы о войне» [Mälksoo, 2009, p. 654], некоторые восточные европейцы, в особенности прибалты и поляки, утверждают, что в сегодняшнем Европейском союзе «интеграция различных восприятий и интерпретаций истории существенно отстает от темпов институциональной интеграции» [Mälksoo, 2010].

Совершенно очевидно, однако, что этот вопрос не является чисто историографической проблемой. Поборники нового исторического консенсуса в Европе вполне осознают, что исторические нарративы и коллективная память также являются «источником силы», и, вследствие этого, одним из аспектов силовых отношений. «Вот почему войны памяти, ведущиеся по поводу значения коммунистического наследия, одновременно являются борьбой вокруг источника символической силы и за право определять границы единого сообщества коллективной памяти в Европе» [Mälksoo, 2010]. Как я отметил в другой своей статье на сходную тему, «большая часть восточноевропейских государств сегодня смотрят на войну и послевоенный период, как на *usable past*, – совершенно необходимый ингредиент для усиления их собственной идентичности, популистской поддержки местного национализма, экстерриоризации своего коммунистического прошлого и представления

---

<sup>1</sup> Здесь обыгрывается заглавие известного труда Пьера Нора: «места забвения» противопоставляются «местам памяти».

своего народа в образе несчастной жертвы двух кровавых тоталитарных диктатур» [Torbakov, 2011, p. 215].

По мере того как восточноевропейские страны проталкивают идею о включении их катастрофической военной и послевоенной истории в единый (пан) европейский исторический нарратив, серьезной атаке подвергаются два основных столпа, на которых было воздвигнуто все величественное здание предшествующего исторического консенсуса. Речь идет об особенно важных для России тезисах: триумфальной победе антифашистских сил над нацистским злом и освобождении Восточной Европы Красной армией. Новая же интерпретация проводит знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом и отрицает право советского народа считать себя «освободителем Европы», поскольку рассматривает послевоенную политику Советского Союза в Восточной Европе как оккупационные действия. Стоит еще раз подчеркнуть: все это не просто академическая полемика. Многие восточноевропейские страны используют новую историческую интерпретацию для оправдания целого ряда предпринимаемых ими политических шагов, что как раз и является прекрасным примером исторической политики. Как отмечает Малксо, «восточноевропейские депутаты Европейского парламента считали своей политической миссией выработку рамочного документа, в котором преступления коммунизма были бы приравнены к преступлениям нацизма. Их усилия увенчались принятием соответствующих резолюций Европарламентом и ряда политических деклараций Парламентской ассамблеей Совета Европы и ОБСЕ. Европейская Комиссия организовала слушания на тему “Преступления, совершенные тоталитарными режимами”. В длительной перспективе эти слушания должны были стать конкретным институциональным инструментом влияния» [Mälksoo, 2010].

Как будто специально, чтобы подчеркнуть политическое измерение разразившихся ныне войн памяти, восточные европейцы вполне откровенно заявляют, что «эти дебаты ведутся и копья ломаются *от имени Европы* и, конечно же, *во имя Европы* – с конечной целью сделать свой [национальный] исторический нарратив “более европейским”. Все это также прекрасно служит для подчеркивания собственной европейскости в ущерб европейскости оппонента» (курсив М. Малксо. – *И.Т.*) [Mälksoo, 2010].

Именно так понимают этот вопрос российские правящие элиты. С точки зрения Москвы, во всех спорах и препирательствах, которые ведутся с бывшими сателлитами из Восточного блока



и бывшими советскими республиками по поводу исторических нарративов, на кону стоит не что иное, как вопрос о статусе России как «европейского государства» и великой (европейской) державы [Морозов, 2009]. Когда ряд западных и восточноевропейских ученых и политиков выдвинули тезис о «советской оккупации» и добавили к нему формулу «равной преступности Гитлера и Сталина», Москва среагировала так, как будто ей насыпали соль на рану. Нетрудно понять причину такой нервной реакции России на новые исторические нарративы о причинах Второй мировой войны и взаимодействии двух тоталитарных режимов Европы, а также на переосмысление взаимоотношений между тоталитарными государствами и «свободным миром». Традиционная репрезентация Второй мировой войны, в основе которой лежал прежний исторический консенсус, сводилась к тому, что эта война явилась гигантской конфронтацией между добром и злом, в которой в роли последнего безусловно выступает нацистская Германия. Как отмечает российский историк Ярослав Шимов, «30 лет назад ни у нас, ни у американцев, ни у большей части европейцев особых сомнений не было: Вторая мировая – колоссальный трагический эпос, история совместной борьбы с глобальным злом и победы над ним, купленной ценой большой крови» [Шимов, 2009].

Однако в рамках нового нарратива вырисовывается более нюансированная картина и расставляются новые акценты. Вторая мировая война теперь интерпретируется не только как борьба между добром и злом, но и как борьба между свободой и тиранией, демократией и тоталитаризмом. При этом понятия демократии, свободы и либерализма недвусмысленно уравниваются с понятием добра. Если смотреть на ситуацию с точки зрения такой (модернизированной) концептуальной перспективы, то вырисовывается следующая картина. Две равно преступные тоталитарные империи тайно договорились поделить сферы своего влияния в Восточной Европе и, совместно напав на Польшу, инициировали панъевропейский конфликт, который впоследствии распространился на весь мир. После нападения нацистской Германии на Советский Союз либеральный Запад прагматично выступил союзником одного из тоталитарных хищников против другого. Победа над нацизмом, одержанная благодаря крупномасштабным военным операциям, развернутым советскими войсками на европейском театре военных действий, необратимо привела к сталинской оккупации половины Европы. Ослабленный Запад (в особенности обескровленные войной государства Западной Европы) был не в состоянии адек-

ватно отреагировать на создание Советским Союзом своей «внешней империи» против воли «плененных народов» Восточной Европы. Однако конфронтация между добром и злом продолжилась и в послевоенный период в виде «холодной войны», которая велась на протяжении нескольких десятилетий между демократическими странами Запада, с одной стороны, и коммунистическим Советским Союзом («империей зла») и его сателлитами – с другой. «Освобождение Восточной Европы» и распад Советского Союза символизируют окончательное торжество добра (в смысле свободы и демократии) над злом (тиранией и тоталитаризмом). Основным выводом, вытекающим из нового исторического нарратива, выглядит следующим образом: Запад внес огромный вклад в дело освобождения человечества от «чумы XX века» – тоталитаризма в обоих его обликах – нацизма и сталинизма. Самой же постсоветской России, по примеру побежденной послевоенной Германии, все еще предстоит пройти через болезненный процесс покаяния и искупления вины за содеянные преступления, а также провести полную десталинизацию.

Нетрудно заметить, что историографические дебаты о «правильной» интерпретации событий прошлого являются, по сути, борьбой за (символическую) власть. Дело заключается в том, что до тех пор, пока предшествующий исторический консенсус сохранялся в своем неизменном виде, победа России над нацизмом была мощным средством легитимации ее статуса великой европейской державы и сферы ее влияния в восточной части континента. Новые исторические споры вокруг характера «освобождения» Восточной Европы Советским Союзом и «равной преступности Сталина и Гитлера» неизбежно подрывают статус России как «освободителя Европы» и подвергают эрозии тот символический капитал, на который она могла бы опереться в своих претензиях на «европейскость». По существу, мы являемся свидетелями «столкновения» двух очень разных интерпретаций «освобождения». В современной Европе (а также и в Соединенных Штатах) освобождение Европы во Второй мировой войне неразрывно связано с идеей демократии, воплощением которой явилось восстановление демократического порядка в той части Европы, которая была очищена от «коричневой чумы» войсками западных союзников. Такая интерпретация предполагает, что действия Советского Союза в восточной части Европы можно назвать чем угодно, но только не «освобождением».

То, что на самом деле происходило «в реальной жизни», конечно же, весьма существенно отличалось как от описания исторических событий, предлагаемого традиционной концепцией «тоталитаризма», так и от трактовки прошлого в рамках жесткой дихотомии «западного освобождения» и «советского угнетения», активно продвигаемой многими западными политиками и идеологами. Сравнение Гитлера со Сталиным – тема, которая занимала аналитиков уже с начала 1930-х годов. Однако концепция «тоталитаризма», как справедливо отмечают ее современные критики, в основном «фокусируется на сходстве, нежели различиях (между двумя диктатурами) и ... содержит намного больше описаний, чем объяснений» [Benn, 2006, p. 189; см. также: Geyer, Fitzpatrick, 2009; Overy, 2004; Bullock, 1993]. Как показали недавние исторические исследования, «в то время, как оба режима в основе своей часто имели схожие структуры власти и методы контроля, они тем не менее были продуктами совершенно разных социальных сил, идей и стремлений» [Benn, 2006, p. 191]. Более того, некоторые исследователи считают, что тезис о равной преступности нацистской Германии и Советского Союза и о «двойном геноциде» (именно этот аргумент является центральным в недавней работе Тимоти Снайдера «Земли, залитые кровью» [Snyder, 2010], получившей крайне хвалебные отзывы) – затуманивает тот не подлежащий сомнению факт, что в конечном счете именно нацистская Германия, а не Советский Союз, несет ответственность за развязывание Второй мировой войны и последующую кровавую бойню. Критики также утверждают, что Снайдер и другие ученые, разделяющие его точку зрения, невольно помогают крайне правым политикам из стран Балтийского региона (а также некоторых других новых восточноевропейских членов ЕС) проводить свою «историческую политику», подогреваемую антирусскими настроениями и желанием оправдать нацистских коллаборационистов и участников Холокоста в своих странах [Zuroff, 2010; Katz, 2010]. Немецкий историк Йилге [Йльге, 2006] особенно выделяет стремление интеллектуалов из Восточной Европы конструировать так называемые «национальные Холокосты», что, таким образом, дает им возможность придать своему народу статус жертвы и соответствующее этому статусу сознание морального превосходства. «С позиции этого морального превосходства, преступления своего собственного народа оправдываются как защитные действия», – пишет Йилге в статье с выразительным названием «Соревнование жертв» (эту фразу он позаимствовал у бывшего министра ино-

странных дел Польши Владислава Бартошевского). «В этом смысле, – продолжает Йилге, – национальные стереотипы служат для того, чтобы дистанцировать “свою собственную” национальную историю от “ложной” советской истории и таким образом “очистить” “свой собственный” народ от всего того, что является советским» [Йлге, 2006]. Примечательно, что даже ведущий историк Стэнфордского университета Норманн Наймарк, который в своей последней книге старается убедить читателя в том, что Сталин был серийным убийцей и чрезвычайно жестоким диктатором наихудшего свойства, тем не менее признает ошибочность тезиса о равной преступности Сталина и Гитлера. Да, по мнению Наймарка, «пунктов, по которым можно сравнивать и находить общие параллели между Сталиным и Гитлером, нацизмом и сталинизмом, слишком много, чтобы их игнорировать». Тем не менее он отмечает, что между нацистской Германией и сталинским СССР есть существенные различия и что Холокост, по большому счету, был «хуже», чем преступления, совершенные Сталиным [Naimark, 2010; см. также рецензию на книгу Наймарка: Hockenos, 2011].

Не так просто обстоят дела и с вопросом о «советской оккупации Восточной Европы». Нет сомнений в том, что главный виновник тут – Сталин. Но и западные державы не безупречны. В Восточной Европе на протяжении полувека «Ялта» была мрачным символом предательства западных союзников, которых воспринимали как пособников сталинской экспансии и, по выражению Милана Кундеры, последующей «трагедии Центральной Европы».

Одной из центральных тем мнемополитического дискурса в Польше и государствах Прибалтики является критика союзников, согласившихся с требованиями сталинского Советского Союза в Ялте, и признание моральной ответственности Запада за создание железного занавеса, за которым Восточная Европа прозябала на протяжении всей «холодной войны» [Mälksoo, 2009, p. 662].

У восточных европейцев и вправду есть достаточно оснований для претензий. В конце концов, Джон Кеннет Гэлбрейт, высокопоставленный чиновник Управления ценами США, который в свое время, похоже, был склонен видеть в Советском Союзе некий увлекательный социальный эксперимент, предлагал «позволить России поглотить Польшу, Балканы и всю Восточную Европу с тем, чтобы распространять [в этих регионах] преимущества коммунизма». В свою очередь, Джордж Кеннан, будучи советником американского посольства в Москве, в частной беседе советовал

Чарльзу Болену, переводчику Рузвельта и советнику по вопросам Советского Союза в Ялте, «открыто поделить Европу на сферы влияния – мы не вмешиваемся в дела русской сферы, а русские в дела нашей». В конечном счете именно принципы так называемой *Realpolitik*, а не возвышенные идеалы свободы, определяли контуры послевоенной Европы [цит. по: Hamby, 2010; см. также: Harbutt, 2010; Plokhу, 2010].

Некоторые ученые из Восточной Европы с готовностью соглашались с тем, что их политики активно эксплуатировали западноевропейское чувство вины, чтобы сделать свои страны полноправными членами евро-атлантических институтов. В результате, утверждают они, несмотря на всевозможные контраргументы, двойное расширение ЕС и НАТО на Восток «было идеологически оформлено как полная ликвидация исторической несправедливости по отношению к восточноевропейским государствам» [Mälksoo, 2009, p. 662].

Получив, таким образом, некоторое удовлетворение от вчерашних западных сторонников ненавистой «Ялтинской системы», активисты «исторической политики» из бывших коммунистических стран обратили свой взгляд на Восток [Fofanova, Morozov, 2009]. Они стремятся заставить постсоветскую Россию признать свое «темное прошлое» и принести извинения за преступления советского тоталитарного режима. В 2009 г. усилиями законодателей из Восточной Европы были приняты два международных документа, содержание которых не могло не вызвать резкого недовольства Москвы. Речь идет о резолюции Европарламента «О европейском сознании и тоталитаризме» и резолюции Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе под названием «Объединение разделенной Европы: укрепление прав человека и гражданских свобод в регионе ответственности ОБСЕ в XXI веке». Обе резолюции заклемили нацизм и сталинизм, обвинив оба тоталитарных режима, в равной степени несущих ответственность за развязывание Второй мировой войны, в преступлениях против человечности. В резолюциях содержался безоговорочный призыв к международному осуждению европейского тоталитаризма. Реакция Москвы была недвусмысленно негативной. Российские законодатели, крайне возмущенные тем, что сталинизм и нацизм были поставлены на одну доску, назвали резолюцию ОБСЕ «оскорбительным антироссийским выпадом» и «насилием над историей» [Таратута, Водо, 2009]. Не случайно в мае 2009 г. президент России Дмитрий Медведев

заявил о создании новой президентской комиссии, в задачи которой входят «обобщение и анализ информации о фальсификации исторических фактов и событий, направленной на умаление международного престижа Российской Федерации» [О Комиссии... 2009].

Раздраженная реакция России явилась наглядным проявлением крайнего дискомфорта российских элит в связи с оказываемым на них давлением. Неудовольствие Москвы также свидетельствует о том, что российская политическая элита прекрасно понимает значимость связи между историей и внешней политикой. Руководство страны рассматривает память и историю как важное идеологическое и политическое поле битвы: критики России, как иностранные, так и внутренние, стараются интерпретировать прошлые события таким образом, чтобы нанести ущерб интересам России, и поэтому необходимо как можно быстрее решительно покончить с подобного рода враждебными действиями. Некоторые ключевые элементы исторической политики уже реализованы в России: была издана серия учебников по истории с явно выраженным односторонним государственным толкованием истории России XX в.; эти учебники получили финансовую поддержку и идеологическое одобрение российских верхов [более подробный анализ нарративов в учебниках по российской истории см.: Benn, 2010; Benn, 2008; Kaplan, 2009; Шульга, 2009; Sherlock, 2007; Ферретти, 2004; Берелович, 2002]; были сделаны попытки установить «режим истины», используя органы законодательной власти<sup>1</sup>; были созданы бюрократические организации в целях борьбы против «фальсификации истории» [обсуждение проблемы исторической политики в России и в некоторых бывших коммунистических странах см.: Миллер, 2009; Миллер, 2008; Шерлок, 2012; Sherlock, 2011; Логвинов, 2009; History writing, 2010; Трудное наследие прошлого, 2009; Историческая политика, 2009; Writing national histories, 2009].

Официальная позиция Кремля в сжатом виде была сформулирована Владимиром Путиным на встрече с участниками Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и общественных наук 21 июня 2007 г. Содержание путинского выступления можно свести к двум основным пунктам: 1. «События прошлого должны быть представлены так, чтобы они питали национальную

---

<sup>1</sup> Всесторонний анализ попыток принять «мемориальный закон» в России [см.: Копосов, 2011].

гордость». 2. «Мы никому не позволим навязать нам чувство вины» [Стенографический отчет, 2007]<sup>1</sup>. В целом отчет о встрече Путина с российскими гуманитариями представляет собой увлекательное чтение, поскольку перед нами предстает занимательная картина попыток выработки консенсуса между правящими и интеллектуальными элитами российского общества – картина, в которой тесно переплетены эмоциональные, исторические и политические аспекты. Ученые, которые принимали участие во встрече, состоявшейся в загородной резиденции Путина, выразили свое глубокое убеждение в *политической* важности прошлого. По выражению одного из участников, прошлое – это не просто набор курьезных древних вещиц из антикварной лавки, а «совершенно актуальный механизм, работающий в структуре современности». В конце концов, все «принимаемые решения есть некая проекция того образа мира, который существует в сознании принимающего решение. И образ этого мира в значительной степени формируется историей, историческим знанием. Ибо всем известно, что история – это прошлая политика, а политика – это настоящая история». Стоит ли удивляться, что ученые гости Путина единодушно согласились с известной орвелловской максимой: «Кто контролирует прошлое, тот контролирует настоящее и будущее» [Стенографический отчет... 2007]<sup>2</sup>.

Участники встречи также выразили согласие с тем, что некоторые интерпретации прошлого могут быть (и зачастую являются) эффективным инструментом силовой политики и рычагами влияния на позицию других государств. В какой-то момент один из ученых посетовал по поводу «оскорбительного» отношения Запада к России как к вечному ученику. «Мы ученики – сколько можно?! Страна, огромная страна, сделавшая невероятное, а все ходит в учениках», – жаловался профессор-политолог Леонид Поляков. Путин немедленно отреагировал на его замечание. Мы не можем согласиться с тем, что «кто-то встает в позицию учителей и начинает учить нас», – сказал он. Однако помимо того, что подобное

---

<sup>1</sup> О личном понимании истории В. Путиным [см.: Hill, Gaddy, 2012; Малинова, 2011].

<sup>2</sup> Примечательно практически полное совпадения позиций ученых из Прибалтики и их идеологических оппонентов в России. «Давайте же еще раз отдадим дань Орвеллу – кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее!» – пишет Малксо в своем анализе войн памяти в Восточной Европе [Mälksoo, 2010].

отношение является серьезным раздражителем, добавил Путин, «это, безусловно, инструмент влияния на нашу страну» [Стенографический отчет... 2007].

Заключительное выступление Путина на встрече с историками примечательно тем, что в нем содержатся одновременно и вызов Западу и попытка нормализовать и релятивизировать историю России – в особенности ее советский период. «Что же касается каких-то проблемных страниц в нашей истории – да, они были, – сказал Путин. – Так они были в истории любого государства! И у нас их было меньше, чем у некоторых других. И у нас они не были такими ужасными, как у некоторых других. Да, у нас были страшные страницы... Но и в других странах было не менее, страшнее еще было». Одним словом, это был совет клеветникам России оставить ее в покое и заниматься своими собственными делами. «О себе пускай подумают», – выпалил Путин в заключение [Стенографический отчет... 2007].

На этом фоне «неудобные» интерпретации истории все в большей степени рассматриваются Москвой как инструмент, который различные международные акторы используют для резкой критики международной позиции России и дискредитации ее «символической силы», стремясь добиться от нее уступок. Ряд влиятельных российских историков утверждают, что в результате геополитических изменений конца 1980-х – начала 1990-х годов Россия стала основным объектом западного давления. Они указывают на то, что ведущие западные государства и их новые восточноевропейские союзники стараются представить Россию, как главную проигравшую сторону в «холодной войне» и, таким образом, как страну, к которой сейчас можно предъявить любые претензии [Нарочницкая, 2010; 2005]. «Наиболее яростные атаки направлены на [поддерживаемые Россией] представления о Второй мировой войне и Ялтинско-Потсдамскую систему», – пишут Александр и Елена Сенявские в журнале, издаваемом престижным Московским институтом международных отношений. По их мнению, причина заключается в том, что именно эта система утвердила результаты войны и сделала Советский Союз доминирующей силой в Европе. Кроме того, признав огромные потери Советского Союза в войне и решающую роль СССР в разгроме нацистской Германии, западные союзники тем самым признали и ту важную роль, которую Советский Союз сыграл в создании послевоенной «современной Европы». По признанию авторов, после развала Советского Союза Россия оказалась в менее благоприятной гео-



политической ситуации. Однако, утверждают они, «интерес новой России во многом заключается в сохранении, в возможно более полном удержании тех элементов системы международных отношений», которые сложились в результате Второй мировой войны [Сенявский, Сенявская, 2009, с. 300; также см.: Сенявский, Сенявская, 2007].

В самом деле, чтобы лучше понять, почему Москва так болезненно реагирует на попытки «переосмысления результатов Второй мировой войны», достаточно лишь вспомнить три важные вещи: упорство, с которым Россия отстаивает свое самоощущение великой державы; ее постоянные опасения отстать от своих главных (преимущественно западных) конкурентов; а также тот простой факт, что 1945 год представляет собой кульминацию геополитического могущества России. Ряд ученых давно выдвинули тезис о том, что после поражения России в Крымской войне 1856 года и до победы Советского Союза во Второй мировой войне Россия / СССР находилась в длительном геополитическом упадке [Baumgart, 1981; Люкс, 2005]. Победа Советского Союза над нацистской Германией, которая неизбежно ассоциируется с политикой и личностью Сталина, положила конец этой негативной тенденции и возвысила позиции Советской России до статуса великой державы, «без разрешения которой ни одна пушка в Европе не могла выстрелить», – как колоритно высказался еще в XVIII в. видный российский дипломат князь Александр Безбородко. Здесь мы имеем дело с удивительным случаем геополитической преемственности. «Не следует забывать, – напоминает нам Джадт, – что в исторической перспективе, с точки зрения историка современной Европы, Сталин был во многих смыслах настоящим последователем Екатерины Великой и [русских] царей XIX века, которые пытались расширить пределы России в сторону “ближнего Запада” и в особенности в юго-западном направлении. Речь идет, в частности, о тех территориях, на которые уже Екатерина пыталась распространить свое влияние. Эти территории всегда рассматривались как наиболее стратегически важные для России, ибо они предоставляли доступ к природным ресурсам, выход к незамерзающим морским портам, а также способствовали усилению влияния России как в Европе, так и в Азии» [Judt, 2009].

Стоит напомнить о двух простых исторических фактах. Россия была одной из основных проигравших сторон в Первой мировой войне: ее государственность оказалась разрушенной, а окраины восстали против центра. Результаты же Второй мировой войны,

закрепленные в Ялте и Потсдаме, превратили Россию (в форме Советского Союза) во вторую мировую сверхдержаву – статус, который давал Москве огромное геополитическое влияние в Европе [Ялта-45, 2010]. Примечательно, что знаменитый учебник истории А. Филиппова, представленный на Московской конференции обществоведов в 2007 г., открывает многозначительная фраза: «Между 1945 и 1991 Москва была столицей не только страны, но и всей мировой [социалистической] системы» [Филиппов, 2007, с. 6]. Стоит отметить, что автор является заместителем директора Национальной лаборатории внешней политики – исследовательского центра, имеющего тесные связи с Кремлём. [Рецензию на учебное пособие Филиппова см.: Венн, 2005.] Однако 40-летнее господство России в Восточной Европе закончилось целой серией «бархатных революций» 1989 г. Как отмечается в одном из острых комментариев, «Россия была главным победителем во Второй мировой войне и главным проигравшим в 1989 г.» [European histories, 2005].

В этом-то и заключается суть дела: российские элиты чрезвычайно болезненно переживают утрату международного влияния после развала Советского Союза. Но сейчас, 20 лет спустя, Кремль гордо заявляет, что *Russia is back*. Пройдя через десятилетие «национального унижения» (в 1990-е), страна в 2000-е пережила значительный экономический подъем. Действия российского руководства в области исторической политики призваны дополнять все более «мускулистую» внешнюю политику и призваны вернуть утерянное чувство исторического и морального превосходства. В то же время, международная идентичность России остается – вполне возможно, намеренно, – в высшей степени противоречивой. С одной стороны, Россия требует признания своей легитимности в Европе в качестве *постсоветского европейского* государства. С другой стороны, она представляет себя прямым преемником Советского Союза. Эта позиция чревата двумя серьезными последствиями: во-первых, это претензия России на статус великой державы со сферой «привилегированных интересов»; во-вторых, это ее отказ полностью признать преступления советского / сталинского режима.

### **Трудности конфронтации с прошлым и дилеммы национальной идентичности**

Немало российских ученых и политиков, похоже, понимают, что идентичность «новой России» – в особенности ее генетическая связь с СССР – является довольно проблематичной, не в послед-

ную очередь из-за того, что это правопреемство неизбежно порождает недоверие между Россией и ее европейскими соседями. Отсутствие же доверия, в конечном итоге, и является главной причиной всех «войн памяти» недавнего периода. «Европа до сих пор не доверяет новой России», – как заявляет один из российских комментаторов. Причиной европейской озабоченности, продолжает он, является тот факт, что Европа все еще не воспринимает Россию как действительно постсоветскую, постимперскую нацию. Европа относится к нам «не как к России, а как к уменьшенному, ослабленному и потому озлобленному СССР, ядру “империи советского зла”» [Кортунов, 2009, с. 53].

Различные слои российских элит предлагают разные пути решения проблемы «советского наследия» и вопроса об исторической ответственности, тем более что первое тесно связано со вторым. Совсем недавно была предложена, на первый, взгляд вполне четкая схема решения этой дилеммы. Суть предложения следующая: снять «проклятый вопрос» об исторической ответственности России за все преступления прошлого, но одновременно сохранить все наиболее ценное из геополитического наследия Советского Союза. В июне 2010 г. Константин Косачёв, на тот момент глава Комитета по международным делам Государственной Думы России, высказал мысль о том, что пришло время для выработки в России «набора постулатов», «своего рода исторической доктрины», которая помогла бы Москве раз и навсегда снять с себя любую политическую, финансовую, юридическую или моральную ответственность за политику и действия советских властей на территориях бывшего СССР и государств Восточной Европы. Предложение Косачёва сводится к двум ключевым моментам: 1) Россия выполняет все международные обязательства СССР, будучи его преемницей; однако Россия не признает никакой моральной ответственности и не принимает никаких юридических обязательств за действия и преступления, совершенные советскими властями; 2) Россия не принимает никаких политических, юридических или финансовых претензий за случаи нарушения советскими властями международного или местного законодательства, действовавшего в советский период [Косачёв, 2010].

Представляется, что Косачёв верно определил основную причину, из-за которой «Москва оказалась в своего рода ловушке»: она заключается в том, что современная Россия является правопреемницей Советского Союза. Он прав и в том, что эта правопреемственность имеет не только положительные, но и отрицатель-

ные черты. Однако остальная часть его программы очевидно противоречива: Россия, утверждает Косачёв, является правопреемницей СССР, но не несет ответственности – ни политической, ни моральной, ни финансовой или какой-либо иной – за любые преступные действия, совершенные советским режимом.

Но так ли это? Некоторые ведущие ученые (в частности, Андрей Зубов и Сергей Кортунов) уже давно указывали на то, что суть вопроса как раз и заключается в правовой преемственности, и это именно тот ключевой аспект, который отличает Россию от других государств Восточной Европы [Зубов, 2009; Кортунов, 2009, с. 284–312]. В 1991 г. Россия приняла решение стать правопреемницей СССР, тогда как все бывшие коммунистические страны Восточной Европы (включая некоторые бывшие советские республики) сделали выбор в пользу восстановления исторической преемственности с государственностью, предшествовавшей коммунистическому периоду их истории [Matz, 2001]. Таким образом, если современная Россия является прямой преемницей Советского государства, что с готовностью признают все руководящие органы России, она несет полную ответственность за действия и преступления, совершенные советским режимом как против собственного народа, так и против граждан иностранных государств на протяжении всей истории существования этого режима. Нежелание признать историческую ответственность, о чем недвусмысленно говорит предложение Косачёва, будет только усиливать подозрения соседей России относительно истинных намерений Москвы. Неизбежный результат российской позиции – продолжение «войн памяти» в Европе.

В 1991 г. Россия тоже стояла перед альтернативой: восстановить правовую преемственность с дореволюционной Россией, существовавшей до 1917 г., или стать правопреемницей СССР. По-видимому, Борис Ельцин понимал разницу между этими двумя возможностями и последствиями выбора любой из них. В своих воспоминаниях, объясняя причины, которые заставили российское руководство сделать свой тогдашний выбор, он размышляет о том, что могло бы произойти, если бы Российская Федерация решила бы стать преемником дореволюционной России. Ельцин полагал, что Россия стала бы совсем другой страной, живущей по совсем другим законам – законам, признающим приоритет личности над государством. В самом же конце своих «контрфактических» размышлений первый президент России многозначительно добавил: «Иначе бы относился к нам и окружающий мир» [Ельцин, 2000, с. 196–197].

Сейчас ряд либерально мыслящих политических аналитиков и комментаторов говорят о том, что руководство страны должно пересмотреть вопрос российской идентичности и наконец-то решить эту проблему «окончательно и бесповоротно». По их мнению, единственным способом решения этого вопроса является бескомпромиссный разрыв со всеми аспектами, связанными с советской идентичностью, и восстановление историко-правовой преемственности с «исторической Россией», т.е. Российским государством, которое пало в результате большевистского переворота в 1917 г. Сегодняшняя Российская Федерация – фактически единственная из всех бывших советских республик, не заявившая о своем официальном выходе из СССР (хотя Россия и провозгласила свою «независимость»), – является правопреемником Советского Союза, констатируют либералы, а значит, и наследником в большей степени советского, нежели «исторически российского» наследия [Зубов, 2010].

Краткий обзор нравственно-политических устоев страны, ее правового режима, отношений собственности и символической сферы с очевидностью подтверждает этот тезис. Несмотря на высказываемую российским руководством от случая к случаю критику порядков тоталитарного прошлого и сталинских преступлений, коммунистический период в истории России, длившийся на протяжении 70 с лишним лет, и советский политический режим никогда не подвергались всесторонней нравственной и исторической оценке. Преступления режима не были осуждены, и национальный акт покаяния по существу так и не состоялся. В этом смысле процесс нравственного возрождения нации еще не начался. В правовом смысле Российская Федерация сегодня является прямым наследником советского режима. В то время как большевистский декрет от 22 ноября 1917 г., отменивший абсолютно все законы Российской империи, является до сегодняшнего дня действующим правовым актом, ни один из законов России, действовавших до прихода к власти большевиков, не будет сегодня приниматься во внимание ни в одном суде страны. В основе экономических отношений в современной России лежит признание законности советской «общенародной» собственности, которая впоследствии была «приватизирована» таким образом, как будто она на самом деле была «ничьей». Подобного рода «приватизация», игнорирующая право собственности предыдущих владельцев и подтверждающая таким образом незаконную советскую «экспроприацию» и «национализацию» после прихода к власти большевиков в 1917 г., фактически

породила ту атмосферу беззакония и неуверенности, которая царит в сегодняшней России, – в особенности в сфере отношений собственности. И, наконец, символическая сфера Российской Федерации представляет собой постмодернистский коллаж образов и символов, взятых из различных эпох истории России, которые сосуществуют в некоем курьезном эклектичном симбиозе. Подобная искусственная «гармония» не может не вызывать удивления, принимая во внимание факт отсутствия политического континуитета в новейшей истории России. Но даже и в этой сфере, похоже, преобладают советские элементы, что можно объяснить самим происхождением нынешних правящих российских элит, для которых, как удачно подмечено в одном высказывании, «все советское – органически родное, а дореволюционное – полуфольклорный декор» [Кортунов, 2009, с. 303].

Здесь будет нелишним отметить, что сходных взглядов на природу идентичности постсоветской России придерживался Александр Яковлев, один из ведущих «архитекторов» горбачёвской перестройки. Незадолго до своей смерти в 2005 г. он дал обширное интервью главному редактору издательства Йельского университета и основателю серии публикаций «Анналы коммунизма» Джонатану Бренту. «Во время беседы, – пишет Брент в своей недавно вышедшей книге «Внутри сталинских архивов», – Яковлев постоянно возвращался к тому факту, что *Россия никогда не была полностью десоветизирована* (курсив мой. – И.Т.). В ней не был проведен Нюрнбергский процесс, никто не был призван к ответу, не было общественного примирения между жертвами и палачами, не было возвращения собственности или соответствующей компенсации миллионам тех людей, чьи жизни были полностью исковерканы или разрушены сталинской “утопией”. Вместо этого страна погрузилась... в безразличие и забвение, плохо представляя себе, нужна ли ей свобода или нет, едва ли вообще вспоминая о том, что такое свобода» [Brent, 2008, p. 252].

Присутствие элементов советского прошлого в идентичности современной России влечет за собой важные последствия для международной политики. Сергей Кортунов, в частности, справедливо утверждал, что до тех пор, пока Россия не подвергнет свою нынешнюю идентичность существенной трансформации и не превратится в подлинно республиканское, демократическое и динамично развивающееся общество, отношения Москвы с ведущими западными партнерами будут страдать от недоверия, взаимного непонимания и подозрительности. «Страны Запада, к союзу с ко-

торами стремится Россия, не примут ее в свои ряды как равную себе по духу и принципам, а будут заключать с ней лишь временные и конъюнктурные соглашения, как в годы Второй мировой войны, продолжая испытывать к ней недоверие, поскольку она не демонстрирует решительного разрыва с ее тоталитарным прошлым и не может определиться в разумных границах и национальных интересах» [Кортунов, 2009, с. 306].

## Заключение

Совершенно очевидно, что политическая линия, основанная на рекомендациях российских либерально настроенных мыслителей, неизбежно приведет к всеохватывающему серьезному процессу «расчета с прошлым» – то, что немцы называют *Vergangenheitsbewältigung*. Но это как раз то, чего российские власти хотели бы избежать – в немалой степени потому, что, как уже говорилось, нынешнее кремлевское руководство систематически отказывается внятно определять собственную идеологическую позицию. Некоторые круги российской элиты позиционируют себя в качестве сторонников консервативных идей – однако консерватизм предполагает уважение к общественным институтам. Другие называют себя поборниками политической системы, во главе которой стоит мудрый и сильный «национальный лидер», – но идеология харизматического лидера требует наличия «большой идеи». Проблема, однако, состоит в том, что в постсоветской России нет ни первого, ни второго: она не является страной, где в большой чести политические институты и ее нынешнее руководство вряд ли вдохновляются возвышенными идеалами.

Как пронизательно отмечают некоторые аналитики [Prozorov, 2009; Reshetnikov, 2011], путинский режим абсолютно *бесцветен*, т.е. у него отсутствует какое-либо идеологическое содержание. В своей внутренней и внешней политике он прибегает к тому, что сами власти называют *прагматичным* образом действий. Для этого режима характерно крайнее нежелание вступать в любые содержательные идеологические дебаты. Это в полной мере относится и к российскому подходу к вопросам «исторической политики». Внутри страны правящие элиты в основном заняты укреплением легитимности своего режима. С этой целью они будут настойчиво продолжать защищать «священную память победы» в Великой Отечественной войне, в особенности акцентируя те моменты военной истории, которые, с их точки зрения, могли бы

помочь им увековечить собственную власть. Речь идет о пропаганде «единения» правителей и подчиненных, превознесении «интересов государственной безопасности» в ущерб индивидуальным правам и противопоставлении преимуществ «железной руки» и «порядка» слабости и мягкотелости либерализма. Другие же, более темные моменты истории Советского Союза лучше, по мнению власть предержащих, оставить в покое.

Точно так же в сфере международных отношений основной заботой российского руководства является укрепление образа страны как *великой державы*. Преследуя эту цель, Москва стремится выдвигать на первый план те исторические факты, которые поддерживают этот образ, одновременно подвергая критике интерпретации, способные его подорвать. При этом все это делается с характерными для Кремля уклончивостью и «гибкостью». В тех случаях, когда это соответствует его интересам, российское руководство официально признает, что расстрел пленных польских офицеров в Катыни был напрямую санкционирован Сталиным; оно разрешило показ польского фильма «Катынь» по российскому телевидению и даже наградило знаменитого польского режиссера фильма Анджея Вайду орденом Дружбы народов [Яжборовская, 2011]. Российские власти принесли извинения венграм за события 1956 г. и чехам за 1968 год. Но все эти шаги отнюдь не означают, что Россия готова признать факт советской оккупации Восточной Европы. Поведение России некоторые комментаторы удачно характеризуют как упорное стремление придерживаться линии «благовидного отрицания на всех фронтах». Принося извинения восточным европейцам за отдельные преступления, Москва не извиняется за оккупацию. А защищая памятники павшим советским воинам в странах Прибалтики, она открыто не защищает действия советских властей накануне и после войны [Greene, Lipman, Ryabov, 2010, p. 6]. Отношение к прошлому не становится более определенным – напротив, чем дальше, тем больше сгущается «туман неопределенности».

## Литература

Берелович В. Современные российские учебники истории: многоликая истина или очередная национальная идея? // Неприкосновенный запас. – М., 2002. – № 4. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2002/4/brel.html> (Дата посещения: 07.10.2002.)



- Историческая политика // Pro et Contra. – М., 2009. – Т. 13. – № 3–4. – С. 6–124.
- Копосов Н. Память строгого режима: история и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.
- Кортунов С. Становление национальной идентичности: какая Россия нужна миру – М.: Аспект Пресс, 2009. – 375 с.
- Косачёв К. Советская ли Россия // Эхо Москвы. – М., 2010. – 29 июня. – Режим доступа: <http://echo.msk.ru/blog/kosachev/691501-echo.phtml> (Дата посещения: 30.06.2010.)
- Логвинов М. Историческая политика на постсоветском пространстве, или На восточном фронте без перемен // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – Айхштетт, 2009. – № 1. – С. 275–278.
- Люкс Л. Предчувствие заката Европы и страх перед Россией // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – Айхштетт, 2005. – № 1. – С. 1–22.
- Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // Pro et Contra. – М., 2011. – Т. 15. № 3/4. – С. 106–122.
- Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – Т. 8. – С. 115–217.
- Миллер А.И. Историческая политика: update // Polit.ru. – М., 2009. – 5 ноября. – Режим доступа: [http://www.polit.ru/lectures/2009/11/05/istpolit\\_print.html](http://www.polit.ru/lectures/2009/11/05/istpolit_print.html) (Дата посещения: 06.11.2009.)
- Миллер А.И. «Историческая политика» в Восточной Европе: плоды вовлеченного наблюдения // Polit.ru. – М., 2008. – 7 мая. – Режим доступа: [http://www.polit.ru/lectures/2008/05/07/miller\\_print.html](http://www.polit.ru/lectures/2008/05/07/miller_print.html) (Дата посещения: 08.05.2008.)
- Миллер А.И. История империи и политика памяти //Россия в глобальной политике. – М., 2008. – Т. 6, № 4. – Режим доступа: [http://www.globalaffairs.ru/number/n\\_11151](http://www.globalaffairs.ru/number/n_11151) (Дата посещения: 10.12.08).
- Морозов В. Россия и другие: идентичность и границы политического сообщества. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 651 с.
- Нарочницкая Н.А. Великие войны XX столетия: ревизия и правда истории. – М.: Вече, 2010. – 347 с.
- Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. – М.: Минувшее, 2005. – 79 с.
- О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. – М., 2009. – 15 мая. – Режим доступа: <http://state.kremlin.ru/commission/21/statute> (Дата посещения: 27.05.2012.)
- Павловский Г. Консенсус ищет столицу // Русский журнал. – М., 2010. – 26 марта. – Режим доступа: <http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Konsensus-ischet-stolicu> (Дата посещения: 30.03.2010.)
- Сенявский А., Сенявская Е. Вторая мировая война и историческая память: образ прошлого в контексте современной геополитики // Вестник МГИМО – Университета. – М., 2009. – Специальный выпуск, август. – С. 299–310.
- Сенявский А., Сенявская Е. Историческая память о войнах XX в. Как область идейно-политического и психологического противостояния // Отечественная история. – М., 2007. – № 2. – С. 139–151; № 3. – С. 107–121.
- Стенографический отчет о встрече с делегатами Всероссийской конференции преподавателей гуманитарных и общественных наук, Ново-Огарево, 21 июня 2007 г. – Режим доступа: <http://archive.kremlin.ru/text/appears/2007/06/135323.shtml> (Дата посещения: 27.05.2012.)

- Таратута Ю., Водо В. Россия попала в плохую историю // Коммерсант. – М., 2009. – 2 июля, № 117 (4172). – Режим доступа: <http://kommersant.ru/doc/1196402> (Дата посещения: 10.05.2012.)
- Трудное наследие прошлого: Россия в поисках исторической правды // Европа. – Варшава, 2009. – Т. 9, № 2. – С. 7–60.
- Шерлок Т. Опыт лакировки истории // Россия в глобальной политике. – М., 2012. – № 1. – Режим доступа: <http://www.globalaffairs.ru/print/number/Опыт-lakirovki-istorii-15466> (Дата посещения: 10.03.2012.)
- Шимов Я. Вторая мировая: конец эроса // Gazeta.ru. – М., 2009. – 1 сентября. – Режим доступа: [http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/01\\_a\\_3254449.shtml](http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/01_a_3254449.shtml) (Дата посещения: 05.09.2009.)
- Шишкин И. Антисистема и российский кризис // APN.ru. – М., 2011. – 19 января. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article23549.htm> (Дата посещения: 20.06.2011.)
- Шульга Т. Какая история нужна современной России? Обзор учебников и пособий по новейшей истории России // Русский вопрос. – 2009. – № 2. – Режим доступа: <http://www.russkiivopros.com/index.php?page=one&id=279&kat=6&csl=42> (Дата посещения: 10.12.2010.)
- Феретти М. Обретенная идентичность: новая «официальная» история путинской России // Неприкосновенный запас. – М., 2004. – № 4. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2004/4/fe11.html> (Дата посещения: 25.09.10.)
- Филиппов А. Новейшая история России, 1945–2006 гг.: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2007. – 494 с.
- Яжборовская И. Катынское дело: на пути к правде // Вопросы истории. – М., 2011. – № 5. – С. 22–35.
- Ялта-45: начертания нового мира / Отв. ред. Н.А. Нарочницкая. – М.: Вече, 2010. – 287 с.
- Adomeit H. Russia as a ‘Great power’ in world affairs: images and reality // International Affairs.–1995. – Vol. 71, № 1. – P. 35–68.
- Baumgart W. The peace of Paris: studies in war, diplomacy, and peacemaking. – Oxford: Clio Press, 1981. – 230 p.
- Benn D.W. The teaching of history in present-day Russia // Europe-Asia Studies.–2010. – Vol. 62, № 1. – P. 173–177.
- Benn D.W. The teaching of history in Putin’s Russia // International affairs.–2008. – Vol. 84, № 2. – P. 365–370.
- Benn D.W. On comparing nazism and stalinism // International affairs.–2006. – Vol. 82, № 1. – P. 189–194.
- Beyond totalitarianism: stalinism and nazism compared / Ed. by Geyer M., Fitzpatrick S. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2009. – 536 p.
- Brent J. Inside the Stalin archives: discovering the new Russia. – N.Y.: Atlas & Co., 2008. – 335 p.
- Bullock A. Hitler and Stalin: parallel lives. – London: Fontana, 1993. – 1158 p.
- Смолар А. Влада і географія пам’яті // Критика. – Київ, 2010. – № 5–6. – Режим доступа: [http://krytyka.com/cms/upload/Okremi\\_statti/2010/2010-05-06/20-25-2010\\_5-6.pdf](http://krytyka.com/cms/upload/Okremi_statti/2010/2010-05-06/20-25-2010_5-6.pdf) (Дата посещения: 15.01.2011.)
- Davies N. Europe at War, 1939–1945: no simple victory. – London: Macmillan, 2006. – 544 p.

- Esbenshade R.S. Remembering to forget: memory, history, national identity in postwar East-Central Europe // *Representations*. – 1995. – Vol. 49. – P. 72–96.
- European histories: toward a grand narrative // *Eurozine*. – 2005. – 3 May. – Mode of access: <http://www.eurozine.com/articles/2005-05-03-eurozine-en.html> (Дата посещения: 10.06.2009.)
- Fofanova E., Morozov V. Imperial legacy and the Russian-Baltic relations: from conflicting historical narratives to a foreign policy confrontation? // *Identity and foreign policy: Baltic-Russian relations and European integration* / Ed. by Berg E., Ehin P. – Farnham: Ashgate, 2009. – P. 15–31.
- Gledhill J. Integrating the past: regional integration and historical reckoning in Central and Eastern Europe // *Nationalities papers*. – 2011. – Vol. 39, № 4. – P. 481–506.
- Greene S., Lipman M., Ryabov A. Engaging history: the problems and politics of history in Russia // *Engaging history: the problems and politics of memory in Russia and the post-socialist space* / Ed. by Greene S. – Moscow: Carnegie Moscow Center, 2010. – 55 p.
- Hamby A. Endgame: how the Big Three concluded the good war // *Weekly Standard*. – 2010. – Vol. 16, № 1. – Mode of access: <http://www.weeklystandard.com/articles/endgame> (Дата посещения: 05.10.10.)
- Harbutt F. Yalta 1945: Europe and America at the crossroads. – N.Y.: Cambridge Univ. press, 2010. – 468 p.
- Hill F., Gaddy C. Putin and the uses of history // *National interest*. – 2012. – № 1. – Mode of access: <http://nationalinterest.org/article/putin-the-uses-history-6276?page=show> (Дата посещения: 15.01.2012.)
- History writing and national myth-making in Russia // *Russian analytical digest*. – 2010. – 9 February, № 72. – Mode of access: <http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/RAD-72.pdf> (Дата посещения: 20.02.2010.)
- Hockenos P. The fine line of blood // *Internationale politik global online*. – Berlin, 2011. – 23 August. – Mode of access: <http://www.ip-global.org/2011/08/23/the-fine-line-of-blood/> (Дата посещения: 01.09.2011.)
- Їльге В. Змагання жертв // *Критика*. – Київ, 2006. – № 5. – Режим доступа: [http://krytyka.com/cms/front\\_content.php?idart=125](http://krytyka.com/cms/front_content.php?idart=125) (Дата посещения: 20.04.2012.)
- Judt T. Interview with historian Tony Judt // *Radio Free Europe / Radio Liberty*. – 2009. – October. – Mode of access: [http://www.rferl.org/content/Interview\\_With\\_Historian\\_Tony\\_Judt\\_Dreaming\\_About\\_Washington\\_Is\\_One\\_Of\\_East\\_Europes\\_Great\\_Mistakes/1841206.html](http://www.rferl.org/content/Interview_With_Historian_Tony_Judt_Dreaming_About_Washington_Is_One_Of_East_Europes_Great_Mistakes/1841206.html) (Дата посещения: 05.10.2009.)
- Judt T. From the house of the dead: On modern European memory // *The New York review of books*. – N.Y., 2005. – Vol. 52, № 15. – Mode of access: <http://byliner.com/tony-judt/stories/from-the-house-of-the-dead-on-modern-european-memory> (Дата посещения: 20.08.2010.)
- Judt T. The past is another country: Myth and memory in postwar Europe // *Daedalus*. – 1992. – Vol. 121, № 4. – P. 83–118.
- Kaplan V. The Vicissitudes of socialism in Russian history textbooks // *History and memory*. – 2009. – Vol. 21, № 2. – P. 83–109.
- Kattago S. Agreeing to disagree on the legacies of recent history: Memory, pluralism and Europe after 1989 // *European journal of social theory*. – 2009. – Vol. 12, № 3. – P. 375–395.

- Katz D. Why Red Is Not Brown in the Baltics // *Guardian*.—2010. — 1 October. — Mode of access: <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/sep/30/baltic-nazi-soviet-snyder> (Дата посещения: 02.10.2010.)
- Kotkin S. Soviet collapse and Russia's path to the present // *Washington profile*. — Washington, 2009. — 13 March. — Mode of access: <http://www.washprofile.org/en/node/8502> (Дата посещения: 15.04.2009.)
- Krzeminski A. As many wars as nations: The myths and truths of World War II // *Sign and Sight*. — 2005. — 6 April. — Mode of access: <http://www.signandsight.com/features/96.html>. (Дата посещения: 08.08.2011.)
- LeDonne J. *The Russian empire and the world, 1700–1917: The geopolitics of expansion and containment*. — N.Y.: Oxford univ. press, 1997. — 394 p.
- LeDonne J. *The grand strategy of the Russian empire, 1650–1831*. — N.Y.: Oxford univ. press, 2004. — 261 p.
- Legewie C. Seven circles of European memory // *Eurozine*. — 2010. — 20 December. — Mode of access: <http://www.eurozine.com/articles/2010-12-20-leggewie-en.html> (Дата посещения: 14.02.2011.)
- Mälksoo M. The memory political horizons of Estonian foreign policy // *Diplomaatia*.— 2010. — June, № 82. — Mode of access: [http://www.diplomaatia.ee/index.php?id=242d217&L=1&no\\_cache=1&tx\\_ttnews%5Bttnews%5D=1145&tx\\_ttnews%5BbackPid%5D=559&cHash=54f363e5e0](http://www.diplomaatia.ee/index.php?id=242d217&L=1&no_cache=1&tx_ttnews%5Bttnews%5D=1145&tx_ttnews%5BbackPid%5D=559&cHash=54f363e5e0) (Дата посещения: 15.06.2011.)
- Mälksoo M. The memory politics of becoming European: The east European subalterns and the collective memory of Europe // *European journal of international relations*. — 2009. — Vol. 15, № 4. — P. 653–680.
- March L. Is nationalism rising in Russian foreign policy? The case of Georgia // *Demokratizatsiya*. — Washington, 2011. — Vol. 19, № 3. — P. 187–207.
- Matz J. *Constructing a post-Soviet international political reality: Russian foreign policy towards the newly independent states, 1990–1995*. — Uppsala: Acta universitatis uppsaliensis, 2001. — 280 p.
- Merridale C. The relevance of history: A view from the Kremlin // *On Russia: Perspectives from the Engelsberg seminar, 2008* / Ed. by Almquist K., Linklater A. — Stockholm: Axel and Margaret Ax:son Johnson foundation, 2009. — P. 87–99.
- Monas S. *The third section: Police and society in Russia under Nicholas I*. — Cambridge MA: Harvard univ. press, 1961. — 354 p.
- Naimark N. *Stalin's genocides*. — Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 2010. — 163 p.
- Neumann I.B. Russia as a Great Power, 1815–2007 // *Journal of International Relations and Development*.—2008. — Vol. 11, № 2. — P. 128–151.
- Neumann I.B. *Russia as a great power* // *Russia as a great power: Dimensions of security under Putin* / Ed. by Hedenskog J., Konnander V., Nygren B., Oldberg I. and Pursiainen C. — London: Routledge, 2005. — P. 13–28.
- Nye J.S. *Soft Power: The means to success in world politics*. — N.Y.: Public affairs, 2004. — 191 p.
- Ostrovsky A. *Teaching soviet history* // *On Russia: Perspectives from the Engelsberg seminar 2008* / Ed. by Almquist K. and Linklater A. — Stockholm: Axel and Margaret Axson Johnson foundation, 2009. — P. 13–23.
- Overy R. *The dictators: Hitler's Germany, Stalin's Russia*. — L.: Allen Lane, 2004. — 848 p.
- Plokhy S.M. *Yalta: The price of peace*. — N.Y.: Viking, 2010. — 480 p.

- Prozorov S. The ethics of postcommunism: History and social praxis in Russia. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – 266 p.
- The politics of memory in postwar Europe / Ed. by Lebow R.N., Kansteiner W., Fogu C. – Durham; London: Duke univ. press, 2006. – 366 p.
- Reshetnikov A. «Great Projects» politics in Russia: History's hardly victorious end // Demokratizatsiya. – Washington, 2011. – Vol. 19, № 2. – P. 151–175.
- Schmale W. «Osteuropa»: Zwischen Ende und Neudefinition? // Europa im Ostblok. Vorstellungen und Diskurse, (1945–1991) / Ed. by Faraldo J.M., Gulinska-Jurgiel P., Domnitz C. – Koln: Bohlau, 2008. – P. 23–36.
- Sherlock T. Confronting the Stalinist past: The politics of memory in Russia // The Washington quarterly, 2011. – Vol. 34, № 2. – P. 93–109.
- Sherlock T. History and myth in the soviet empire and the Russian republic // Teaching the violent past: History education and reconciliation / Ed. by Cole E.A. – Lanham: Rowman & Littlefield publishers, 2007. – P. 205–248.
- Sherr J. The implication of the Russia-Georgia war for European security // The guns of august 2008: Russia's war in Georgia / Ed. by Cornell S.E. and Starr S.F. – Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2009. – P. 196–224.
- Snyder T. *Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin*. – N.Y.: Basic Books, 2010. – 524 p.
- Snyder T. The historical reality of Eastern Europe // East European politics and societies. – 2009. – Vol. 23, № 1. – P. 7–12.
- Torbakov I. What does Russia want? Investigating the interrelationship between Moscow's domestic and foreign policy. – Berlin: DGAP, 2011. – 13 p.
- Torbakov I. History, memory and national identity: understanding the politics of history and memory wars in post-Soviet lands // Demokratizatsiya. – Washington, 2011. – Vol. 19, № 3. – P. 209–232.
- Troebst S. Jalta versus Stalingrad, Gulag versus Holocaust. Konfligierende Erinnerungskulturen im Grösseren Europa // Berliner Journal für Soziologie. – 2005. – Vol. 15, № 3. – P. 381–400.
- Writing national histories: Coming to terms with the past // Caucasus analytical digest. – 2009. – № 8. – 17 July. – Mode of access: [http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103587/ipublicationdocument\\_singledocument/ecb2723b-98f3-4b00-bdfc-5e24a81fd95a/en/CaucasusAnalyticalDigest08.pdf](http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/103587/ipublicationdocument_singledocument/ecb2723b-98f3-4b00-bdfc-5e24a81fd95a/en/CaucasusAnalyticalDigest08.pdf) (Дата посещения 25.07.2009.)

**В.А. Ачкасов**

## **РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛИТ ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ «ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ»**

### **Традиция и коллективная память – как «конструкты»**

Все то, что доходит до нас из прошлого, что передается во взаимосвязанном историческом процессе, составляет наследие общества. Однако традиция не тождественна историческому наследию. По определению П. Штомпки, «сумма событий за время существования человечества – не традиция, а скорее генеалогия общества... Именно отношение современников к объектам или идеям прошлого позволяет ту или иную часть исторического наследия включать в содержание категории «традиция» [Штомпка, 1996, с. 90, 91]. Традиция не есть нечто спонтанное и органичное, она всегда – результат выбора. Как пишет Дж. Гусфилд, «традиция – это не что-то такое, где-то там ожидающее, возлежащее на чьих-то плечах. Она скорее избирается, творится, моделируется в соответствии с нынешними потребностями и стремлениями данной исторической ситуации» [цит. по: Шацкий, 1990, с. 350]. Традиция – есть «агент обратимого времени» (К. Леви-Стросс), это не столько воспоминания о прошлом данной общности, сколько процесс реконструирования или реинтерпретации прошлого, «воображаемое прошлое». В то же время, она олицетворение этической власти того, что «существовало раньше» и инструмент легитимации.

По мнению французского социолога Мориса Хальбвакса, автора концепта «коллективная память» [см.: Halbwachs, 1980, p. 50–87], каждая группа людей создает свою память о собственном прошлом – память, которая акцентирует особенности этой группы,

отличает ее от других. Воссозданные в общественном сознании образы прошлого дают данной группе возможность представить свою историю – свое происхождение и развитие, – что, в свою очередь, позволяет ей узнавать себя в череде столетий. В результате коллективная память формирует символические культурные практики, которые не обязательно опираются на непосредственный опыт группы, однако именно они обеспечивают «матрицу» для индивидуальных идентичностей.

Развивая концепцию Хальбвакса, современный американский исследователь К. Бойд определил понятие «исторической памяти» как «форму социальной памяти, в которой группа селективно конструирует представления о своем воображаемом прошлом» [цит. по: Малинова, 2010, с. 100]. В свою очередь, Р. Лебоу понятию «коллективная память» противопоставил понятие «институализированная память», которая навязывается населению государством во имя формирования национальной идентичности. Согласно представлениям Лебоу, сегодня преобладающей тенденцией является размывание «институализированной памяти» и умножение «сообществ коллективной памяти», объединяемых общими представлениями о прошлом, исходящими «из перспективы» данной группы, которые не совпадают с аналогичными представлениями других групп [см.: Малинова, 2010, с. 99]. Действительно, коллективное воспоминание о событиях прошлого актуально и востребовано лишь тогда, когда оно вписывается в современную структуру групповых интересов.

Поэтому «историческая память, согласно парадоксальному утверждению Пьера Нора, всегда настоящее» [Nora, 1994, p. 289]. Осуществляя выбор событий и способов увековечивания прошлого, нация (точнее, национальные элиты) одновременно выбирает свое будущее. «Нации артикулируются посредством сложного процесса культурной инновации, который сопряжен с серьезной идеологической работой, интенсивной пропагандой и требует творческого подхода, – пишут Р. Суни и Дж. Элей. – Важную роль в этом процессе играют формирование и последующее использование особых представлений о прошлом, которые должны служить основанием для требований культурной автономии и, в конечном счете, – политической независимости» [Becoming national, 1996, p. 7–8]. Поэтому прежде всего «вспоминается» то, что созвучно современности, актуализируется ею и соответствует преследуемым политическим целям, и, соответственно, «забывается» то, что препятствует их достижению, поскольку политика памяти тради-

ционно связана и с практиками избирательного забывания. Причем нередко селекция такого рода проводится с предубеждением, идеализирующим и / или фальсифицирующим былое. Для описания тех многочисленных способов «производства памяти», с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, П. Нора вводит понятие «коммеморация» [Nora, 1994, p. 19].

Отсюда, как представляется, вырастает и концепт «изобретенной традиции», впервые сформулированный британским исследователем Э. Хобсбаумом. Изобретенная традиция, по мнению британского исследователя, – это «совокупность общественных практик ритуального и символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или не явно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – повторение» [The invention of tradition, 1983, p. 43]. Причины, по которым традиции конструируются, различны, исходя из этого критерия, Э. Хобсбаум подразделяет «изобретенные традиции» на три группы: первая символизирует и выражает социальную близость, идентичность сообществ и наций; вторая легитимизирует их статус, институты и авторитеты; третья социализирует определенные ценности, нормы, правила поведения [The invention of tradition, p. 9].

Поскольку «традиции складываются не сами по себе – их создают, отвергают или изменяют люди» [Shils, 1981, p. 14–15], – постольку различается и значимость тех или иных элементов прошлого на разных этапах исторического развития национальной общности и для разных социальных групп данного социума. «Конструктивисты» не без оснований пишут о том, что не существует объективных исторических фактов, все они изменчивы и, по сути, являются продуктом интерпретации тех, кто имеет большие или меньшие права на их легитимную номинацию. Поэтому «процесс признания и преодоления прошлого определяется в первую очередь политическими интересами и интересами влиятельных акторов» [Маколи, 2011, с. 139]. Это, в свою очередь, порождает феномен «конкурирующих традиций». Чаще всего это противоборство национальных или этнических традиций в рамках мультиэтничного социума или конфликты между традициями представителей различных социальных групп и политических союзов. Речь идет о борьбе за символическое господство, в ходе которой конкурирующие силы стремятся приватизировать публичный дискурс, инструментально используя те или иные исторические события и



символы в своих целях. Причем участники этой конкурентной борьбы претендуют на объективность именно своей точки зрения, апеллируя к «объективным» свидетельствам (историческим, археологическим и т.д.). Возможно также острое соперничество политических, религиозных, региональных или этнических традиций. Такого рода действия могут привести «к расколу на “антагонистические сообщества памяти”, каждое из которых претендует на исключительность» [Налевайко, 2009, с. 46–47]. И поскольку историческое сознание любой социальной общности строится на противопоставлении или уподоблении «Другому», постольку, как правило, это сопровождается нагнетанием страха перед угрожающими «Другими» – «чужими» – «врагами».

В то же время человек, в силу случайности своего рождения попавший в определенную социальную и этнокультурную среду, усваивает сконструированную традицию как некоторую «естественную» данность, без видимых усилий. Традиция для него является хранилищем всего разнообразия накопленных знаний, жизненного опыта, обычаев группы, которые нужно сохранить во времени и передать следующим поколениям. Из этого возникает представление о естественной принадлежности носителя традиции к общности «мы». Ибо «...традиция складывается помимо нашего разума. Она принуждает нас к чему-то помимо нашей воли. Уже в этом смысле она есть насилие. Но на этой ее принудительной силе держится любой общественный порядок. Порядок как некая субординация ролей, полномочий, функций» [Капустин, 2004, с. 48], т.е. социальных институтов, нерелексивная приверженность которым и составляет суть народного традиционализма.

В свою очередь, «любое национальное движение, любая национальная идеология представляют собой нарратив – повествование о бытии коллективной идентичности в историческом времени, обычно с соответствующими ссылками на славное прошлое этой общности людей и с притязаниями на некоторую часть мировой недвижимости, а именно: территорию своей “родины”» [Суни, 2011, с. 82]. Поэтому любое общество в периоды острых социальных кризисов сталкивается с явлением актуализации прошлого, что является признаком кризиса национальной / этнической идентичности. В то же время обращение к прошлому, историческим корням является одним из способов преодоления этого кризиса. Идентичность, по меткому замечанию С. Холла, это «предмет игры истории и различий» [Questions of cultural identity, 1996, p. 342]. «Если идентичности являются центральной частью исто-

рий, которые мы рассказываем о мире и о себе, тогда приведение доводов против политики идентичности столь же бессмысленно, как приведение доводов против существования дискурса или идеологий», – резонно замечает К. Джонсон [см.: Johnson, 2005, p. 37–61]. При этом дискурс идентичности предполагает, с одной стороны, осмысление различий и сходств между «Нами» и «значимыми Другими» для «демаркации» границ, с другой стороны – определение и переопределение «Нашей» общей истории, поскольку национальное единство опирается на набор представлений о «мы-сообществе», где основное внимание уделяется не правилам «принадлежности» или «исключенности», а тому, кто такие «мы», «...и ответ этот всегда принимает форму исторического повествования. На основании наших историй мы можем определить, кто мы и кто другие, и вместе с восприятием различия наших историй мы воспринимаем в качестве реальности и наше отличие друг от друга» [Люббе, 2005, с. 55].

Следовательно, актуализация прошлого выступает как средство самоидентификации кризисного общества, как поиск ответов на вопросы: «Кто мы?»; «Откуда мы?»; «Куда идем?». Как образно писал известный мексиканский писатель Октавио Пас, «каждый раз, когда общество оказывается в кризисе, оно инстинктивно поворачивает свой взгляд на прошлое и ищет там знак» [цит. по: Paz, 1979]. Обращение к истории, знание наших исторических приоритетов помогает преодолеть неуверенность в собственных силах. В результате прошлое становится своего рода стандартом, с которым соизмеряются и по которому оцениваются деяния современников.

При этом следует особо подчеркнуть, что коллективная память и политическая традиция действительны только тогда, когда они живы и изменяются, когда они дают способность понимания мира политики, применимую к актуальной практической политической деятельности.

С другой стороны, не надо забывать, что когда «пишется» коллективная память, она отражает определенную политическую и общественную конъюнктуру, а не «объективно» повествует о давно или недавно минувших событиях. Как утверждает М. Фуше, «прошлое имеет смысл, только исходя из его применения в современных условиях. Оно таит в себе неисчерпаемый источник представлений и аргументов, которые могут быть мобилизованы или, наоборот, вовремя забыты» [Фуше, 1999, с. 12]. История «многослойна», и историческая память обладает сложной организацией, что делает ее бесценным символическим ресурсом, поэтому на-

циональная идентификация может опираться на любой из исторических слоев, который с точки зрения политической элиты наиболее актуален и / или выгоден «здесь и сейчас». В то же время «ни одна культура не способна поддерживать себя без анализа институциональных форм и характерных стилей общения, господствовавших в том прошлом, которое эта культура отвергла», – утверждает Патрик Хаттон [Hutton, 1993, p. XXIV].

### **Национальная идентичность как исторический нарратив**

Несомненно, что исторические нарративы «играют важную роль в национальной идентификации, описывая “общую” историю определенной нации, давая ей объединяющие символы и мифы ... эти телеологически построенные исторические нарративы неизбежно упрощают и, как правило, искажают картину прошлого. Наряду с прославлением (предполагаемых) исторических достижений и “общих” жертв такие нарративы решают задачу осмысления (или замалчивания) проблемных, темных или даже позорных событий в прошлом того или иного народа» [Миллер, 2005, с. 66], т.е. решают задачу конструирования «удобного прошлого». «Нации, – как утверждал еще Э. Ренан, – строятся на коллективной потере памяти – изобретенные вчера, сегодня они воспринимаются уже как вечная и неизменная категория» [Ренан, 1888, с. 19].

Из этого, в частности, следует, что понятия «коллективная историческая память», равно как и «коллективное историческое сознание», «коллективная воля», суть не более чем метафоры<sup>1</sup>. «Все индивиды, коллективы и институты нуждаются в прошлом, – пишет Э. Хобсбаум, – но исторические исследования раскрывают только его случайные моменты. Стандартный случай культурной идентичности, привязанной к прошлому через мифотворчество, облаченное в одежды истории, есть не что иное, как национализм» [Hobsbawm, 1997, p. 357].

---

<sup>1</sup> В связи с этим Дункан Белл предложил понятие «мифопанорама» (mythscape), обозначающее дискурсивные сферы, в которых постоянно формируются, распространяются, обсуждаются и реконструируются мифы, лежащие в основе тех или иных коллективных идентичностей (прежде всего – мифы нации) [Bell, 2003].

Поэтому современные массовые представления об истории не являются «естественной памятью», передаваемой от поколения к поколению, они – результат деятельности профессиональных агентов исторической политики. «То, что мы называем памятью сегодня, это уже не память, а история» [Нора, 1999, с. 28]. Поэтому и «то, какие элементы прошлого вовлекаются в культурный оборот в качестве “общего” для различных индивидов прошлого (а какие, напротив, “вытесняются”, подвергаясь активному “забыванию”), отнюдь не является чем-то само собой разумеющимся. Сколь бы неудобным для обыденного сознания это ни прозвучало, но “общее прошлое” невозможно без специфических усилий по его конструированию» [Малахов, 2001, с. 127]. Как уже было отмечено выше, решающая роль в таком конструировании принадлежит политическим элитам. «Более того, в силу своей природы политический текст (транслируемый представителями политической элиты. – *В.А.*) всегда проецирует нормы и идентичности того политического сообщества, от чьего имени он произносится, воспроизводит и переопределяет эти нормы, границы между внутренним и внешним, “своими” и “чужими”» [Морозов, 2010, с. 309].

От позиции политических элит зависят статус и оценка, которую получит то или иное событие той или иной национальной (этнической) истории. Несомненно и то, что от политических элит зависит и выбор знаковых исторических событий, которые в рамках исторического нарратива получают статус «великого момента» (Э. Шилз)<sup>1</sup>, изменившего ход исторического развития общества или даже всего мира. В советской историографии такой статус имела Великая Октябрьская социалистическая революция, в современной России – это, несомненно, Великая Отечественная война. Как резонно утверждает Н. Копосов, «миф о войне стал настоящим мифом происхождения постсоветской России» [Копосов, 2011, с. 163], поскольку идея связи национальной истории с судьбой каждого россиянина, идея единства государства и народа является в этой исторической трагедии как нигде наглядно. Это подтверждает и контент-анализ ежегодных посланий трех президентов РФ: «...очевидно, что Великая Отечественная война – это единственное событие российской истории, которое активно ис-

---

<sup>1</sup> «Великие события, – писал Э. Шилз, – это те события, которые, как считается, определили последующее развитие и, соответственно, придали ореол сакральности прошлому» [Shils, 1975, p. 198].

пользуется в президентских посланиях в качестве позитивного символа, постоянно подвергаемого реинтерпретации», – отмечает О.Ю. Малинова [Малинова, 2011, с. 114].

Такие «великие события», или «поворотные моменты», истории наделяются в официальном дискурсе особым символическим смыслом. «Любые действия, связанные с сохранением памяти об этих поворотных моментах истории, пронизаны чувством приобщения к святыне, но в то же время в них сквозит глубокое внутреннее противоречие, – замечает Я. Зерубавель. – Это символическое состояние “порубежья”, бытия на грани двух эпох, с одной стороны, придает “поворотным моментам” дополнительную неоднозначность, позволяет по-разному их интерпретировать, а с другой – способствует их превращению в политический миф, используемый в борьбе различных сил» [Зерубавель, 2011, с. 21–22]. Не случайно в канун крушения Советского Союза радикальной ревизии была подвергнута история Октября 1917 года и под сомнение поставлен его статус как «великого момента». А сегодня на посткоммунистическом пространстве то же самое происходит с предисторией и историей Второй мировой / Великой Отечественной войны.

### **«Политика памяти» как инструмент строительства посткоммунистических наций**

После распада Советского Союза перед политическими и интеллектуальными элитами новых наций объективно встала проблема конструирования национальной традиции, «национализации прошлого», вычленения «поворотных моментов» в истории, «перформатирования» коллективной исторической памяти для легитимации национального строительства и возникших политических режимов. «Коллективная память об обретенных исторических корнях придает социуму новый импульс, становится средством выражения новых идей и ценностей, – отмечает Яэль Зерубавель. – В этом процессе новая нация опирается как на историческую науку, так и на традицию (поскольку прошлое нельзя полностью сконструировать. – В.А.). Избирательно используя тот материал, который они поставляют – то отвергая, то принимая их заключения, то подавляя, то развивая их положения, – новая нация заново создает свою память, формирует новую национальную традицию» [Зерубавель, 2011, с. 10].

В результате в посткоммунистическом мире никто не удержался от соблазна радикально нового прочтения истории своего

народа (особенно истории XX века), идеологического присвоения исторического прошлого. Не случайно вновь обрела актуальность, казалось бы, окончательно отвергнутая обществоведами концепция тоталитаризма. Именно она активно использовалась элитами многих стран Восточной Европы в начавшихся «войнах памяти». При этом, конечно же, не потребности дальнейшего развития исторической науки сыграли здесь решающую роль. На первый план вышли политические интересы и соображения конъюнктуры.

Именно поэтому одной из приоритетных задач правящих элит новых независимых государств стала историческая политика, т.е. «намеренные и формально легитимные действия политиков и чиновников, которые направлены на укрепление, удаление или переопределение отдельных фрагментов общественной памяти» (Л. Нияковский) [цит. по: Траба, 2009, с. 59]. Эта политика реализуется путем создания новых школьных учебников истории, учебных планов и программ, учреждения новых «знаменательных дат» и праздников, строительства новых мемориалов и разрушения старых, установления контроля над деятельностью СМИ, поскольку именно через учебники истории, государственные праздники и мемориалы, исторические фильмы и программы радио и ТВ реализуется легитимационная функция исторической памяти. В свое время британский исследователь Энтони Смит поставил вопрос: «Почему все режимы принуждают молодых людей изучать в школе историю?», и сам ответил на него: «Не для того, чтобы понимать свое общество и как оно меняется, а для того, чтобы принять это общество как свое, гордиться им и стать хорошим гражданином США или Испании, или Гондураса, или Ирака ... История как форма вдохновения и как идеология заключает в себе способность становиться самооправдательным мифом» [Smith, 1995, p. 53]. В свою очередь, Т. Джадт отметил, что все государства живут сегодня «за счет педагогического капитала, вложенного в сограждан в предыдущие десятилетия» [Джадт, 2011, с. 68].

Некоторые авторы склонны подчеркивать разницу между исторической памятью, школьной историей и профессиональной историей, т.е. системой критических исследований, связанной определенными правилами аргументации и использования фактов. Конечно, разница между этими феноменами существует, однако содержание сконструированной исторической памяти в немалой мере зависит от исторического знания. Можно напомнить, что профессиональная история и возникла в начале XIX в. именно как часть «предприятия по строительству нации» (А. Миллер), т.е. как пред-

приятие по «национализации коллективной исторической памяти». Как утверждает Т. Боллентайн, с конца XVIII в. профессиональная историография была тесно связана с формированием национальной идентичности и консолидацией национальной общности, выступая в последние два века основным интеллектуальным инструментом «создателей государств». Работа велась профессиональными историками под контролем и при поддержке государственных институтов. Так обстояло дело не только в европейских странах, но и в их бывших колониях – история выступала там в качестве центрального элемента антиколониального и постколониального национализма. Поэтому Боллентайн называет историю «служанкой нации» и заявляет о необходимости «спасти историю от нации» [Ballantyne, 2005, p. 23].

Можно также напомнить, что введение обязательных школьных курсов истории в Европе было связано со становлением государственной системы всеобщего обучения и с расширением круга обладателей избирательного права, т.е. числа граждан национального государства. Одновременно под влиянием модернизации была разрушена «естественная» система трансляции «коммуникативной памяти» в рамках ранее относительно закрытых и стабильных социальных групп. В результате, «партикулярные групповые идентификации были ... почти полностью подчинены идентификации национальной, задававшей важнейшие параметры отличия “нас” от “них”» [см.: Бойцов, 2005]. С этого времени нации стали изображаться в качестве главных субъектов истории, а образы выдающихся деятелей далекого прошлого подвергаться соответствующей стилизации, благодаря чему они превращались в национальных героев и национальные символы. Повсеместно, усилиями представителей интеллектуальных элит, создаются исторические пантеоны – собрания образов национальных героев.

Однако, не успев даже до конца оформиться, сконструированные «национальные» истории (как и любые иные картины прошлого) начали провоцировать конфликты и «войны интерпретаций», нередко непримиримые. Не случайно XIX столетие называли «веком национализма». Тем не менее до недавнего времени «...национальное государство в пределах своих границ успешно сохраняло монополию на “рассказывание истории”». Сегодня с усилением мобильности людей и развитием средств коммуникации столкновения между разными образами прошлого несопоставимо участились, спустившись до уровня сознания рядового обывателя. ...Это

многократно усиливает заряд конфликтности, содержащийся в национальной истории, ее способность ссорить людей» [см.: Бойцов, 2005].

Как отмечал еще в 1950 г. К. Рид, «...историк находит в прошлом то, что ищет. Он отбирает, излагает и подчеркивает факты в соответствии с той концепцией, которая социально желательна и востребована, и рассказывает об эволюции общества, постоянно имея в виду это обстоятельство» [Read, 1950, p. 285]. Ныне и российские историки пришли к выводу о высокой степени субъективности всякого исторического знания и о том, что невозможно провести четкую грань между объективным и субъективным способом познания прошлого, поэтому историческая наука представляет собой совокупность культурных практик, сложившихся в определенных исторических обстоятельствах и оттого неизбежно со временем трансформирующихся. Тем более что историческая политика, т.е. определение политического смысла исторического прошлого, в плюралистических обществах не является монополией государства, хотя оно и занимает в этой сфере особое положение, поскольку обладает возможностями навязывать способы интерпретации событий прошлого, прежде всего, с помощью системы школьного образования.

«В последние десятилетия вопрос о школьной истории и о национальных версиях прошлого тесно переплелся с проблемами глобальных переоценок (истории) после окончания “холодной войны” или периода “большого противостояния”, с проблемами государство-строительства после распада СССР и Югославии, с причудливыми трансформациями национализма и поисками национальной идентичности», – пишет В.А. Тишков [Тишков, 2011, с. 217]. При этом концепции национальной школы, которые разработаны и внедряются в посткоммунистических государствах и ряде «национальных» регионов России, призваны не столько повысить уровень языковой и исторической компетенции учащихся, сколько сконструировать историческую память путем создания «нового, антисоветского национального нарратива» (М. Флорин)<sup>1</sup>, актуализировать и сделать «видимыми» старые и создать новые культурные границы.

---

<sup>1</sup> Немецкий исследователь Мориц Флорин считает, что одной из стратегий преодоления постсоветского кризиса идентичности в новых государствах стала попытка «компенсировать утрату советского патриотизма путем многократного пересказа истории ради создания нового, антисоветского национального нарратива» [Флорин, 2011, с. 227–228].



Как известно, для самооценки национальной общности прошлое зачастую важнее, чем настоящее. Тем не менее поражает размах, с которым в посткоммунистическом мире государства эксплуатируют историческое прошлое. Идеологическое переформатирование и перекодирование недавнего общего прошлого превратилось в течение последнего десятилетия в один из важнейших инструментов осуществления политического влияния внутри и вне новых государств. Так называемая «историческая политика» или «политика памяти» стала инструментом национального строительства (конструирования национальной идентичности), обеспечения внутренней и внешней легитимности государства, мобилизации и консолидации социума на всем посткоммунистическом пространстве.

Причем если в бывших странах «народной демократии» ведущим стал миф о «возвращении в Европу», которому всегда препятствовал СССР, принудивший народы стран региона пойти по исторически тупиковому коммунистическому пути, то в постсоветских государствах национальные нарративы конструировались на основе «постколониальной парадигмы» (В.А. Тишков), т.е. на основе мифа об избавлении от имперского господства и национального угнетения. Изложение новых национальных историй осуществляется с явным акцентом на негативные аспекты истории советского периода. Подчеркивается беспрецедентность и уникальность страданий народов новых государств, испытанных ими в тоталитарном коммунистическом прошлом. Советская история предстает как цепь преступлений, совершенных преимущественно русскими, и жертв, понесенных народами новых государств. Как отмечает российский историк А.И. Миллер, «историческая политика» вообще может проводиться исключительно с позиции жертвы, поскольку она явным образом требует использования прошлых страданий не только как внутренней мобилизующей силы, но также и для «экспорта вины» [Миллер, 2008 b, 2008 a]. В предельных случаях концентрация на прошлых страданиях превращается в сотворение «национального Холокоста» – борьбу за признание международным сообществом геноцида против собственного народа. Эта политика сегодня широко используется во многих посткоммунистических государствах, прежде всего в бывших советских республиках [см.: Финкель, 2011, с. 123–143].

Понятно, что на постсоветском пространстве, как и в большинстве стран бывшего «лагеря социализма», роль «злой силы» «зарезервирована» за русскими и российским государством. В период борьбы за независимость оппозиционные движения в

советских республиках выработали своеобразное дуалистическое миропонимание, в соответствии с которым Империя и все с нею связанное представляют собой силы зла и угнетения, а сами националистические движения – силы добра и свободы. Этот дуализм стал характерной особенностью политического дискурса практически всех посткоммунистических государств. «Во многих соседних странах, – пишет, в частности, А.И. Миллер, – есть политические силы, которые совершенно сознательно стремятся превратить историю в оружие политической борьбы. В области международных отношений они стремятся зафиксировать для тех или иных стран, прежде всего для России, роль “виноватого”, а для своей – роль “жертвы”, в расчете получить определенные моральные преимущества. Требуя от России покаяния и компенсаций за реальные и мнимые грехи, описывая Россию как неизлечимо агрессивную имперскую нацию, создавая образ России как конституирующего и враждебного “Чужого”, сторонники “исторической политики” считают ее подходящим инструментом для формирования национальной идентичности у себя в стране, для борьбы со своими политическими оппонентами, для маргинализации тех или иных групп населения, в том числе русского меньшинства, там, где оно есть» [Миллер, 2008 b, с. 51–52].

В то же время, это способ избавления от ответственности за негативно оцениваемое социалистическое прошлое. В результате, «историческая вина за тоталитаризм» ложится лишь на русских, а большинство населения посткоммунистических государств освобождается от подозрения в лояльности этому режиму или даже его поддержке. Хотя репрессивная политика времен «реального социализма» осуществлялась не только и не столько русскими, сколько представителями самих «угнетенных народов». Очень показательны и то, насколько трудно дается венграм, полякам, латышам, литовцам, словакам, украинцам и др. дискуссия об их роли в Холокосте и других преступлениях конца 1930–1940-х годов (массовые депортации немцев; этнические чистки, например, так называемая «Волынская резня», приведшая к уничтожению тысяч польских граждан украинскими националистами; насильственная полонизация меньшинств в предвоенные годы, самым масштабным свидетельством которой стала операция Войска Польского по уничтожению трети православных храмов страны в 1938 г. и др.). «Именно участие “местных сил” сделало геноцид столь масштабным – в большинстве стран региона погибло более 90% проживавших в них евреев. На этом фоне особенно одиозными выгляде-

ли парады ветеранов СС, например в странах Балтии, поскольку стало очевидным, что симпатии части их жителей к нацизму, проявившиеся в ходе войны, невозможно объяснить только борьбой за национальную независимость» [Копосов, 2011, с. 70].

Следует, однако, признать, что такого рода усилия по деконструкции новейшей истории «не пропали даром».

Так, социологические исследования последних лет показывают, что две трети поляков полагают, что в истории польско-российских отношений больше негативных, чем позитивных моментов, причем молодежь (18–24 года) особенно настаивает на преобладании негативных моментов. Больше половины поляков считают, что Россия должна ощущать чувство вины по отношению к Польше в связи с событиями Второй мировой войны, Катынью, а также социалистическим периодом, когда Польша зависела от СССР. В то же время, более 80% поляков уверены, что Польша не должна иметь чувства вины по отношению к России в связи с историческим прошлым [см.: Лыкошина, 2008, с. 104].

Причины сегодняшних трудностей также изыскиваются в прошлом и, конечно же, вне своей нации. В роли всеобщего «козла отпущения» и внешнего «врага» представляется Россия, а в роли внутренних «Других» – русские или «русскоязычные». В результате новые интерпретации истории используются в качестве главного аргумента как во внутренних политических дебатах, так и при выяснении отношений с Россией как правопреемницей СССР. По мнению большинства поляков, после авиакатастрофы лайнера польского президента Леха Качиньского под Смоленском в апреле 2010 г. у России и Польши появился шанс к примирению. Однако польскими правыми силами была предпринята попытка раскрутить на этой основе еще одну антироссийскую кампанию. Так, в консервативном издании «Nasz Dzennik» было опубликовано интервью с депутатом от партии «Право и справедливость» А. Гурским под заголовком «Я обвиняю Москву». «Думаю, Россия ответственна за эту катастрофу, за эту новую Катынь, – заявил оппозиционер Леха Качиньского. – Однако мы никогда не узнаем правды, как не узнали ее в 1943 г., когда президент Польши в изгнании Владислав Сикорский погиб в авиакатастрофе над Гибралтаром, после того как повздорил с русскими по поводу той же Катыни» [цит. по: Терентьев-мл., 2010, с. 4].

Зачастую подобная «война интерпретаций», борьба с помощью той или иной выборки исторических фактов становится прологом к острым межгосударственным политическим конфликтам.

«Экспорт вины» обычно вызывает резкую реакцию со стороны обвиняемого государства. «В результате раскручивается спираль взаимных обвинений, дипломатических конфликтов и “сражений за прошлое”, которые, вообще говоря, могут превращаться и в реальные войны» [Финкель, 2011, с. 127]. Таким образом, историческая память становится полем борьбы различных государств и политических сил.

Участие интеллектуалов – «хозяев дискурса» в производстве «исторической политики», как правило, носит опосредованный характер. Воздействуя на массовое сознание через СМИ и на дискурс политической элиты – через институты политического консультирования, они способны как уменьшить, так и резко увеличить конфликтный потенциал в межгосударственных отношениях. Как уже отмечено, общая повествовательная конструкция, представляющая прошлое каждого социума, всегда служит интересам политической элиты и призвана способствовать реализации ее политических задач. Однако интеллектуалы могут оказывать на «политику памяти» и непосредственное воздействие, если они сами «идут во власть». Можно, в связи с этим, отметить массовое «хождение во власть» (А. Собчак) гуманитариев в первые годы посткоммунистического бытия: первый президент Абхазии В. Ардзинба до начала политической карьеры был историком; его политический оппонент – президент независимой Грузии З. Гамсахурдия – филологом и поэтом; президент демократической Чехословакии и первый президент Чехии В. Гавел был драматургом, президент Болгарии Ж. Желев – историком; лидер боснийских сербов Р. Караджич – психиатром и поэтом; председатель Верховного совета независимой Литвы В. Ландсбергис – музыковедом; президент Косова И. Ругова – драматургом; президент Армении Л. Тер-Петросян – историком; «демократический» президент Азербайджана А. Эльчибей – филологом-арабистом и т.д.

### **«Политика памяти»: Российский случай**

Рождение на постсоветском пространстве новых государств привело к появлению новых национальных историй, в которых они заявили свои права на значительную часть русской истории и на новую (зачастую диаметрально противоположную) интерпретацию многих исторических событий (особенно XX в.). При этом в национальных историях акцентируется «коренное отличие» каждой данной общности от всех остальных (прежде всего, от рус-

ских), для того чтобы отвести любые сомнения в легитимности данной национальной общности, в ее праве на существование. Ради чего активно изыскиваются глубокие исторические корни «нации», теряющиеся в глубине веков. Все это делается во имя «возвращения утраченного прошлого», обретения его заново. При этом, как отмечал еще А.С. Панарин, «...возвращая прошлое, в нем ищут не социально освобождающее сродство душ и судеб разных этносов, а национально освобождающие различия между ними. Прошлое облачают в подчеркнута национальные одежды. Но изготовлены они по наброскам современных дизайнеров; в подлинном прошлом их вряд ли носили. Насколько сейчас вообще можно судить, одежды предков в лучшем случае лишь более или менее приближались к этим анахроническим поделкам конца XX века» [Панарин, 1994, с. 35]. В целом же действует политическая установка на формирование этнонаций, которая во многом задает смысл исторических интерпретаций.

Эта радикальная ревизия общей истории породила в России феномен «утраченного прошлого». В сознании русских глубоко укоренен синдром «старшего брата», и потому стремительное превращение «братских народов СССР» в претендующих на значимость «Других» вызвало шок и обиду на неблагодарных «младших братьев» за дегероизацию и дискредитацию недавнего общего прошлого, особенно за попытки разрушения основного «мифа происхождения» постсоветской России – «мифа Великой Отечественной войны»<sup>1</sup>. Так, если претензии украинских интеллектуальных элит на монопольное владение «наследием Киевской Руси» вызывали ранее лишь иронические комментарии российских историков, то новая интерпретация советской истории породила активный протест и, в конце концов, вызвала ответную реакцию –

---

<sup>1</sup> Акцентируя исключительную роль «мифа о войне», Н. Копосов пишет: «Новый режим (режим В.В. Путина. – В.А.) искал опору в национальной традиции. Но он претендовал на то, чтобы считаться демократическим, и поэтому не мог однозначно положительно оценивать террор и коммунистическое мессианство. ...Поэтому и понадобился миф о войне, который позволял сконструировать трагическое, но славное и вдобавок осязаемое, конкретное, легко представляемое в ярких образах прошлое. Миф о войне стал *настоящим мифом происхождения* (курсив мой. – В.А.) постсоветской России. Его подъем наметился уже с первых месяцев правления Путина, а настоящий взлет пришелся на 2004–2005 гг. – период подготовки к 60-летию Победы» [Копосов, 2011, с. 162–163].

стремление защитить собственную национальную историю «от очернительства», «посягательств» и «фальсификаций».

«Показательно, – отмечает Д.В. Ефременко, – что российская власть и при Ельцине, и при Путине очень долго не решалась подступиться к этой задаче. Споры об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне официальной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоречивые сигналы. Однако в последнее время, главным образом, в связи с системными усилиями “заклятых друзей России” из Балто-Черноморского региона по конструированию желательной для них версии исторического прошлого российская власть стала втягиваться в “историческую политику”. И, похоже, всерьез и надолго» [Ефременко, 2010, с. 73]. В связи с этим нельзя согласиться с утверждением о том, что важнейшей причиной подъема политической памяти и войн памяти в посткоммунистических странах Восточной Европы «послужила новая историческая политика российского правительства, состоящая в культивировании мифа о войне» [Копосов, 2011, с. 263]. Историческая политика в современной России носит ярко выраженный реактивный характер. Музеи советской оккупации и институты национальной памяти как «инфраструктуры ее политизации» появились не в России, а в Польше, странах Балтии и Украине.

Однако назвать реакцию российской политической и интеллектуальной элиты на все эти проблемы адекватной было бы большим преувеличением. «В современной России, – констатирует А.Б. Гофман, – ситуация с традициями и инновациями, их взаимодействием, отношением к ним со стороны интеллектуалов и власти отличается чрезвычайной неопределенностью, многозначностью, амбивалентностью, синкретизмом» [Гофман, 2008, с. 50]. Основная сложность здесь состоит в том, что современная Россия – это не страна без традиций, а скорее страна с сохранившимися осколками традиций. Поэтому любое обращение российской власти к национальной традиции – это конструктивистское действие во имя обретения легитимности, что обуславливает инструментальность в отношении к прошлому. При этом она руководствуется идеологической установкой на формирование связи и преемственности настоящего и будущего по отношению к идеализированному прошлому, на отрицание существующих исторических разрывов и утверждение общей традиции и наследия, носителями которого все «Мы» – россияне – являемся. В результате многие исследователи отмечают внутреннюю противоречивость и эклектичность

исторической концепции современной российской власти, в которой «этатизм и национализм причудливо сочетаются с элементами либерализма, а реставрационный пафос – с идеей модернизации» [см.: Неприкосновенный запас, 2006; 2010].

С одной стороны, действительно необходимо реагировать на политизацию и дегероизацию общей истории народов СССР, разрушение доминирующего исторического мифа, использование новых исторических интерпретаций прошлого как политического ресурса. Хотя, следует заметить, в нашей национальной истории сомнительных, а то и «мешающих» сегодня фактов, суждений и оценок с каждым годом обнаруживается все больше. Так, сегодня россияне с большими трудом свыкаются с новыми интерпретациями предыстории и истории Второй мировой войны, с разрушением мифов о принципиальной правоте внешней политики СССР в предвоенный, военный и послевоенный периоды, о моральной непогрешимости солдат Красной Армии и др.

С другой стороны, бороться с фальсификациями истории – значит вступить в информационную войну с нашими «соседями». Попытки принятия «мемориального закона», запрещающего отрицать ведущую роль СССР в победе над фашизмом, создание в мае 2009 г. президентом РФ Д.А. Медведевым специальной «государственной комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России означали, что наша политическая элита приняла те «правила игры», по которым осуществляется «политика памяти» в посткоммунистических странах Восточной Европы. Теперь и у нас история и национальная память признаны ареной политической борьбы с внешним и внутренним противником, и потому альтернативная или конкурентная интерпретация исторических событий историками наносит урон не только патриотическому воспитанию нового поколения, но и безопасности государства. Отсюда, похоже, уже сделан вывод: история слишком политически важна, чтобы оставить ее на откуп профессиональным историкам (поэтому, видимо, не случайно наряду с профессиональными историками в президентскую комиссию были включены начальник Генерального штаба ВС России и высшие офицеры внутренних и внешних служб безопасности страны). Как следствие – формирование «госзаказа» на единственно истинную и патриотическую версию истории, которая негласно навязывается обществу и, как ни странно, оказывается выгодной вполне определенным политическим силам. Комментируя создание Государственной комиссии по противодействию попыткам фальсификации

истории при Президенте РФ<sup>1</sup>, иностранный наблюдатель выделяет четыре основных фактора, приведших к этой инициативе.

Во-первых, это реакция российских властей на растущую интернационализацию мемориальных практик, связанную, в частности, с политическим самоопределением бывших советских республик.

Во-вторых, опасение правящих элит, что уход последнего поколения, помнящего войну, существенно ослабит механизмы трансляции одного из ключевых имперских мифов.

В-третьих, стремление государства вновь восстановить контроль над образованием (прежде всего, школьным).

В-четвертых, проявляющаяся в последнее время в России тенденция к ограничению свободы выражения мнений [см.: Кегель, 2009].

В то же время попытки навязать «единственно правильную» интерпретацию тех или иных событий общей истории нашим соседям очевидно контрпродуктивны. «Реакцией России на свое собственное прошлое не может ограничиваться дело. Мы имеем длительные отрезки общей истории, а значит, она не может быть чьим-то единственным, собственным достоянием, как бы этого кому-то ни хотелось», – резонно отмечает «русскоязычный» автор из Латвии [Макаров, 2010, с. 152]. Поэтому, в лучшем случае, они бесполезны, в худшем – ведут к обострению конфликтного противостояния. Более того, как справедливо утверждает Пьер Нора, история принадлежит всем и никому – именно потому она и претендует на истину. Как и любое подобное притязание, ее право всегда будет оспариваться. Однако отказавшись от этих притязаний, мы попадем в беду [цит. по: Джадт, 2011, с. 69].

\*\*\*

Таким образом, вместо позитивной программы формирования национальной идентичности, вместо поиска компромисса в интерпретации сложных и трагических эпизодов совместной истории, признания общей ответственности за них или их совместного «забывания» политические и интеллектуальные элиты большинства посткоммунистических стран, наоборот, делают все для их актуализации и политизации, формируя и концептуализируя мифологемы массового сознания, придавая видимость научной обоснованности

---

<sup>1</sup> В марте 2012 г. комиссия, не выполнившая возложенных на нее задач, без лишнего шума была упразднена [Кантор, 2012].



примитивным ксенофобиям и идиосинкразиям. Ну а созданный вновь или возрожденный «образ врага» активно используется как ресурс внешней и внутренней политики и средство политической консолидации наций.

При этом необходимо оговориться, что речь должна идти не о полном отказе от «политики памяти», поскольку это невозможно практически – такая политика осуществлялась и осуществляется всеми государствами мира. Внимание к прошлому и выстраивание устойчивых исторических ориентиров для своих граждан является частью любой государственной политики, и все государства, как уже отмечено, предпочитают «удобное прошлое», патриотическую версию своей истории и осуществляют более или менее жесткий контроль над ее преподаванием в школе. Поэтому, как представляется, следует обсуждать вопрос: насколько конструктивно такое вмешательство политики в исторический дискурс и каковы его цели, а не то, можно или нельзя использовать в политических целях национальную историю или нужно или не нужно вмешиваться государству в процесс преподавания истории. «Конечно, наивно требовать от политиков и государственной власти, чтобы они отказались от попыток продвигать свое понимание истории, – отмечает Н. Копосов. – Но их право на использование некоторых средств такого продвижения должно быть ограничено. Таким ограничением являются академические свободы, предполагающие право ученого свободно выражать свою точку зрения и обязанность коллег оценивать ее в соответствии с принятыми правилами исследования и нормами академической этики. Эти правила и нормы можно и должно критиковать и совершенствовать. Как и любые другие нормы, они являются формой власти (академической среды над ее членами) и ограничением свободы – в том числе и произвола интерпретаций. Но они обеспечивают автономию знания» [Копосов, 2011, с. 267].

## Литература

- Бойцов М. История закончилась. Забудьте // Культура. – М., 2005. – № 31–32. – Режим доступа: [http://www.kultura-portal.ru/tree\\_new/cultrpaper/article.jsp?number=595&rubric\\_id=1000166](http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultrpaper/article.jsp?number=595&rubric_id=1000166) (Дата посещения: 28.05.2012.)
- Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России на рубеже XX–XXI вв. // Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. – М.: РОССПЭН, 2008. – С. 9–62.

- Джадт Т. Места памяти Пьера Нора: Чьи места? Чья память? // Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей / Под ред. Герасимова И.В., Могильнера М., Семенова А. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 45–74.
- Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей / Под ред. Герасимова И.В., Могильнера М., Семенова А. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 10–29.
- Ефременко Д.В. Переизобрести Европу – перевообразить Россию // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин: Сб. науч. тр. – М.: РАН. ИНИОН, 2010. – Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций. – С. 54–78.
- Историческая политика и ее особенности в Польше, Украине и России // Отечественные записки. – М., 2008. – № 5 (44). – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/2008/5/istoricheskaya-politika-i-ee-osobennosti-v-polshe-ukraine-i-rossii> (Дата посещения: 10.04.2012.)
- Кантор Ю. История без фальсификаций // Московские новости. – М., 2012. – 19 марта, № 238 (238). – Режим доступа: [http://mn.ru/society\\_history/20120319/313741427.html](http://mn.ru/society_history/20120319/313741427.html) (Дата посещения: 28.05.2012.)
- Капустин Б. Что такое консерватизм? // Свободная мысль – XXI. – М., 2004. № 2. – С. 44–53.
- Кегель И. де. На пути к «предсказуемому» прошлому? Комментарий к созданию Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в России // *Ab imperio*. – М., 2009. – № 3. – С. 365–387.
- Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 320 с.
- Лыкошина Л.С. Некоторые аспекты исторического и национального сознания в Польше // Системные изменения и общественное сознание в странах Восточной Европы. Сб. науч. трудов / Редколл.: Шаншиева Л.Н. (отв. ред.) и др. – М.: РАН. ИНИОН, 2008. – С. 41–48.
- Люббе Г. Право оставаться иным. К философии регионализма // Политическая философия в Германии: Сб. статей. – М.: Современные тетради, 2005. – С. 47–64.
- Макаров В. «Бои за историю» в Латвии // Национальные истории на постсоветском пространстве – II / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. – М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XXI, 2009. – 148–156.
- Маколи М. Историческая память и общество сограждан // *Pro et Contra*. – М., 2011. – № 1–2 (51). – С. 134–149.
- Малахов В. Символическое производство этничности и конфликт // Язык и этнический конфликт / Под ред. М.Б. Олкотт и И. Семёнова. – М.: Гендальф, 2001. – С. 115–137.
- Малинова О.Ю. Консолидация политических сообществ и проблема «неудобного прошлого»: опыт Европы и Азии. (Реферативный обзор) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин: Сб. науч. тр. / Редколл.: Ильин М.В. (гл. ред.) и др. – М.: РАН. ИНИОН, 2010. – Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций. – С. 98–108.
- Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // *Pro et Contra*. – М., 2011. – № 3–4 (52). – С. 106–122.
- Миллер А.И. Дебаты об истории и немецкая идентичность // Политическая наука. – М.: РАН. ИНИОН, 2005. – № 3. – С. 66–75.

- Миллер А.И. Историческая политика и ее особенности в Польше, Украине и России // Отечественные записки, 2008а. – Т. 5, № 44. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/?numid=46&article=1735> (Дата посещения: 15.04.2012.)
- Миллер А.И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее России. / Под ред. А.И. Миллера. – М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2008 б. – С. 25–58.
- Морозов В. Охранительная модернизация Дмитрия Медведева. Некоторые размышления по поводу ярославской речи // Неприкосновенный запас. – М., 2010. – № 6. – С. 307–320.
- Налевайко Е. Политический популизм и социальный страх // Социология. – Минск, 2009. – № 4. – С. 36–48.
- Неприкосновенный запас. – М., 2006. – № 6 (50). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2006/50/> (Дата посещения: 28.05.2012.)
- Неприкосновенный запас. – М., 2010. – № 6 (074). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2010/6/> (Дата посещения: 28.05.2012.)
- Нора П. Между памятью и историей // Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция – память. – СПб.: Изд. Санкт-Петерб. ун-та, 1999. – С. 17–50.
- Панарин А.С. Национализм в СНГ: Мировоззренческие истоки // Свободная мысль. – М., 1994. – № 5. – С. 30–37.
- Ренан Э. Что такое нация? – СПб., 1888. – 298 с.
- Суни Р.Г. Диалог о геноциде: усилия армянских и турецких ученых по осмыслению депортаций и резни армян во время Первой мировой войны // Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 75–114.
- Терентьев – мл. А. 70 лет спустя. У россиян и поляков возник исторический шанс к миру и согласию // Однако. – М., 2010, 19 апреля. – С. 4–9. – Режим доступа: <http://www.odnako.org/files/cP8zz.pdf> (Дата посещения: 28.05.2012.)
- Тишков В.А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011. – 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011. – 232 с.
- Траба Р. Польские споры об истории XXI века // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3–4 (46). – С. 43–64.
- Финкель Е. В поисках «потерянных геноцидов» // Pro et Contra. – М., 2011. – № 3–4 (52). – С. 123–143.
- Флорин М. Элиты, русский язык и советская идентичность в постсоветской Киргизии // Неприкосновенный запас. – М., 2011. – № 6 (80). – С. 225–233.
- Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры. Эссе. – М.: Международные отношения, 1999. – 168 с.
- Штомпка П. Социология социальных изменений. – М.: Аспект-пресс, 1996. – 416 с.
- Шацкий Е. Утопия и традиция / Общ. ред. и послесл. В.А. Чаликовой. – М.: Прогресс, 1990. – 456 с.
- Ballantyne T. Putting the nation in its place?: World history and C.A. Bayly's «The Birth of the modern world» // Curthoys A., Lake M. Connected worlds: history in transnational perspective. – Canberra: ANU E Press, 2005. – P. 23–44.
- Becoming national / Ed. by Eley G., Suny R.G. – Oxford: Oxford univ. press, 1996. – 518 p.
- Bell D.S.A. Mythscapes: memory, mythology and national identity // British journal of sociology. – L., 2003. – Vol. 54, № 1. – P. 63–81.

- Halbwachs M. The collective memory. – N.Y.: Univ. of Chicago press, 1980. – 182 p.
- Hobsbawm E.J. On history. – L.: New Press, 1997. – 357 p.
- Hutton P.H. History as an art of memory. – Hanover: Univ. press of New England, 1993. – 229 p.
- Johnson C. Narratives of identity: Denying empathy in conservative discourses on race, class and sexuality // *Theory and society*. – Dordrecht, 2005. – Vol. 34, № 1. – P. 37–61.
- Nora P. Between memory and history: Les lieux de memoire // *History and memory in African – American culture* / Ed. G. Farbe, R.O'Meally. – N.Y., Oxford: Oxford univ. press, 1994. – P. 7–24.
- Paz O. Reflections: Mexico and the United States // *The N.Y.er.* – 1979. – 17 September. – P. 136.
- Questions of cultural identity / Ed. by Hall S., Gay P. Du. – L.: Sage, 1996. – 198 p.
- Read C. The social responsibilities of the historian // *The American historical review*. – 1950. – Vol. 55, № 2. – P. 283–285.
- Shils E. Center and periphery: Essays in macrosociology. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1975. – 263 p.
- Shils E. Tradition. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1981. – 213 p.
- Smith A.D. Nations and nationalism in a global era. – Cambridge: Polity Press, 1995. – 211 p.
- The invention of tradition / Ed. by Hobsbawm E. and Ranger T. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983. – 320 p.

**К.Ф. Завершинский**

## **СИМВОЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ**

Исследования «социальной», «культурной» и «исторической памяти», «мест памяти» и «символов идентичности» достаточно широко представлены в дискурсе социологии и исторической науки последних десятилетий. Рефлексия по поводу «образа прошлого» и его влияния на деятельность людей в настоящем, артикулированная в философии и социальной психологии прошлого столетия, получила развитие в исторических и социологических исследованиях «коллективного бессознательного», «ментальности», исторических модификаций социальной и культурной памяти (в «дописьменных» и «письменных» обществах), «рамочной памяти» и преодоления травматического опыта прошлого.

Новый импульс подобного рода исследованиям придали политические и идеологические трансформации постсоветского пространства, стимулировавшие изучение символических практик и процесса институционализации современных форм социальной памяти: «политики памяти», «политики идентичности», «политизации истории» и «исторической политики». Поиски идеологических оснований для «общей памяти» и апелляция к жертвам, принесенным на «алтарь Отечества» реальными и мифическими «прародителями нации», стали общим местом в политической риторике постсоциалистических элит. Перманентные и трагические по своим последствиям попытки «расставания с прошлым», столь характерные для социокультурной динамики второй половины XX столетия, породили весьма вариативный в своих смысловых векторах «дискурс памяти», эпистемологическое многообразие научных способов его наблюдения и проявления в политических

практиках. Процесс оформления «социальной памяти» при подобном способе исследования предстает как многообразие «символических политик», «политик идентичности» в условиях конфликтного и чреватого вспышками политического насилия «перехода тоталитарных обществ к демократии» и «глобальному сетевому обществу».

Вместе с тем расширение предметного пространства «исследований памяти» и политических практик ее социального конструирования пока не привело к выработке общепринятых методологических подходов, а содержание понятий «социальная / политическая память», «политика памяти» и т.п., широко используемых в современных междисциплинарных исследованиях и публичном дискурсе, не отличается однозначностью. Например, понятие «социальная память» в исторических и социологических исследованиях может использоваться как образная метафора, научное понятие при описании специфического метода изучения социальных взаимодействий или культурный концепт.

Показательна теоретико-методологическая ситуация в исследованиях «исторической памяти» и ее символических репрезентаций. Не ставя перед собой задачу обстоятельного анализа многообразных способов концептуализации исторических форм социальной памяти (на этот счет имеются достаточно пространственные обзоры зарубежных и отечественных авторов [см.: Репина 2003; Репина, 2005, с. 122–169; История и память, 2006; Савельева, Полетаев 2006, с. 392–471]), мы попытаемся выявить общность «горизонта смысла», характерную для современных исследований феномена социальной и культурной памяти, и на этой основе обозначить методологические контуры анализа «политической памяти» и «политики памяти» как ведущего звена в конституировании современной культурной памяти и коммуникаций.

Критические исследования исторических форм социальной памяти и символических представлений о прошлом широко представлены в рационалистических версиях современного исторического нарратива. При этом когнитивным основанием подобного рода исследований является различие исторического сознания и исторической памяти, дискурса исторической науки и дискурса памяти, идентичности. Нарратив научной истории позиционирует себя как способ критического описания прошлого и делегитимации коллективного опыта совместного существования, в то время как «история-память» рассматривается как атрибут «досовременного» общества – или его «рецидив». В силу этого организация

человеческих взаимодействий на основе сознательного и бессознательного конструирования «образов прошлого» в современности может интерпретироваться как признак субъективации и нарастания произвольности, желания «остановить» или «омертвить» поступь истории, использовать исторические факты для политических манипуляций. Показательна методологическая позиция известного французского исследователя «мест памяти» Пьер Нора. Он отмечает, что критический дискурс истории разрушает «историю-память», а интерес в современном обществе к «памяти» и «местам памяти» по своей сути есть своего рода «болезнь», сопровождающая «поиск истории»: «...в сердце-истории работает деструктивный критицизм, направленный против спонтанной памяти. Память всегда подозрительна для истории, истинная миссия которой состоит в том, чтобы разрушить и вытеснить ее. История есть делигитимизация пережитого прошлого» [Нора, 1999, с. 20–21].

В основе размышлений о природе «социальной памяти» известного американского представителя исторической эпистемологии Алана Мегилла лежит аналогичная, пусть и смягченная, методологическая схема – «история vs память». Эмпирический смысл памяти, как он полагает, заключается в обозначении и обсуждении опыта участия людей в исторических событиях: «Память – это образ прошлого, субъективно сконструированный в настоящем, поэтому... она... субъективна; она может также быть иррациональна, непоследовательна, обманчива и самодостаточна». Память «связана с ненадежностью сегодняшней идентичности, конструирующей эти воспоминания». Сопутствующая ей ностальгия «связана с ощущением удовлетворенности идентичностью настоящего, – порождающим эту ностальгию». «Между историей и памятью, – полагает Мегилл, – остается граница, которую время от времени можно пересечь, но которую никто не может и не должен хотеть устранить» [см.: Мегилл, 2007, с. 124, 147–148, 169].

Альтернативная версия эпистемологии социальной памяти прослеживается в исследованиях «новой культурной» и антропологически-ориентированной истории. «История» в этом случае не противопоставляется «памяти», так как основным предметом исследований «исторической культуры», «интеллектуальной истории» становятся не столько события прошлого, сколько вариативная социальная память о нем. При этом, как полагают сторонники «новой культурной истории» и изучения «исторической культуры», история неотделима от памяти, а историческое сознание от мифического. Анализ исторической памяти, по мнению сторонни-

ков этой исследовательской стратегии, не может основываться на деконструкции мифологем социальной памяти, так как возникающая при этом «критическая история», устраняя одни мифы в культурной памяти, всегда содействует созданию новых. Базовой методологической посылкой изучения «образов прошлого» и репрезентаций «исторической культуры» становится методологическое различие «истории памяти» и символических практик мифологизации политической идентичности. Так снимается проблема противопоставления «истории» и «социальной памяти», характерная для позитивистско-ориентированного исторического дискурса. «Культурная память» становится не только объектом исследования, но и источником герменевтической рефлексии о социальном предназначении исторической науки и критериев обоснованности исторического познания.

Одной из наиболее востребованных теоретических версий изучения мифических оснований социальной памяти является теория культурной памяти, разработанная в 90-е годы немецким антропологом и египтологом Яном Ассманом. По Ассману, культурная память, передаваясь из поколения в поколение, удерживает наиболее значимое прошлое. Прошлое, закрепленное и интериоризированное до состояния «обосновывающей истории», есть миф, независимо от того, фиктивно оно или действительно. Подобная функция социальной памяти связана с ее ролью в обосновании политической идентичности, которую не может выполнить историческое знание. Идентичность основана на памяти и воспоминании о прошлом. Социальная память – не просто следы прошлого, содержащиеся в коллективном сознании или коллективном бессознательном, а культура, т.е. комплекс обеспечивающего идентичность знания, объективированного в символических формах [см.: Ассман, 2004, с. 64, 71, 82]. В этой эпистемологии социальная память не противопоставляется историческому сознанию, культуре и политике, так как рассматривается в качестве исходного антропологического параметра культурных коммуникаций.

Противоречивая вариативность подходов к концептуализации феномена социальной памяти, на первый взгляд, вполне естественна для междисциплинарных исследований, развивающихся на пересечении качественно разнородных в методологическом плане научных дискурсов. Дискурс памяти, расширяющийся от субъективистских до объективистских интерпретаций, казалось бы, демонстрирует возможности диалектики разных значений данных понятий. Однако присущий этому процессу теоретико-



методологический редукционизм, ведущий к трактовке социальной памяти как «зависимой» от «субъективных» или «объективных структур» переменной, не позволяет осуществить аналитическое различение когнитивного содержания социальной памяти и ее социальных детерминант.

В версиях «строгого исторического знания» вопрос о смысле исторической памяти подменяется традиционной для исторической науки дискуссией о специфике исторического нарратива, его «уклонений от истории» (А. Мегилл). Для этого подхода характерны социально-психологические редукции оснований исторической памяти, интерпретируемой как «образы прошлого» и ментальные матрицы, благодаря которым люди «осовременивают» информацию о прошлом на основе личного, коллективного опыта совместного существования. При этом историческое научное знание, как способ осмысления подобного опыта профессионалами, рассматривается в качестве главного источника предотвращения коммуникативных рисков, связанных с абберациями восприятия прошлого в рамках исторической памяти. При культуристорицистских и историко-антропологических способах концептуализации социальной памяти ее анализ, даже у таких талантливых представителей данного подхода, как Я. Ассман, ограничивается реконструкцией представлений о специфике идентичностей прошлого. Обозначаемая же в подобных исследованиях проблема присутствия «прошлого» в настоящем или проспективные измерения исторической памяти сводятся к обнаружению, «возрождению» ритуально-мифических практик в современных культурных коммуникациях.

Это порождает серьезную методологическую проблему: как согласовать существующее многообразие социально-психологических, исторических и социологических «переменных» в описании пространства социальной, исторической памяти и избежать редукции ее содержания к тем или иным «объективным» или «субъективным» измерениям, частным «практикам» ее социального конструирования или описания? И здесь приобретает актуальность методологическая посылка, артикулированная в свое время К. Леви-Стросом: в силу очевидного наличия «множественных историй» [Леви-Строс, 1999, с. 317] (любая история – это история «для») при историческом исследовании важно обращать внимание не только на взаимосвязь событий, но и на их изоморфность, так как «...фактически история не связана ни с человеком, ни с каким-то особым объектом. Она – метод, использование которого

необходимо для открытия элементов некоей структуры, человеческой либо нечеловеческой» [Леви-Строс, 1999, с. 317, 321; см. также: Энафф, 2010, с. 312].

Если сделать поправку на особенности исследовательской оптики французского этнолога, можно признать, что установка на поиск более общего методологического горизонта концептуализации феномена социальной памяти, не сводимого к его ретроспективным проекциям или социально-психологическим моделям репрезентации социальной памяти, выглядит вполне убедительно.

Наряду с задачей выявления общего смыслового ядра рассмотренных способов концептуализации социальной памяти, актуальна и проблема выделения качественной специфики ее многообразных форм, а также отношений, складывающихся между ними в процессе социокультурной эволюции. Сколь-нибудь отчетливой границы и специфики политического, религиозного или нравственного содержания социальной памяти при интерпретации ее функционирования как «субъективного» или «мифического» измерения исторической реальности не прослеживается, если не считать отсылок к мифическим, религиозным, эстетическим основаниям «символов господства» или манипулятивному характеру «политики памяти» со стороны властвующих элит. Возвращение «внутреннего смысла» при описании социальной памяти и ее легитимирующей / делегитимирующей функции видится в обращении к методологическим стратегиям новых «культурсоциологий» и современным версиям структурно-функционального анализа символических практик легитимации социального порядка, поскольку именно развитие теоретической социологии в свое время стимулировало исследовательские программы изучения социальной памяти.

Кроме того, динамика социальной памяти всегда связана с ее «присутствием в настоящем», поэтому при ее изучении приходится учитывать происходящие в обществе коммуникативные трансформации. Возникающие в глобализирующемся обществе новые «социальные рамки памяти», пространственно-временные параметры институционализации опыта совместного существования предполагают и новую «мобильную социологию» (*mobile sociology*), которая более адекватно описывает изменчивость сетевого мира и способна преодолевать дихотомическое противопоставление индивидов, «творящих общество», – обществу, «творящему индивидов» [Urry, 2000, p. 185–203].

Характерно, что признанный теоретик глобализации М. Кастельс, обосновывая свою социальную онтологию, вслед за

К. Леви-Стросом акцентировал, что становление «общества сетевых структур» (*network society*) ведет к доминированию «социальной морфологии над социальным действием». Современные информационные сети постоянно находятся в конфликтных отношениях со сложившимися социальными системами и социальными сетями, порождая структурные трансформации в символических сетях культуры, которые в свою очередь фрагментируют сетевое взаимодействие и ведут к изменению в программах («социальной памяти») сетей. Подобная динамика не может не порождать проблему легитимации социального порядка, так как ослабление формальных институтов и доверия к ним заставляет людей строить свою собственную систему защиты и идентичностей, что делегитимирует сложившиеся системы публичной власти и, соответственно, весь социальный порядок. Вследствие этого не может не измениться характер «восприятия прошлого» и его присутствия в настоящем, а значит – способы его наблюдения. Симптоматично, что задачу культуры М. Каstellс видит в консолидации общих смыслов через кристаллизацию практик в пространственно-временных конфигурациях [см.: Castells, 2000, p. 5–24].

Несмотря на очевидную связь исследований социальной памяти с предметной областью изучения культурных процессов, «культура» и «политика» чаще рассматриваются в качестве внешней среды, а не семантического содержания социальной памяти. Так, при изучении «политики памяти» отсылки к «политической культуре» и «властному ресурсу» не сопровождаются серьезной концептуальной проработкой, а специфика политической составляющей социальной памяти редуцируется к манипулятивным практикам политических элит при использовании символических ресурсов. Несмотря на близость концептуального аппарата «новых», коммуникативных, социологий и терминологии более традиционной социологии культуры или социального конструктивизма (понятийный, методологический инструментарий которых используют для исследования социальной памяти), «вероятностные» социологии могут существенно расширить возможности научной интерпретации природы и структур социальной памяти.

В связи с этим представляется весьма ценной методологическая установка на исследование культурных процессов, обозначенная в работах авторитетного представителя современной «культурсоциологии» (*cultural sociology*) Дж. Александера. По его утверждению, в большинстве моделей традиционной социологии культуры культурные измерения не выступают независимыми

переменными, а являются производными от более «жестких» переменных социальных структур. Однако «сильная программа» (strong program) исследований культурных феноменов, выявляющая многоаспектность их воздействия на формирование социальной жизни, должна опираться на когнитивный анализ символических структур сетей смыслов. Именно этим она должна отличаться от «слабых программ», в рамках которых ценности, нормы, идеологии описываются в качестве производных от институционального строя или культурных форм «радикальной рефлексивности акторов» [Alexander, 2003, p. 11–26; Alexander, 2008, p. 157–168].

Акценты, расставленные Дж. Александером и сторонниками «новых мобильных социологий» по поводу теоретических возможностей современной социологии культуры, представляются весьма актуальными для исследований структур социальной памяти. С этих позиций существующие программы исследований коммуникативной природы исторической и культурной памяти следует признать «слабыми» и редукционистскими. Развитие теории социальной памяти в русле «сильной программы» предполагает смену приоритетов в исследовательских стратегиях: переход от поиска объективных или субъективных оснований культурно-исторического процесса и описания идентичностей к пониманию их коммуникативной, символической природы.

В трактовке специфики методологии «коммуникативных» стратегий исследования социальной памяти автор руководствуется интеллектуальными интенциями, представленными в концептуальных разработках Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, П. Бурдьё, при приоритете понятийного инструментария Н. Лумана (из отечественных авторов – А.Ф. Филиппова) [см.: Луман, 2007; Филиппов, 2008].

«Коммуникация» рассматривается автором как взаимосвязь трех процессов – «информации», «сообщения» и «понимания», результатом которой оказываются «коммуникативные события». «Социальные события» рассматриваются как локализация (смысловое структурирование и символизация) смысла в предметном, пространственном и временном измерении, осуществляемая акторами и наблюдателями. При этом центральным звеном коммуникативного подхода, позволяющего проследить оформление / разрушение социальных идентичностей, является исследование процесса «понимания» – то есть того, как происходит структурирование смысла (конституирование его временных, предметных и социальных «рамок», его «горизонтов»). Наблюдение социальных феноменов в таком методологическом фокусе позволяет интерпре-

тировать эволюцию общества как процесс «конституирования смысла» (Н. Луман). При этом под «конституированием» понимается не «установление», «создание» чего-то, а наличие семантических возможностей, символических структур повышения или снижения уровня коммуникативной сложности.

Для эволюции социальных систем, как полагает Н. Луман, принципиальное значение имеет «баланс» в восприятии участниками социальных интеракций «постоянства и изменений». При отсутствии подобного баланса неизбежны конфликт интерпретаций и редукция социальных коммуникаций, социальной организации общества. В основе подобной «синхронизации» восприятий социальных акторов лежит семантическая процедура типизации повторяющихся событий, «исчисления времени», которое зависит «от более или менее типизированных, повторяющихся событий их системной истории». Поэтому, когда социологическая теория имеет дело с проблемой смысла, темпоральность становится конституирующим измерением ее предмета. «Системная история, совместно переживаемая и вспоминаемая, – важная предпосылка взаимопонимания, и ее невозможно заменить объективно фиксированной мировой историей». Когда история приобретает значимость, она становится и более условной – одновременно памятью и забвением [см.: Луман, 2004, с. 121, 199].

Если исходить из методологической установки на создание «сильной программы» исследования социальной памяти (символического структурирования сетей смысла), то ее можно представить как комплекс специфических коммуникативных структур «синхронизации» социальных ожиданий, которые посредством символических практик легитимации социального порядка обеспечивают процесс социального конституирования и поддержания коллективных идентичностей. Исследование социальной памяти как символического структурирования «социальных ожиданий» в методологическом плане связано с адаптацией понятийного инструментария феноменологии и социальной психологии к предметной области теоретической социологии. В современной социологии культурных коммуникаций подобная методологическая установка существенно переосмыслиется и получает новый теоретический импульс. Наиболее обоснованно, как полагает автор, эта теоретическая посылка присутствует в работах Н. Лумана. Как замечает немецкий социолог, именно от специфики структурных образцов смыслового фокусирования социальных ожиданий зависят в конечном счете особенности социальных коммуникаций.

Структурированные социальные ожидания («смысловые ожидания коммуникации») – это своего рода социальные гены эволюции общества, которые могут принимать форму того или иного слова или вербального выражения со всем множеством его «отнесений». В связи с чем концепт культуры, как семантической продукт Модерна, можно рассматривать как «символический контейнер» социальной идентификации в современном обществе и специфическую социальную память для структурирования динамичной консолидации общества в условиях роста социальной значимости мотивации «права индивидов на самореализацию и социальные инновации». Подобная историческая форма социальной памяти отличается от более ранних эволюционных способов структурирования социального опыта (мифических или теологических конфигураций структур ожиданий). Процессы глобализации актуализируют конфликт структур ожиданий, характерных для культурной памяти, с более традиционными и зарождающимися структурами памяти сетевого общества.

Динамику структур культурной памяти и, прежде всего, ее «темпоральных рамок» можно рассматривать в качестве *мобильной социальной памяти* – соединения идентичностей прошлого с идентичностями настоящего для предвосхищения будущих коммуникаций. Семантические структуры «культурной» памяти, исторической формы социальной памяти («социальные ожидания из настоящего»), являются катализаторами коммуникативного процесса в современном обществе [Луман, 2005, с. 195–209]. При этом структуры «ожиданий» не следует понимать субъективистски и привязывать к конкретному носителю, так как они являются способом «редукции комплексности» социальных коммуникаций и могут проявляться в различных символических формах и на различных уровнях социальных коммуникаций. Как отметил А.Ф. Филиппов, благодаря подобным структурам социальная система может не вырабатывать решения по поводу каждой ситуации отдельно, а обретает возможность совершать ожидаемые действия. Ее эволюция или инволюция зависит от коммуникативных возможностей и уровней «репертуара» подобных структур [см.: Филиппов, 2003, с. 54]. Последние синхронизируют смысл во временном, предметном и социальном горизонте, придавая ему характер типизированных событий. Отнесение многообразия ожиданий социальных акторов к темпорально и пространственно типизированному ряду символически оформленных событий является условием относительно независимого от конкретных ситуаций

использования смысловых содержаний индивидуумами и предпосылкой дальнейших коммуникаций. Смена структур ожиданий – всегда смена символических форм фиксации опыта и социальных идентичностей.

Тем самым трактовка роли социальной памяти в жизни социума в «культуросоциологической» интерпретации существенно усложняется. Значение и эффективность социальной памяти в этом случае проявляются не только в сохранении прошлых идентичностей или институциональной устойчивости. Они предстают, прежде всего, в виде структуры знаний, воплощающих опыт существования в прошлом для их использования в настоящем и будущем. Подобного рода «заведомо известные «предположения» о реальности, которые не нужно специально вводить в коммуникацию и обосновывать в ней» (Н. Луман), обеспечивают устойчивость обобщений при мотивации поведения в настоящем. Постигание нового через реактуализацию «прошлого» и возможного будущего структурирует ожидания в предметном и социальном горизонте настоящего. Соответственно, «структуры ожидания» перестают быть «фактором» устойчивости коммуникативной системы, а выступают фактором ее самовоспроизводства и обновления, *задавая акторам систему координат восприятия окружающего мира*. Функционирование семантических структур ожиданий можно, в частности, представить посредством описания символических объектов социальных идентификаций, в которых презентуются «предположения», «смысловые комплексы» социальной памяти и выявляются их символические схемы и коды. Именно в этой области за последние десятилетия в рамках «исследований памяти» накоплен богатый эмпирический материал. Однако при этом часто остается за рамками или редуцируется проблема специфики морфологии темпоральных измерений и ее влияния на настоящее и будущее.

Подобное понимание смысла процесса «конструирования» рамок социальной памяти позволяет более отчетливо артикулировать ядро структур социальной памяти, и культурной в особенности. За политической риторикой о поиске символов согласия и его исторических истоков или за научными дискуссиями об эффективной и рациональной исторической политике нередко ускользает собственно политическое содержание социальной памяти. Оформление структур ожиданий, особенно в сложном обществе, всегда сопряжено с динамикой властных коммуникаций. И дело не только в практике присвоения властвующими элитами символиче-

ского капитала и его использования в политике символического господства, что обстоятельно проанализировал П. Бурдьё [см.: Бурдьё 2005].

Теоретическую посылку о связи легитимации «латентных образцов» и функционирования политической подсистемы общества обосновал в свое время Т. Парсонс, который отмечал, что в эволюции общества решающую роль играет культурная система, соотнесенность с которой придает значимость институциональному порядку общества. При этом «системы легитимации определяют основания для разрешений и запретов» в институциональном порядке общества, обеспечивают соотнесенность («непосредственную связь») социальной и культурной систем. В процессе легитимации культурные образцы посредством наличия специальной системы символов позволяют обосновать идентичность. Политическая же легитимация, как «авторитетная интерпретация» нормативных предписаний, выполняет особую роль в системе легитимации всего общества [см.: Парсонс, 1993, с. 94–122]. Из этой теоретической установки вытекает возможность обоснования посылки о концепте «легитимность власти» как необходимом семантическом ресурсе процесса коммуникативной эволюции общества и о его тесной смысловой связи с концептами «культура», «политическая культура», «социальная» и «политическая память».

В то же время концептуализация коммуникативной, смысловой взаимосвязи культуры, легитимации и власти в теории Т. Парсонса сохраняет признаки «слабой программы» исследования роли и места символических измерений социокультурной динамики. В его интерпретации общество функционирует на основе культурных ценностей, выступающих центральным звеном действий и социальных институтов. В рамках такого подхода обедняется культурная динамика и не проясняется амбивалентность практик политической легитимации.

Более перспективным для «усиления» программы исследования представляется описание политической власти как символического посредника, легитимирующие схемы которого, основанные на «сравнении силы и насилия», определяют специфику политической памяти и ее эволюционной формы – политической культуры [Луман, 2001, с. 102]. С позицией Н. Лумана коррелируют исследования в рамках неoinституционализма, претендующего на комплексный анализ социальной эволюции. Представители неoinституционального анализа исходят из посылки, что контроль и управление насилием на основе легитимации социального по-



рядка, конструирования убеждений, институтов и организаций могут сделать его более эффективным, однако ни одно общество не может устранить насилия, а способно только ограничить его или обуздать [см.: Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 56–63]. «Включения» или «исключения» людей из различных временных и пространственных рамок социальных коммуникаций всегда связаны с отношениями господства, и чем сложнее подобная динамика, тем очевидней определяющая роль политической компоненты социальной памяти и ее символических структур, обеспечивающих легитимацию, синхронизацию политических ожиданий.

Подобная методологическая установка «возвращает к жизни» эвристическую направленность социологии М. Вебера на изучение легитимации как смыслового измерения политических ожиданий и символическую презентацию политического господства, «погребенных» под грузом интерпретации феномена политической легитимации на основе оппозиции «легитимного согласия» и «нелегитимного принуждения». Процесс политической легитимации с этих методологических позиций можно представить как коммуникативное ядро культурного кодирования публичного принуждения в индивидуализирующемся обществе. При этом легитимация политических ожиданий происходит не благодаря некому «ценностному согласию», искоряющему хаос произвола, а через символизацию процедур «включения-исключения» принуждения, которое номинируется в качестве легитимного или нелегитимного [Луман, 2005, с. 23]. Ведь именно конфигурация пространственной и временной символизации политического господства определяет социальное конструирование политических событий и идентичностей.

Таким образом, конституирование базовых структур социальной памяти в сложнодифференцированном обществе можно представить как символическое оформление политических ожиданий в настоящем на основе политических ожиданий прошлого и их будущих проекций. Подобный процесс всегда сопряжен с политической культурой. Область структурированных горизонтов ожиданий является источником трансформации политических ожиданий в «политические события», стимулируя или блокируя коммуникативную эволюцию социального порядка в настоящем.

Описать «структуры политических ожиданий» – значит выявить символические схемы («скрытые образцы») типизации, структурирования предметных, социальных и временных границ публичной власти (структуры политической памяти), характерные для тех или иных сообществ. При этом политическое доверие и

политическая легитимация как «интернационализация» символически оформленных структур политических ожиданий во властные коммуникации являются ведущим звеном при оформлении структур политической памяти. Политическая память обеспечивает синхронизацию политических ожиданий, прежде всего на основе темпорализации структурной взаимозависимости легитимности и насилия, и символизации указанной взаимозависимости в событийных рядах из настоящего в прошлое и будущее.

В основе базовых событийных рядов (смысловых комплексов) политической памяти находятся события, так или иначе сопряженные с семантикой «виктимизации», ее преодоления или ожидания (войны, революции, репрессии, геноцид), а «символы» власти всегда напоминают о возможном насилии и принуждении. Структуры ожидания политической памяти не сводятся к подобным символическим проекциям, но они являются для нее базовыми.

Коды власти, схемы ее легитимации, как обоснованно полагает Н. Луман, соотносятся с насилием, так как легитимация призвана ограждать от произвольности его использования. Насилие может быть представлено в качестве прошлого или будущего события, наступления которого в настоящем можно избежать, поскольку условия его применения известны. Иное дело, что специфика структурирования и символизации подобных практик легитимации зависит «от степени сложности политического механизма власти и доступности для членов общества» [см.: Луман, 2001, с. 102–151].

Нынешние коммуникативные сбои в политическом процессе на постсоветском пространстве в значительной степени предопределены недостаточной структурированностью политических ожиданий и наличием «провалов в социальной памяти», архаизацией при темпоральной организации событийных рядов политики из «настоящего» в «прошлое» и «будущее». Это неизбежно порождает войну «политик памяти», непрекращающуюся два десятилетия как внутри коммуникативных пространств новых государств, так и между ними. Вместе с тем, перефразируя Мануэля Кастельса, можно надеяться, что «не существует ничего такого, что не может быть изменено», будучи снабжено информацией, поддержано легитимностью и культурой, которая реконструируется из опыта солидарного существования.

## Литература

- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
- Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – 576 с.
- История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Под редакцией Л.П. Репиной. – М.: Кругъ, 2006. – 768 с.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление / Пер., вступ. ст., примеч. А. Островского. – М.: ТЕРРА–Книжный клуб; Республика, 1999. – 392 с.
- Луман Н. Власть. – М.: Практикс, 2001. – 256 с.
- Луман Н. Мировое время и история систем. Об отношениях между временными горизонтами и социальными структурами общественных систем // ЛОГОС. – М., 2004. – № 5 (44). – С. 131–168.
- Луман Н. Эволюция. – М.: Издательство «Логос», 2005. – 256 с.
- Луман Н. Введение в системную теорию. – М.: Издательство «Логос» 2007. – 360 с.
- Мегилл А. Историческая эпистемология. – М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2007. – 480 с.
- Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999. – С. 17–50.
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. – М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – 480 с.
- Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS. – М., 1993. – Т. 1, Вып. 2. – С. 94–122.
- Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с.
- Репина Л.П. Концепции социальной памяти в современной историографии // Феномен прошлого / Отв. редакторы И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. – С. 122–169.
- Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. – СПб.: Наука, 2006. – Т. 2. – 751 с.
- Энафф М. Клод Леви-Строс и структурная антропология / Пер. с фр. О.В. Кустовой; под науч. ред. А.М. Положенцева. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2010. – 560 с.
- Филиппов А.Ф. Теория систем: аутопоиесис продолжается // Социологическое обозрение. М., 2003. – Том 3. – № 1. – С. 50–58.
- Филиппов А.Ф. Социология пространства. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – 285 с.
- Alexander J.C. The meanings of social life: a cultural sociology. – N.Y.: Oxford univ. press, 2003. – 312 p.
- Alexander J.C. Clifford Geertz and the strong program: The human sciences and cultural sociology // Cultural Sociology. – Los Angeles, L., 2008. – Vol. 2(2). – P. 157–168.
- Castells M. Materials for an exploratory theory of network society // British Journal of Sociology. – L., 2000. – Vol. 51, N 1 (January/March). – P. 5–24.
- Urry J. Mobile Sociology // British Journal of Sociology. – L. 2000. – Vol. 51, N 1. (January/March.). – P. 185–203.

**А.И. Миллер**

## **ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

В сборнике статей «Изобретение традиции» под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рэнджера была поставлена проблема того, как реальное или воображаемое прошлое используется для конструирования новых политических символов и ритуалов [см.: The invention of tradition, 1983]. Методологические идеи этого сборника получили наиболее плодотворное развитие в исследованиях монархических ритуалов второй половины XIX и начала XX в. [см., например: Wortman, 1995; Unowsky, 200; Cannadine, 2001]. Современный же опыт использования в политике привязанных к прошлому символов пока изучен слабо. В этой статье, во многом опираясь на идеи, сформулированные в «Изобретении традиции», мы проанализируем несколько примеров использования материальных символов в политике памяти в России, Украине и Польше в первом десятилетии XXI в., когда «исторические войны» или историческая политика стали играть в этом регионе важную роль.

### **Георгиевская ленточка**

Георгиевская ленточка, придуманная в РИА «Новости» в 2005 г., – один из примеров политического символа, изобретенного в контексте политики памяти. 60-летний юбилей Победы был нагружен целым рядом острых политических проблем. В 2000-е годы в самой России власти с новой силой стали акцентировать миф Победы, который оставался практически единственным историческим мифом, вызывавшим если не общие, то по крайней мере сопрягаемые эмоции у большинства россиян. Подтверждение роли

СССР (и России как его наследницы) в победе над нацизмом имело большое значение и для международной политики. Приглашения на празднование юбилея президент Путин отправил лидерам более чем 50 стран.

В то же время, миф Победы оказался под ударом исторической политики в целом ряде стран – соседей России. Так, в странах Прибалтики май 1945 г. трактуется как начало новой советской оккупации. Неудивительно, что вопрос о поездке лидеров Литвы, Латвии и Эстонии в Москву на празднование Дня Победы был предметом острой политической полемики внутри этих стран и скандалов в отношениях Вильнюса, Таллинна и Риги с Москвой. В конечном счете, лишь президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга приехала в Москву. Поездка на празднование Дня Победы президента Польши Александра Квасьневского также сопровождалась скандалами в самой Польше и в Москве. Под благовидным предлогом отказался от поездки в Москву только что пришедший к власти в результате «оранжевой революции» Виктор Ющенко.

В этих обстоятельствах изобретение георгиевской ленточки было весьма удачным ходом. Георгиевская лента в дореволюционной России, восстановленная в правах как гвардейская лента во время Великой Отечественной войны, была принадлежностью наград за *солдатскую* доблесть – Георгиевского креста и ордена Славы. Георгиевская ленточка стала символом, который уходил корнями в дореволюционную Россию и в отличие от других символов Победы (например, Красного знамени) не был жестко привязан к коммунистическому прошлому. Георгиевская ленточка «освежала» символику Дня Победы, фокусировала ее на воинской доблести, т.е. самой бесспорной части военного мифа, и была приемлема для более широкого круга людей, чем традиционные символы Победы, связанные с советским временем<sup>1</sup>.

Изобретая этот символ, журналисты РИА «Новости» удачно использовали уже существовавший опыт. Ленты различных цветов широко применяются как удобный и необременительный способ демонстрации поддержки различным общественным и политическим кампаниям. Другой источник заимствования – цветки мака, которые с 1920 г. прикрепляют к одежде британцы в память о погибших в Первой, а теперь и во Второй мировой войне.

---

<sup>1</sup> Не случайно наиболее активная критика «георгиевской ленточки» поначалу исходила именно из коммунистических кругов [см.: Валиков, 2009].

Маковый цветок как символ укоренился в Британии весьма прочно и практически не ставится под вопрос какими-либо политическими силами. В этой связи показателен следующий недавний эпизод. Осенью 2011 г. между английской федерацией футбола и ФИФА возник конфликт. Английская сборная проводила очередной товарищеский матч в ноябре, т.е. именно в то время, когда англичане отмечают окончание Первой мировой войны, прикрепляя к одежде цветок мака. Футболисты хотели выйти на матч, прикрепив цветки мака на футболки. Однако ФИФА запретила это делать, сославшись на то, что правила запрещают размещение на футболках игроков любых политических символов. После весьма эмоциональных переговоров выход был найден – англичане вышли на игру с нарукавными повязками, к которым и прикрепили маки. Для нас в этой истории особый интерес представляет вмешательство в конфликт британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, который утверждал, что цветы мака – это символ единения нации в памяти о погибших и заботе о ветеранах, который не является политическим. Возможно, Кэмерон искренне полагал, что «политическим» является лишь то, что становится предметом межпартийной борьбы. Маковый цветок, действительно, предметом борьбы не является – в центральной церемонии поминовения павших солдат, происходящей каждый год у Кенотафа, памятника павшим в Лондоне, представители всех британских партий в строгой очередности возлагают одинаковые венки сразу за венками членов королевской фамилии. Это, конечно, не отменяет политической природы символа – скорее, это свидетельствует о его успешности, ведь открыто оспаривать его в качестве знака национального единения пока не решаются даже сепаратистские партии Шотландии и Уэльса<sup>1</sup>.

Пожалуй, ключевое отличие георгиевской ленточки от британского макового цветка состоит в том, что британцы цветки мака покупают<sup>2</sup>, с тем чтобы оказать финансовую поддержку домам ветеранов, а в России ленточка раздается бесплатно, что специально подчеркнуто в ее кодексе [см.: Георгиевская ленточка].

---

<sup>1</sup> Конечно, история этого символа, его утверждения в межвоенный период и отношения к нему различных политических сил сегодня требует специального изучения.

<sup>2</sup> В 2007 г. в рамках акции по распространению цветков мака, которые можно купить за 1 фунт, было собрано около 25 млн. фунтов.

Кодекс георгиевской ленточки, составленный ее изобретателями, лукаво заявляет, что она не должна использоваться как политический символ. Однако политическая природа символа георгиевской ленточки гораздо более очевидна, чем маковых цветков. Уже в 2006 г. из общественной акции раздача ленточки превратилась в политическую акцию центральных и региональных властей. В бюджете Петербурга, например, на нее, начиная с 2008 г., выделяется ежегодно более 8 млн. руб. С 2012 г. МИД России включился в кампанию распространения ленточки уже на уровне центрального аппарата, а не отдельных иностранных представительств.

Вскоре георгиевская ленточка стала использоваться как символ поддержки «русского мира» в соседних с Россией странах. Здесь, в условиях обостренной негативной реакции на коммунистические символы, «некоммунистический» характер ленточки оказался как нельзя кстати. Пророссийски настроенные общественные движения на Украине уже несколько лет состязаются в изготовлении самой длинной или самой большой по площади георгиевской ленточки. Обладателями рекордов в разные годы были Симферополь, где в 2009 г. развернули ленточку длиной 50 м, затем Севастополь, уже с ленточкой 300-метровой длины. В мае 2010 г. лидерство перехватил Кишинёв, где была развернута георгиевская ленточка длиной в 360 м.

Вполне закономерно, что антироссийски настроенные активисты «Свободы» во Львове срывали ленточку у участников церемонии возложения венков к памятникам погибших советских солдат, которая переросла в 2011 г. в физическую конфронтацию. В Латвии латышские националисты составляли перечень номеров автомобилей, на которые хозяева прикрепили ленточку, «для передачи данных о пятой колонне в компетентные органы»; в Эстонии, по некоторым сведениям, действовала негласная инструкция для СМИ, запрещающая упоминать акцию<sup>1</sup>.

Таким образом, как и всякий удачно сконструированный символ, «георгиевская ленточка» в соседних с Россией государствах несет целый набор смыслов. Это и «некоммунистическая» реакция на «исторический ревизионизм», бросающий вызов мифу Великой Отечественной войны, и способ продемонстрировать

---

<sup>1</sup> Показательно, что именно в этих странах происходит частичная реабилитация символов, связанных с национальными частями, сражавшимися на стороне Рейха.

солидарность с Россией, и политическая идентификация в конкретном политическом ландшафте.

«Ахиллесова пята» данного символа заключается в его очевидной привязке к российскому политическому режиму. В условиях падения популярности режима неизбежно пострадает и привлекательность ленточки как политического символа. Если в год создания символа его критиковали почти исключительно коммунисты, то теперь больше критики раздается из лагеря либеральной оппозиции, которая указывает на «государствление» символа. Появился и сайт «защитников» ленточки, но не от критики, а от профанации акции самими организаторами, которые, по мнению «защитников», превращают акцию в кич [Сайт в защиту георгиевской ленты]. Семь лет существования георгиевской ленточки – это, во-первых, история удачного замысла политического символа, притягательность которого во многом обусловлена отсылкой к прежним историческим символам и важным «местам памяти»; во-вторых, история его постепенного утверждения в России как некоммунистического символа Победы, а в бывших советских республиках еще и как символа русской идентичности и/или симпатии к России, но также история того, как тесная привязка к текущему популярности политическому режиму становится фактором, подрывающим притягательность символа.

### **Голодомор и «Свеча памяти»**

Свеча как символ памяти имеет богатейшую традицию в различных странах и тесно связана с христианской символикой. Указом президента Украины Леонида Кучмы от 26 ноября 1998 г. четвертая суббота ноября была провозглашена Днем памяти жертв Голодомора. В 2003 г. в этот день впервые была проведена акция «Зажги свечу». Она задумывалась как общенациональная акция поминовения тех, кто погиб в результате массового голода 1932–1933 гг. Участники акции приносили свечи и лампы к памятникам жертвам голода или зажигали свечи в окнах своих домов.

Вопрос об интерпретации голода 1932–1933 гг. был и остается весьма чувствительной политической темой на Украине. Выкованное в среде украинской эмиграции понятие «Голодомор» представляло голод как геноцид украинского народа. Понятие постепенно было усвоено на Украине, однако тема геноцида не акцентировалась властями до 2005 г., когда президент Ющенко сделал ее одним из ключевых вопросов своей исторической поли-



тики. Он стремился добиться признания Голодомора актом геноцида на международном уровне. Внутри страны Ющенко старался законодательно закрепить эту интерпретацию как единственно возможную. В 2006 г. украинский парламент силами президентских фракций принял закон о Голодоморе, который квалифицировал голод 1932–1933 гг. как геноцид и объявлял публичное отрицание этого тезиса аморальным и противоправным. Впоследствии Ющенко и депутаты его фракции неоднократно вносили в парламент законопроекты, предусматривавшие уголовную ответственность за отрицание Голодомора как акта геноцида, вплоть до трехлетнего срока заключения. На Украине была проведена интенсивная пропагандистская кампания, в авральном порядке готовились книги памяти с именами жертв. Ющенко, а за ним и другие государственные деятели пытались утвердить необоснованный тезис о 7–10 млн. жертв Голодомора, что делало бы трагедию более масштабной по численности жертв, чем Холокост.

Пик мероприятий, связанных с Голодомором, пришелся на 75-летнюю годовщину голода в 2008 г. 22 ноября 2008 г. состоялось торжественное открытие сооруженного рядом с Киево-Печерской лаврой мемориального комплекса, центральным элементом которого стала «Свеча памяти», 32-метровая бетонная часовня, выполненная в форме белой свечи. Открытие комплекса было приурочено к проведению в Киеве международного форума по увековечиванию памяти жертв геноцида украинского народа 1932–1933 гг. «Украина помнит – мир признает!». Одним из первых экспонатов мемориала стала гигантская «Негасимая свеча». Изготовленная в виде снопа колосьев из пчелиного воска, собранного в разных частях Украины, «Негасимая свеча» высотой около полутора метров и весом в 200 кг. стала важным элементом пропагандистских усилий, как в самой Украине, так и за рубежом. Она путешествовала по миру в рамках акции «Украина помнит – мир признает!», направленной на признание Голодомора как геноцида правительствами и парламентами разных стран<sup>1</sup>. Затем гигантскую свечу провезли по всем областям Украины, причем президентская администрация инструктировала местные власти о том, как должна проходить церемония встречи «Негасимой свечи».

---

<sup>1</sup> Свеча «посетила» 33 государства, что соответствовало 1933 году, когда умерло большинство жертв голода.

В обращении Виктора Ющенко к мировому украинству и международному сообществу по случаю 75-й годовщины Голодомора 1932–1933 гг. в Украине свеча выступает как центральный символ. В нем, в частности, говорилось: «Обращаюсь к вам в связи с 75-й годовщиной наиболее трагического события в истории украинского народа – Голодомора 1932–1933 годов. ...Правда о преступлении геноцида, сознательно совершенном сталинским режимом на благодатной украинской земле, десятилетиями пыталась пробить себе дорогу. ...Только освободившись от пут коммунистического тоталитаризма, независимая Украина смогла в полный голос заявить о покушении на жизнь целого народа, совершенном в далекие 30-е годы прошлого века. ...Глубокое уважение и признательность за гуманизм и солидарность с миллионами невинных жертв геноцида. ...Мы не говорим о том, что мир мог бы сделать 75 лет назад, если бы знал всю правду. Мы говорим о том, что он должен сделать сегодня в знак уважения к погибшим и к тем, кому удалось выжить в аду Голодомора. 22 ноября в Киеве миллионы свечей, зажженных украинцами в память о замученных голодом соотечественниках, сольются с пламенем “Негасимой свечи”, которая прошла через 33 государства мира и всю Украину, вобрав в себя огонь сердец искренних людей разных стран и народов» [Ющенко призвал... 2008].

Таким образом, в рамках исторической политики в период президентства Виктора Ющенко свеча была превращена в центральный символ Голодомора как специфической культурной и политической реальности<sup>1</sup>, т.е. стала «символом символа». В результате зажжение свечи в День памяти Голодомора оказалось нагружено целым набором дополнительных политических смыслов, превратилось не просто в символ памяти о погибших во время голода, но в знак поддержки интерпретации этих событий как Голодомора-геноцида. Подобно георгиевской ленточке, усиленная эксплуатация «Свечи памяти» в государственной исторической политике наносит ущерб этической привлекательности символа.

---

<sup>1</sup> Характеристика Голодомора как специфической формы культурной реальности, в которой понятие «Голодомор» становится символом и оказывается неразрывно связано с понятием «геноцид», принадлежит Георгию Касьянову [см.: Касьянов, 2010].

## «Смоленский крест»

Богатый материал для анализа дает многовековая история использования христианского креста в качестве политического символа в Польше. В посткоммунистической Польше первый конфликт, связанный с политическим использованием креста, произошел осенью 1997 г. Два депутата недавно победившей на выборах, но не имевшей большинства в сейме «Избирательной Акции “Солидарность”», в ночь на 20 октября 1997 г. повесили над дверью зала заседаний Сейма крест. Это был акт самоуправства, поскольку решения Сейма светского государства по этому вопросу не было. Более того, депутаты «Солидарности» знали, что им не удастся сформировать большинство в поддержку этого акта. Однако их расчет оказался верным – противники присутствия религиозного символа в Сейме не решились инициировать обсуждение этого вопроса, и крест остался висеть. Только после выборов 2011 г. Януш Паликот, лидер «Движения Паликота», которое сенсационно заняло третье место на выборах с откровенно антиклерикальной программой, пообещал инициировать обсуждение уместности креста в сейме, и начать процесс по этому поводу в Конституционном суде. Реакция церковной иерархии не заставила себя ждать. Во время торжественных мероприятий, посвященных 33-й годовщине избрания Папой Римским поляка Кароля Войтылы, было объявлено, что католическая церковь организует путешествие креста Папы Иоанна Павла II по городам Польши в качестве ответа на пренебрежительное, по мнению церкви, отношение некоторых политиков к ценностям и символам христианства.

На этом фоне в 2010–2011 гг. развернулись события, в которых центральную символическую роль играл «Смоленский крест». Сразу после крушения самолета президента Леха Качинского под Смоленском 10 апреля 2010 г. в рамках траурных мероприятий у Президентского дворца в Варшаве был установлен большой деревянный крест, к которому скорбящие возлагали цветы и ставили свечи. Его принесли харцеры – польская молодежная организация скаутского типа. Когда траур закончился, полиция попыталась перенести крест с площади перед Президентским дворцом в близлежащий костел Святой Анны, однако натолкнулась на ожесточенное сопротивление сторонников братьев Качинских и партии «Право и справедливость». Они организовали движение «защитников креста», которое настаивало на сохранении креста перед Президентским дворцом и отказалось отдать его даже харцерам,

принесшим его на площадь. Из религиозного символа скорби «Смоленский крест» превратился в политический символ.

Дело в том, что катастрофа президентского самолета произошла незадолго до очередных выборов президента Польши. Лех Качинский должен был в них участвовать, как и Бронислав Коморовский, председатель Сейма, который после гибели Качинского по Конституции стал исполнять обязанности президента и переехал в Президентский дворец. Его главным соперником становился теперь брат-близнец Леха Качинского Ярослав. Ярослав Качинский и партия «Право и справедливость» (ПиС) постарались извлечь максимальный политический капитал из сложившейся ситуации. Отчасти им помогала в этом иерархия польской католической церкви, потому что ПиС выступает главным защитником «религиозных основ польского общества»<sup>1</sup>. Благодаря позиции церкви Лех Качинский был похоронен на Вавеле, среди польских королей. Сторонники Качинских сознательно конструировали культ погибшего президента как инструмент политической борьбы.

Уже после избрания Коморовского новым президентом Польши, летом 2010 г. администрация президента предприняла активные усилия для переноса «Смоленского креста» в костел. Объясняя свою позицию, президент Коморовский и его сторонники говорили о том, что пространство у Президентского дворца должно быть нейтральным, свободным, в том числе и от религиозных символов. Вместо креста администрация предлагала установить памятную таблицу на стене Президентского дворца [Kondzińska, 2010].

Однако в 2011 г. в Польше предстояли парламентские выборы. В этом контексте защита «Смоленского креста» как символа присутствия «настоящего президента» во дворце, занятом теперь Коморовским, становилась важной задачей. «Защитники креста» отвергли идею памятной таблицы и требовали полноценного памятника перед дворцом. 10 сентября 2010 г. Ярослав Качинский участвовал в митинге у Президентского дворца и обещал подать в суд на власти города, установившие ограждения и не пускающие граждан к кресту. «Защитников креста» поддерживала значитель-

---

<sup>1</sup> Так, в дебатах о кресте в зале заседаний Сейма Ярослав Качинский говорил: «В сессионных залах всех парламентов независимой Польши, и для нас это очень важно, был крест; распятие – это наша ценность и традиция, те, кто хочет ее уничтожить, на самом деле хотят уничтожить наше общество, наш народ. Нужно этому решительно противостоять» [Защитники креста... 2010].

ная часть епископата, в том числе архиепископы Гданьска и Пшемысля. «Смоленский крест» хорошо вписывался и во внешнеполитическую риторику партии Качинского. Он подчеркивал катынскую мартирологию антироссийски настроенных братьев и их скептицизм в отношении постхристианского ЕС.

В то же время происходила мобилизация противников сохранения креста на площади. Городская молодежь, настроенная против Качинских и епископата, организовавшись посредством сети Facebook, устроила в ночь с 9 на 10 августа 2011 г. на улице Краковское Предместье многотысячный митинг с требованиями перенести крест. Участники митинга издевались над «защитниками креста» и размахивала лозунгами «Надо убрать дворец – он не дает рассмотреть крест!». Вскоре многие из участников этого митинга проголосовали за Я. Паликота, который обещал убрать крест из Сейма.

Только после того, как «Право и справедливость» проиграла и парламентские выборы, активность «защитников креста» спала. В ноябре 2011 г., когда они перестали дежурить ночью, крест был перенесен в часовню Президентского дворца, а затем в костел. «Смоленский крест» исполнил свою роль политического символа. Впрочем, не исключено, что при определенных обстоятельствах его еще достанут из костела и снова понесут впереди демонстрации.

## **Заключение**

Разумеется, отнюдь не только материальные символы – ленточки, свечи, кресты и т.д. – используются в исторической политике. Символическое значение могут приобретать определенные интерпретации исторических событий и посвященные им музеи. Таковы, например, музеи оккупации или музеи террора в большинстве восточноевропейских стран, Музей Варшавского восстания, созданный под патронатом партии Качинских, музеи Триано-на, множасьщие в современной Венгрии под патронатом правых партий.

Что же касается рассмотренных нами недавно изобретенных символов, то можно выделить некоторые общие черты. Во-первых, их успех во многом связан с использованием потенциала исторической традиции. Это верно в случае с георгиевской ленточкой, не говоря уже о Свече и Кресте. Важный элемент эмоционального воздействия этих символов – апелляция к мартирологии. Сторонники символов неизменно отрицают их политический характер.

При этом, чем яснее прослеживается связь символа с определенной политической силой, тем более ограниченным становится его воздействие на тех, кто сторонником этой силы не является. Все рассмотренные случаи, с более (в случае с Крестом) или менее (в случае с ленточкой и «Свечой») интенсивной динамикой, демонстрируют интенсификацию использования символа определенной политической силой, а следовательно, и подрыв его общенациональной легитимности.

## Литература

- Валиков Е. Георгиевская ленточка: я не помню, я все забыл! – 2009. – 24 апреля. – Режим доступа: <http://polit-gramota.ru/articles/georgievskaya-lentochka-ya-ne-pomnyu-ya-vsyo-zabyil> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Георгиевская ленточка. – Режим доступа: <http://gl.9may.ru/> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Защитники креста в Варшаве возмущены появлением мемориальной доски. – 2010. – 12 августа. – Режим доступа: <http://www.unian.net/news/390993-zaschitniki-kresta-v-varshave-vozmuscheni-poyavleniem-memorialnoy-doski.html> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Касьянов Г. В. Danse macabre. Голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х). – Київ: Наш час, 2010. – 271 с.
- Сайт в защиту Георгиевской ленты. – Режим доступа: <http://www.za-lentu.ru/> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Ющенко призвал весь мир зажечь свечи в память о жертвах голодомора. – 2008. – 17 ноября. – Режим доступа: <http://korrespondent.net/ukraine/politics/649727-yushchenko-prizyval-ves-mir-zazhech-svechi-v-pamyat-o-zhertvah-golodomora> (Дата посещения 15.05.2012.)
- Cannadine D. Ornamentalism: how the British saw their empire. – London: Penguin Books, 2001. – 263 p.
- Kondzińska A. Krzyż przed Pałacem. Ziobro: Zostawmy go. Nitras: Przenieśmy // Gazeta wyborcza – Polska, 2010. – 7 lipca. – Mode of access: [http://wyborcza.pl/1,76842,8128568,Krzyz\\_przed\\_Palacem\\_Ziobro\\_Zostawmy\\_go\\_Nitras\\_.html#ixzz1iibfBGzW](http://wyborcza.pl/1,76842,8128568,Krzyz_przed_Palacem_Ziobro_Zostawmy_go_Nitras_.html#ixzz1iibfBGzW) (Дата посещения: 15.05.2012.)
- The invention of tradition / Ed. by Hobsbawm E. and Ranger T. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983. – 320 p.
- Unowsky D. The pomp and politics of patriotism: imperial celebrations in Habsburg Austria, 1848–1916. – West Lafayette, Ind.: Purdue univ. press, 2005. – 270 p.
- Wortman R. Scenarios of power: myth and ceremony in Russian monarchy. – Princeton, N.J.: Princeton univ. press, 1995. – Vol. 2. – 432 p.

**К.В. Киселёв**

## **ДИСКУРС ПРОШЛОГО В ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ**

Так или иначе, но и в политике постоянно воспроизводятся дискурсы различных времен: дискурс *будущего* и связанные с ним дискурсы стратегичности, идеала и прогресса, дискурс *настоящего* и связанный с ним дискурс нормы, а также дискурс *прошлого*. Причем, если мировая текущая политика постоянно балансирует на грани всех трех времен, иногда отдавая предпочтение тому или иному временному дискурсу, то практически в каждой электоральной ситуации, пока еще регулярно случающейся в России, однозначно начинает доминировать дискурс прошлого. Именно так обстояло дело в большинстве наблюдаемых автором электоральных кампаний периода зимы 2007 – весны 2012 г.

Очевидно, что и понятие и понимание прошлого едва ли являются конвенциональными. Особенно в социальных науках и реальной политике, ибо нормативное прошлое, точно так же, как нормативная современность и нормативное будущее, существовать в этих сферах не могут «по определению». Прошрое и будущее не могут быть едиными, хотя бы потому, что отсутствуют единые критерии современности. В зависимости от понимания современности моделируются и дискурс прошлого, и дискурс будущего. Дискурс прошлого, воспроизводимый в современности в электоральной риторике российских элит в самых различных формах и различными способами, становится более понятным, если выделить в нем две принципиально важные для понимания и взаимодополняющие друг друга черты. Во-первых, прошлое всегда есть бывшее и утраченное, т.е. то, что было, и то, что «потеря-

но», то, что осталось в прошлом. Во-вторых, утраченное прошлое подается и воспринимается как позитивное. Естественно, что позитивные оценки не являются исключительными. Прошлое может оцениваться и негативно. Однако в подавляющем большинстве электоральных кампаний прошлое оценивается именно как утраченное позитивное.

Доминирующие в формировании электоральной повестки элиты, связанные с властью и партией власти «Единая Россия», использовали *риторику «возрождения сильного государства»*. Утраченными в этом случае оказались:

- сильное государство. При этом предполагалось, что сильное государство есть не только милитаризованное государство, но и государство с «сильной экономикой». Причем, сильная экономика часто сводилась к экономике государственной;

- мощная, могучая, современная (!) и т.п. армия, т.е. государство милитаризованное;

- социальные блага, т.е. государство патерналистское, заботливое и / или социальное;

- государство автаркичное, т.е. которое является самодостаточным, могущим само себя обеспечить и, как крайний вариант, находящееся в кольце врагов;

- «особость», специфика страны, в том числе особая российская духовность. Наиболее распространенный вариант риторики: Россия – страна особая, которая постепенно под влиянием «недрузей» утрачивает свою идентичность;

- порядок, обеспечиваемый государством. При этом порядок часто трактовался, как возможность наказания виновных в результате жалобы потерпевшего;

- государство долга, где гражданин должен государству, а государство должно гражданину.

Рассуждения в логике возврата к прошлому не всегда сопряжены с апелляцией к конкретным историческим временам. Главное, что все это было утрачено. Но зато приверженцы риторики *«возрождения сильного государства»* часто называют виновника понесенных утрат – в этой роли выступают либералы 90-х годов.

«Правые» партии также ностальгировали по «утраченному»: по выборам губернаторов, по правам человека, по свободе слова и т.д. Наконец, «утраченное» коммунистами и иными левыми было совсем понятным: СССР, дружба народов, социальные льготы, уверенность в завтрашнем дне, стабильная зарплата и т.п.



Логика возврата к прошлому, возрождения прошлого дополнялась *риторикой возмездия, наказания, восстановления справедливости*, которая по своей сути есть не что иное, как усиление дискурса прошлого. В этих логиках работали ЛДПР и «Справедливая Россия». В рассматриваемый период фактически ни одна партия, ни на выборах в Государственную Думу (2007, 2011), ни на выборах в региональные legislatures – и ни один кандидат на президентских выборах (2008, 2012) не предложили проекта будущего, воспринимаемого как перспективный. Некоторое исключение представляет кампания Д. Медведева в 2008 г., но и в ней дискурсивно доминировала логика прошлого. Именно поэтому позитивно в период всех избирательных кампаний воспринимались любые, самые абстрактные попытки риторического конструирования различных «планов», «курсов», «модернизаций» и т.п.

Дискурс прошлого проявлял себя не только содержательно, но и в формальных отношениях: в использовании символики прошлого, в прошловековых риторических оборотах, в используемых рекламных техниках.

В частности, одним из очевидных проявлений дискурса прошлого является качество рекламного продукта. Если коммерческая реклама «гламурна», часто остроумна, выглядит дорого, рассчитана на вполне «видимые» потребительские группы и просто качественна, то в политической рекламе используются банальные приемы прямого навязывания «политического товара». Часто политическая реклама выглядит откровенно глупо, ибо пользуется не только предельно примитивными технологическими приемами, но и использует максимально примитивную политическую лексику. «Дешевые» приемы наталкивают на мысль о низком качестве продаваемого продукта. Другими словами, старые технологии убивают гламур, старые слова мертвяще действуют на дискурс. Ни гламура, ни дискурса.

Оправданием обращенности политической рекламы в прошлое, как правило, служит мнение о том, что наиболее активными избирателями являются именно пенсионеры, воспроизводящие патерналистскую, этатистскую и, по большому счету, советскую ментальность. Эта аргументация имеет как минимум два принципиальных порока. Первый связан с пониманием пенсионеров как единой социальной группы; хотя часто пенсионеры формально имеют один статус, однако фактически не только относятся к принципиально разным социальным группам, но и к разным реальностям. Второй порок вскрыт многочисленными данными об

активном голосовании лиц средних возрастов и молодежи, чья электоральная активность не намного отстает от активности пенсионеров. Таким образом, дело, скорее всего, в том, что определенные группы нынешних пенсионеров пока еще более склонны к корпоративному голосованию, чем любые значимые группы избирателей иных возрастов. Но ситуация меняется неуклонно. Итак, аргументы о стратегической эффективности дискурса прошлого, транслируемого политической рекламой, на поверку оказываются ложными: тактический результат подменяет стратегичность и дискурсы будущего. Кстати заметим, что далеко не случайно раздражение «политического потребителя» вызывает уже не коммерческая реклама, а именно политическая. Во многом из-за «просроченности» ее срока годности. Проще говоря, человеку, воспитанному на «Матрице» и «Аватаре», едва ли будут интересны банальные призывы из серии «Выбери меня!» или «Голосуй по совести!».

Аналогична ситуация с информационными поводами, которые используются для демонстрации успешности той или иной политической линии. Приведем лишь один образец «рапорта» о достижениях, которыми стоит гордиться. По сообщениям одного из информантов, в поселке Кенчурка, что в Полевском районе Свердловской области, когда-то были срезаны электропровода. Семь лет в поселке не было света. Сейчас он появился [Бухарина, 2007]. Что получается? Какова тональность оценки факта? Энергетики проявили мужество и героизм, одолели неодолимые трудности, преодолели непреодолимые препятствия! Вся страна должна восхищаться мужеством отчаянных парней! Вывод, который напрашивается сам собой: лет через 40 в поселке, возможно, появится Интернет; естественно, что ценой героических усилий отечественных провайдеров, конечно, если к этому времени поселок будет еще существовать или вместо Интернета не изобретут что-либо более современное. Таким образом, обычная работа, повседневная деятельность перестает быть нормой, героизируется, идеализируется, становится чем-то запредельным, превращается в поле последней и решающей битвы. Героизация повседневности в политических логиках ведет к закономерному перемещению в массовом сознании этой повседневной нормы в будущее.

Нормальная жизнь, а точнее, жизнь при электрическом свете, в поселке семь лет являлась мечтой. Но ведь не только о поселке речь. До сих пор и в Полевском, и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, и в Москве нормальная жизнь в принципе воспринимается

как мечта. Например, чистые дороги не норма, а мечта. Отсутствие пробок в крупных городах – также мечта. Чистая водопроводная вода – волшебная сказка. Отсутствие очередей в сберкассах, ОВИРе и Регистрационной палате – «1000 и 1 ночь». Соблюдение закона чиновниками – это вообще из разряда чудес! Таким образом, символические логики власти, фиксируемые во властной риторике, предполагают один вывод: живи «как придется», мечтая о недостижимой банальной нормальности.

В этой же логике прошлого как нормы, обращенной в будущее, строится риторика авторов и лидеров нижнетагильского движения «В защиту человека труда» в период президентской кампании 2012 г. Вся фразеология, символика проекта откровенно из XIX – первой половины XX в. Вот характерные примеры [Якушев, Холманских, Ленда, 2011]:

- настоящая жизнь – жизнь простого человека;
- простой человек – человек с завода, т.е. рабочий, заводчанин, мужик (И. Холманских, полпред Президента РФ: в Уральском федеральном округе: «Путин – хороший мужик», «Мы с мужиками...»);
- простым мужикам противостоят «продвинутые» бездельники, митингующие;
- рабочие хотят работать, а «продвинутые» борются за свои права;
- «продвинутые» не могут понять «заводчанина»;
- «заводчане» хотят стабильности, а «продвинутые» развалить Россию, и т.д.

В итоге, налицо логика индустриального века, стагнации, пролонгации индустриальной нормы в будущее, энтузиазма, долга, наказания, патернализма, критики «продвинутости» (фактически, образованности), и т.п.

Таким образом, дискурс прошлого, сделав прошлое нормой, превращает настоящее в идеал, а идеал, т.е. сверхнормативное будущее, в недостижимую утопию. Такие символические перемещения во времени сказываются и на особенностях языка. Более того, закрепляются в нем, рождая новые символические логики. Например, В. Новиков вполне резонно замечает, что «в Западной Европе слова “норма“, “нормально” значат нечто обычное, стандартное, среднее», тогда как у нас «“норма” – это либо заведомо недостижимая (и притом нередко бессмысленная) цель типа “Трезвость – норма жизни”, либо завидная редкость, удача. Недаром в молодежном жаргоне словечко “нормальный” означало в 60-е годы “отличный, превосходный”. Таким образом, нормаль-

ными в России считались привилегированные, т.е. те, кто имел элементарный, средний комфорт – нормальную трехкомнатную квартиру, нормальную колбасу и т.д. Соответственно, «жить же «как все», «на общих основаниях» – это для уважающей себя личности всегда было не «нормой», а аномалией, деградацией, поражением» [Новиков, 2001, с. 27–28]. Аналогичная ситуация в политике, где смешение времен и, в частности, замещение идеала нормой приводит, например, к возможности алогичной аргументации с помощью апелляций к отстоящим во времени событиям, никак не связанным с современной ситуацией. Устойчивый оборот «во всем виноват Чубайс» легко «объясняет» все проблемы сегодняшнего дня. А отсылка к «лихим 90-м» и либералам-реформаторам позволяет «исчезнуть» из памяти целому последующему десятилетию. Кстати, заметим, что аналогичные символические подмены характерны не только для временного дискурса в политике, но и для пространственно-географического.

Наконец, дискурс прошлого воспроизводится не только сегодня и сейчас. В силу необходимости решения тактических электоральных задач, он подобно вирусу переносится в будущее, внедряя в него логики настоящего и прошлого. Вывод очевиден: сегодня российская политическая реклама, политическая риторика в период выборов активно воспроизводят старые практики, которые укореняются и в межэлекторальный период, дискурсивно инфицируют будущее. Кроме того, обоснованной выглядит гипотеза о том, что основные дискурсы российской политической системы в ее нынешней конфигурации объективно являются сдерживающим фактором для модернизации и экономики, и массового и элитного сознания.

В условиях символической недостижимости нормальной жизни стратегическое развитие страны или отдельной территории, ориентация на сверхнормальные, действительно амбициозные цели и задачи есть единственный способ сломать стагнационные тенденции, преодолеть силу привычки жить в «донормальном» состоянии, отказаться от дискурса прошлого в пользу дискурсов стратегии и будущего.

В заключение приведу пример, который можно рассматривать как красноречивую метафору: стоматолог из Асбеста Ю. Швецов сконструировал деревянный мотоцикл. Вместо электрических фар – керосиновая лампа [Деревянный мотоцикл]. Что-то в этом есть. Во всяком случае, впереди проглядывают контуры каменного автомобиля и бронзового самолета. Эволюцию не остановить.

## Литература

Бухарина Е. Спустя 7 лет в деревне Кенчурка (Свердловская область) снова появился свет. – 2007. – 7 июля. – Режим доступа: <http://www.nr2.ru/ekb/128894.html> (Дата посещения: 26.05.2012.)

Деревянный мотоцикл. – Режим доступа: <http://www.motolib.info/node/138> (Дата посещения: 26.05.2012.)

Новиков В. Роман с языком. Три эссе. – М.: Арграф, 2001 – 320 с.

Якушев В., Холманских И., Ленда А. Рабочий класс Урала! Трудовой народ России! – 2011. – 29 декабря. – Режим доступа: <http://www.uvz.ru/news/3/128> (Дата посещения: 26.05.2012.)

# ПОЛИТИКА КАК ПРОИЗВОДСТВО СМЫСЛОВ

О.Ю. Малинова

## РАЗГОВОРЫ О «МОДЕРНИЗАЦИИ»: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ «ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Лозунг «модернизации», выбранный в 2009 г. президентом Д.А. Медведевым для определения цели собственного политического курса, вызывает ассоциацию с чередой слов-девизов, которыми на протяжении последних 20–30 лет обозначали приходившие на смену друг другу программы реформ советского, а затем российского общества, – *ускорение, перестройка, либерализация...* Все эти слова-девизы были предложены официальными первыми лицами в качестве ответов на проблемы, которые при ближайшем рассмотрении оказались частными проявлениями более глубокого системного кризиса. Первоначально во главу угла ставилась экономическая составляющая; однако позже выяснялось, что речь должна идти о более комплексной социальной трансформации. Публичная артикуляция очередного девиза являлась сигналом того, что власть признает наличие проблемы и готова ее решать. Выбранное слово указывало на «ключевое звено» в цепи задач, призванных исправить положение, и должно было работать на мобилизацию поддержки будущих реформ (программу которых еще предстояло разработать). Слова-девизы «запускали» общественную дискуссию, придавая «официальный» публичный статус проблемам, которые ранее если и обсуждались, то в более узких и специальных средах. Если исходить из того, что статус *социальных проблем* задается не только «объективно» складывающимися ситуациями и не только тем, как они «субъективно» переживаются индивидами, но и тем, кто, как и на каких публичных аренах заяв-

ляет о них в качестве *проблем*, требующих общественного внимания [Хилгартнер, Боск, 2008], то следует признать, что артикуляция проблемы первым официальным лицом резко поднимает ее «ранг» в общественной повестке дня.

В силу того, что власть исходно стремилась поставить решение номинированной ею проблемы в определенные рамки, а другие участники публичного пространства не располагали организационными и интеллектуальными ресурсами для агрегирования и продвижения альтернативных программ, предметом обсуждения в большей мере оказывалось *определение проблемы*, нежели конкурирующие *подходы к ее решению*. Вследствие этого водоразделы, связанные с ответом на вопрос «кто виноват?», оказывались представлены более четко, нежели спектр позиций по другим «традиционным русским вопросам» – «что делать?» и «с чего начать?». Этому способствовала и исходная неопределенность слов-девизов, оставлявшая участникам дискуссии значительную свободу для смыслового маневра. В конечном счете, все перечисленные выше лозунги оказались забыты – не оттого, что обозначаемые ими задачи были выполнены, но потому, что легитимация действующей власти требовала постановки новых «исторических» задач.

В какой мере отмеченные особенности «национального способа» обсуждения нового политического курса проявились в ходе недавних дискуссий по поводу объявленной Д.А. Медведевым «модернизации»? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализируем материалы данной дискуссии, сосредоточив внимание на том, как идея «модернизации» интерпретировалась ведущими российскими политиками. При этом мы не ставим своей задачей дать полный обзор выступлений, посвященных данной теме. Предметом нашего внимания будет не столько описание спектра позиций, представленных в этой дискуссии, сколько анализ дискурсивных практик<sup>1</sup>, которые воспроизводят ее участники, т.е. то, каким образом заявлялись, обосновывались и оспаривались разные подходы к «модернизации».

---

<sup>1</sup> Это понятие используется в значении, предложенном М. Фуко, и указывает на совокупность анонимных правил, которые устанавливают условия выполнения функций высказывания в данную эпоху и для данного социального, лингвистического, экономического или географического пространства [см.: Квадратура смысла... 1999].

## Лозунг «модернизации» в интерпретации Д.А. Медведева и В.В. Путина

Хотя лозунг «модернизации» был официально предложен Д.А. Медведевым лишь осенью 2009 г., на втором году его президентства [Медведев, 2009 а; Медведев, 2009 b], нотки неудовлетворенности сложившейся траекторией общественного развития появились в официальной риторике полутора годами раньше. Эту тему поднял в конце своего второго президентского срока В.В. Путин. В выступлении на расширенном заседании Государственного совета 8 февраля 2008 г. он заявил о «крайней неэффективности» российской экономики и предложил разработать для исправления ситуации «инновационный сценарий», призванный обеспечить четырехкратный рост производительности труда в течение ближайших 12 лет [Путин, 2008]. Таким образом, в качестве ключевого слова в политическом завещании Путина были названы «инновации»; хотя слово «модернизация» также упоминалось. В путинской постановке вопроса «модернизация» рассматривалась как обновление уже существующих экономических объектов и управленческих структур, приведение их к современным стандартам, что, в свою очередь, должно было служить главной цели – переходу на *инновационный путь развития* и повышению производительности труда. Стоит отметить, что и Д.А. Медведев активно отработывал тему *инноваций* во время своей избирательной кампании: можно вспомнить его выступление на Красноярском форуме, где был сформулирован принцип четырех «и», необходимых России – институты, инфраструктура, инновации, инвестиции [Медведев, 2008]. Тем не менее в конечном счете новый президент сделал основным девизом собственного политического курса не «инновации», а «модернизацию», и оба лидера властного «тандема» включили данное понятие в свой репертуар. Однако, анализируя выступления Медведева и Путина, нетрудно обнаружить характерные различия в его использовании.

В речах Медведева тема «модернизации» звучала существенно чаще; при этом значение данного понятия варьировалось. В качестве главного объекта модернизации рассматривалась экономика («мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы») [Медведев, 2009 а]), а также отдельные ее отрасли, конкретные проекты (Сколково) и даже отдельные предприятия. Предполагаемый «разворот экономики в сторону модернизации» описывается, во-первых, по



контрасту с нынешним положением вещей («мы должны уменьшить... нашу унижительную зависимость от сырьевого экспорта и, может быть, что еще более важно, прекратить выжимать последние капли из научно-промышленного потенциала советского периода» [Стенографический отчет о заседании Комиссии... 2010]); во-вторых, как переход к эффективной и «умной» экономике, опирающейся на внедрение современных интеллектуальных достижений («внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение энергоэффективности» и др. [Медведев, 2009 а]).

Вместе с тем с момента артикуляции нового слова-девиза третий президент России стал говорить о «модернизации» и в более широком смысле: «В XXI в. нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация»; наша задача – осуществить «последовательную и системную модернизацию России» [Медведев, 2009 а] и др. Таким образом, объектами модернизации оказываются не только производственная и технологическая сферы, но и «наше общество» в целом. В выступлениях Медведева можно найти ряд содержательных характеристик «модернизации» во втором, более широком смысле. Так, в послании Федеральному собранию РФ 2009 г., официально провозглашая определяемый этим термином политический курс, президент специально уточнял, как именно следует понимать «стремление быть современными»: «По-настоящему современным может считаться только общество, настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные преобразования социальных практик, демократических институтов, представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но необратимые перемены в технологической, экономической, культурной областях, на неуклонное повышение качества жизни» [там же]. Он связывал модернизацию с усложнением общества («умная экономика может быть создана только умными людьми. Поэтому наше общество усложняется, оно неоднородное, многомерное, составляющие его группы ведут разный образ жизни, имеют разные вкусы и взгляды, в том числе и политические взгляды...» [Стенографический отчет о заседании Государственного совета... 2010]) и особо отмечал необходимость преодоления «широко распространенных в обществе патерналистских настроений» [Медведев, 2009 б; Стенографический отчет о заседании Государственного совета... 2010] и др. С точки зрения более широкого подхода «модернизация» должна включать в себя

изменения не только в экономической, но и в политической, социальной, культурных сферах. И в текстах Медведева действительно можно обнаружить примеры подобной интерпретации ключевого слова-девиза.

Примечательно, однако, что в его первых программных выступлениях, провозглашавших курс на «модернизацию», данный термин почти не использовался в разделах, посвященных предполагаемым изменениям в политической системе<sup>1</sup>. Ту же особенность терминологического ряда можно заметить и в некоторых более поздних выступлениях. Например, в нашумевшем видеообращении Медведева в блоге, посвященном устранению обнаружившихся в политической системе «симптомов застоя», слово «модернизация» не использовано ни разу [Медведев, 2010 b]. Представляется, что это не случайно. Отказ от прямого использования словосочетания «политическая модернизация» позволял толковать позицию президента двояко: то ли политические изменения – необходимое условие и составная часть намеченных перемен, то ли они должны рассматриваться как самостоятельный процесс, который имеет иные темпы и сроки. Настаивая на немедленной модернизации экономики, Медведев неизменно подчеркивал постепенность обещаемых им политических реформ<sup>2</sup>. Неудивительно, что вопрос о сроках и темпах политической модернизации оказался одним из наиболее явных водоразделов в общественной дискуссии.

Хотя термин «модернизация» в риторике Медведева с самого начала употреблялся в разных значениях, можно говорить о постепенном нарастании его смысловой «инфляции». В частности, в серии выступлений президента, имевших место после объявления в сентябре 2011 г. о грядущей «рокировке» в правящем «тандеме», слово «модернизация» оказалось связано с широким кругом объек-

---

<sup>1</sup> Лишь в 2011 г. упоминание о политической модернизации было включено в ежегодное программное выступление президента: «Проведенная модернизация политической системы сделала ее эффективнее», – рапортовал Д.А. Медведев за два дня до массового митинга на проспекте Сахарова против нарушений в ходе недавно прошедших выборов [Медведев, 2011 с].

<sup>2</sup> Сторонники «модернизации при консервации политической системы» не без основания ссылались на Медведева, статья которого «никак не допускала двойных толкований. Президент был исключительно точен в формулировках: модернизировать целые отрасли экономики – да, отдельные важные институты – да, но подрывать основы политической системы – нет» [Перла, 2009, с. 60].

тов, принадлежащих к самым разным сферам: модернизируются не только «экономика», «промышленность», но и «страна», «социальная жизнь» вообще, а также «здравоохранение» и «система образования» в частности. Выступая на съезде «Единой России» и позже перед своими «сторонниками», Медведев говорил о необходимости «практического курса на модернизацию всей нашей жизни», и в этом контексте – о уже имеющей место модернизации «политической системы», «избирательного законодательства» и даже – в перспективе – «самой партии» [Медведев, 2011 b]. К числу сторонников «курса последнего времени» президент отнес «людей, которые действительно хотят изменений, хотят *модернизации* страны...» [Медведев, 2011 a]. Приходится констатировать, что слово, номинированное в качестве девиза нового политического курса в 2009 г., так и не обрело в риторике своего «автора» статус понятия, ассоциируемого с конкретной последовательностью шагов, направленных на достижение ясных для граждан целей, но осталось абстрактным символом *изменений* вообще.

В выступлениях В.В. Путина слово «модернизация» имело более узкий диапазон значений и использовалось заметно реже. Глава российского правительства считал нужным говорить о «модернизации» экономики, а также отдельных ее отраслей и производств и даже рабочих мест. Он особо выделял задачу «модернизации» оборонно-промышленного комплекса и назвал *«возросший Гособоронзаказ одним из важнейших инструментов модернизации как самого ОПК, так и всей экономики России»* [Путин В.В. Отчет... 2011]. Таким образом, данное понятие ассоциировалось с техническим и технологическим обновлением экономики и сферы управления. Путин также рассуждал о «модернизации» применительно к социальной сфере и связывал ее с развитием «человеческого капитала». По его определению, *«модернизация, другими словами, поступательное и качественное развитие... это прежде всего вложение в человека, его способности, таланты, создание условий для самореализации и инициативы»* [Путин, 2010]. Наконец, в отдельных выступлениях премьер-министра можно обнаружить упоминания о «модернизационной повестке» вообще, по-видимому, призванные подчеркнуть согласие внутри «тандема» (например, на сентябрьском съезде «Единой России» – в контексте рассуждений о Д.А. Медведеве как возможном будущем главе правительства, который сможет *«продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни»* [Председатель Правительства России В.В. Путин представил... 2011]; то же – в инаугурационной

речи 7 мая 2012 г. [Стенограмма церемонии инаугурации... 2012]). Однако особенности употребления данного слова-девиза двумя лидерами «тангема» ясно указывали на различия их подходов к определению целей политического курса. Путин в целом остался верен пониманию «модернизации» как процесса приведения экономических и управленческих структур и практик к современным стандартам, сформулированному еще в его выступлениях в качестве передающего свой пост президента. В свою очередь, Медведев пытался использовать выбранное им слово-девиз как в узком, так и в широком смысле, но не слишком преуспел в наполнении его конкретным содержанием.

Уступив власть «старшему партнеру» по тангема, он проиграл и символическую борьбу за номинированный им лозунг. После «рокировки», вернувшей Путину пост президента, слово «модернизация» не ушло из оборота первого лица государства, но оказалось отодвинуто на задний план и утратило широкое значение, связанное с *изменениями вообще*. Нетрудно заметить, что Путин включил в свои предвыборные декларации некоторые идеи, которые был готов связывать с «модернизацией» и в годы своего премьерства – например, технологическое обновление экономики (создание 25 млн. «высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест»), опору на «человеческий капитал» (призыв использовать «образовательный драйв» и рост «среднего класса» для «для обеспечения экономического роста и устойчивого развития страны») [Путин, 2012 а], модернизацию ЖКХ [Путин, 2012 б] или оборонно-промышленного комплекса [Путин, 2012 с]. Особенности этого отбора лишней раз подтверждают, что и в период первого «тангема» за вербальным согласием относительно целей политического курса стояли содержательные различия.

### **Тема «модернизации» в дискурсах политических партий**

Еще более существенные расхождения в интерпретации рассматриваемого слова-девиза можно обнаружить в выступлениях других политических акторов. Хотя формально Д.А. Медведев был прав, заявляя на II Мировом политическом форуме о «полной поддержке модернизации со стороны всех политических и общественных сил» [Медведев, 2010 б], в действительности для разных политиков это слово означало разные вещи.

Лидеры КПРФ увидели в объявленном курсе стыдливое признание ошибок 1990-х и стремление восстановить разрушенные высокотехнологические отрасли производства (т.е. своего рода реиндустриализацию). Считая верными заявленные цели, коммунисты настаивали, что их невозможно осуществить без радикального изменения существующей социально-экономической и политической системы. Они разоблачали «классовые корни предлагаемой властью модернизации» и доказывали, что *«правлящий класс вполне устраивает положение, когда колоссальная собственность, созданная трудом многих поколений, попала в руки кучки нуворишей, а десятки миллионов людей трудятся на них, оставаясь на грани нищеты»*. Поддерживая общую идею, коммунисты критиковали ее осуществление действующей властью (*«реальных планов модернизации как не было, так и нет»*) [Зюганов, 2010 а)].

Сходной тактики придерживались и лидеры «Справедливой России», а также «Яблока», однако они в большей степени ориентировались на широкую интерпретацию термина, настаивая на необходимости более комплексного подхода. Как говорил С.М. Миронов, выступая на заседании Государственного совета 22 января 2010 г., *«когда мы сегодня говорим о модернизации, многие думают прежде всего о высоких технологиях. Но модернизация – это всегда политический, социальный и культурный сдвиг. Сегодня мы сталкиваемся в нашем обществе с нарастающими угрозами, и их источником является несовершенство политической системы»* [Миронов, 2010 б)]. В том же духе выступал и лидер «Яблока» С.С. Митрохин: *«Мы, безусловно, поддерживаем требование, выдвинутое Президентом России, о необходимости модернизации нашей страны. Но мы считаем при этом, что нынешняя политическая система несовместима с модернизацией»* [Митрохин, 2010]. И «Справедливая Россия», и «Яблоко» выдвигали предложения, направленные на углубление реформ, расширяя список задач, изначально поставленных властью. При этом претендовавшие поначалу на роль второй «партии власти» справедливороссы заявляли о своей готовности перехватить инициативу: они критиковали выдвинутую «Единой Россией» идею «консервативной модернизации» и утверждали, что именно их партия может *«сплотить вокруг себя реальные общественные силы и сформировать модернизационный класс»* [Миронов, 2010 б)].

В отличие от других партий «системной оппозиции», ЛДПР не стремилась к «освоению» и переосмыслению предложенного властью слова-девиза, однако в своей предвыборной программе не

преминула покритиковать действующую власть за «отсутствие стратегии развития страны» и за «провал» «первой модернизации», которую следовало провести «на базе сверхдоходов энергетических, сырьевых и металлургических отраслей российской промышленности в период пикового экономического всплеска в 2002–2007 гг.». В то же время обрисованный в программе образ прекрасного будущего вполне совпадает с картинками, представленными в текстах Медведева. В свете такого подхода слово «модернизация» оказывается неудобным, ибо благодаря расплывчатой трактовке (в том числе, в речах Медведева) оно оказалось связано с «изменениями» вообще [Программа... 2011].

Таким образом, формально поддерживая идею «модернизации», оппозиционные политические партии в зависимости от собственных программных установок вкладывали в нее разный смысл. Примечательно, что при этом они опирались на широкий спектр значений данного слова-девиза, обозначенных его «автором», делая выбор из предложенного «меню» сообразно своим тактическим задачам. Трактовки «модернизации», предложенные разными «партийными отрядами» политической элиты, очевидным образом различались. Однако эти различия не стали предметом публичных дебатов, они артикулировались преимущественно в режиме монолога, что не стимулировало взаимную критику и дополнительную аргументацию заявленных позиций. Предложение о межпартийных дискуссиях по проблемам «модернизации» в эфире центральных телеканалов, озвученное Г.А. Зюгановым вскоре после провозглашения нового слова-девиза [Стенографический отчет о заседании Государственного совета... 2010], не получило поддержки свыше. В этих обстоятельствах оппозиционные партии едва ли могли серьезно повлиять на структуру идеологических размежеваний относительно интерпретации идеи «модернизации», в то время как ключевые акторы, определявшие направление политического курса, предпочитали маневрировать в широком диапазоне значений этого непонятого, но притягательного слова-девиза.

В более сложном положении оказалась «Единая Россия»: с одной стороны, как «партия власти», она была призвана поддержать и возглавить инициативу президента по *изменению* сложившегося уклада, но, с другой стороны, это надлежало сделать таким образом, чтобы не бросить тень сомнения на результаты деятельности его предшественника и формального лидера партии, которые были достигнуты под противоположным по смыслу лозунгом

*стабилизации*. Неудивительно, что основные усилия по «освоению» нового слова-девиза поначалу были направлены на его адаптацию к уже сложившимся представлениям о партийной идентичности. Идеологи «ЕР» были поглощены не столько разъяснением смысла нового понятия (который оставался туманным не только для большинства избирателей, но и для самих партийцев), сколько уточнением признаков той «модернизации», которая может рассматриваться в качестве цели, заслуживающей поддержки. Результатом их усилий оказалась концепция «консервативной модернизации», которая, по определению первого заместителя секретаря Президиума Генерального совета партии А. Исаева, *«может быть осуществлена на основе консервативного сценария – сценария демократического, ненасильственного, требующего участия большинства народа в проведении такой модернизации»* [Стенограмма презентации проекта... 2009]. Таким образом, интерпретируя предложенный Медведевым девиз как приглашение к *изменениям*, единокороссы с самого начала попытались провести четкую грань между «хорошей» («консервативной», «ненасильственной», «органической», «демократической», «при участии большинства») и «плохой» («радикальной», «революционной», «по либеральным и социалистическим рецептам», «насильственной») модернизацией. Впрочем, разрабатывая эту тему, они двигались по пути, намеченному самим Медведевым, для которого вопрос: «От какого наследия мы отказываемся?» – с самого начала имел принципиальное значение при обсуждении темы «модернизации».

## **Почему России снова нужна «модернизация»?**

Обращает на себя внимание, что для всех основных политических акторов «модернизация» означает качественное изменение будущего по сравнению с настоящим, некий *рывок в развитии*, который позволит России преодолеть отставание от лидеров и подкрепит ее претензии на роль ключевого игрока в мировой политике. Причем необходимость такого рывка ни у кого не вызывает сомнений, а вот его характер, в частности – его соотношение с аналогичными попытками изменений, имевшими место в прошлом, является предметом дискуссии. Обращение к прошлому в контексте обоснования или оспаривания программы политического курса вообще типично для сложившихся в России дискурсивных практик [Малинова, 2011]. Представляется, что это – следствие отсутствия консенсуса в отношении базовых принципов

коллективной идентичности [Малинова, 2010]. С учетом «непредсказуемости» национального прошлого историческое измерение приобретает особое значение в *определении проблем*, подлежащих решению, ибо оно задает смысловые рамки не только для постановки целей, но и для легитимации власти инициаторов очередных перемен в обществе, которому не единожды приходилось переживать революционные трансформации. Ответ на вопрос «что делать?» тесно связан с решением проблемы «кто виноват?». Неоднозначность оценок прошлых попыток заставляет тщательно взвешивать аргументы в пользу очередных реформ. Наконец, необходимость соблюдать «преемственность» по отношению к прежнему курсу создает для инициатора нового «рывка» дополнительные ограничения: задачу всеобщей мобилизации ради лучшего будущего нужно представить так, чтобы она оказалась приемлемой не только для тех, кто не удовлетворен результатами предыдущих реформ и жаждет продолжения, но и для тех, кого вполне устраивала путинская *стабилизация*.

Неудивительно, что рассуждения о прошлом и будущем играли важную роль в программных выступлениях Д.А. Медведева<sup>1</sup>. Обосновывая необходимость *модернизации*, он подчеркивал, что «ноша» современных проблем, вынесенных из прошлого, не позволяет рассчитывать на достойное будущее («*Добиться лидерства, полагаясь на нефтегазовую конъюнктуру, невозможно*» [Медведев, 2009 б]). Тем не менее выход из замкнутого круга негативных явлений, с которыми Россия «знакома не первые сто лет», есть, ибо влияние прошлого не фатально: традиции, «*вписываясь в каждую новую эпоху, все же претерпевают изменения*» [там же]. Модернизация представлялась Медведевым как двойной разрыв с инерцией прошлого: во-первых, это усилие коллективной воли, обеспечивающее переход на «новую, более высокую ступень развития цивилизации», во-вторых, это отказ от повторения методов предыдущих модернизаций – «петровской (имперской) и советской», которые были «*оплачены разорением, унижением и уничтожением миллионов наших соотечественников*» [там же].

---

<sup>1</sup> В основу анализа, представленного в данном разделе статьи, положены тексты, в которых было дано первое определение и обоснование нового политического курса – статья «Вперед, Россия!» [Медведев, 2009 б] и Послание Федеральному Собранию 2009 г. [Медведев, 2009 а].



Примечательно, что, рисуя образ прекрасного будущего, президент стремился избежать прямых ассоциаций с зарубежными образцами, «отставание» от которых России надлежит преодолеть: *«Наивные представления о непогрешимом и счастливым Западе и вечно недоразвитой России неприемлемы, оскорбительны и опасны»* [Медведев, 2009 б]. «Модернизация» представлялась как «наш собственный» выбор, который связан с сознательной «эндогенной» трансформацией коллективной идентичности и не предполагает «механического копирования зарубежных образцов»<sup>1</sup>. Правда, образ Значимых Других все равно играл важную роль в идеологической конструкции, призванной мобилизовать поддержку «модернизации», поскольку главным стимулом для смены курса объявлялось «выживание нашей страны в современном мире» и обретение ею «статуса мировой державы на принципиально новой основе» [Медведев, 2009 а]<sup>2</sup>. Таким образом, основные коннотации, связанные с «Западом» как историческим соперником, противостояние с которым стимулирует «модернизацию», сохранялись.

В этой логике настоящее оказывается точкой перелома инерции прошлого, началом принципиально новой траектории развития. Возникает вопрос: что дает основания полагать, что на этот раз все получится не «как всегда» и что обещанная «демократическая» и «ненасильственная» модернизация окажется возможной? В текстах Медведева можно обнаружить несколько аргументов в пользу такого предположения. (1) Наше время – *«по-настоящему новое»*, ибо оно *«открывает перед нашей страной... огромные возможности»*, которых *«не было и в помине двадцать, тридцать, тем более сто и триста лет назад»* (какие именно – не

---

<sup>1</sup> Последняя фраза относилась к российской демократии [Медведев, 2009 б].

<sup>2</sup> Это представление разделялось практически всеми политическими силами и во многом определяло синкретический «консенсус» в отношении *модернизации*. Однако и здесь имели место фактически противоположные по смыслу интерпретации тезиса об «удержании роли мирового лидера». Если одни аналитики хотели видеть Россию будущего «одной из ведущих экономик мира», «радикально сократившей отставание» от Запада «по уровню состояния институтов, темпам развития и диверсификации экономики», членом НАТО и стратегическим союзником ЕС [Россия XXI века... 2010, с. 42–45], то другие видели в модернизации «не цель, а средство... выжить и победить» и категорически возражали против ситуации, «когда ценой модернизации объявляется сдача врагу или даже отказ считать его таковым» [Леонтьев, 2009].

уточнялось). (2) «Модернизация» начинается на базе путинской стабилизации (Россия *«уже не то полупарализованное полугосударство, каким была еще десять лет назад»*); впрочем, провозглашение нового курса означало, что прежний себя исчерпал (социальные системы «лишь воспроизводят текущую модель, но не развивают ее»). (3) Нынешняя «модернизация» впервые будет «демократической» (хотя движение к «свободной, справедливой и гуманной» политической системе мы только «начали»). (4) Наше прошлое – источник не только «проблем», но и положительных примеров, самый важный из которых – победа в Великой Отечественной войне. По словам Медведева, *«народ, победивший жестокого и очень сильного врага в те далекие дни, должен, обязан сегодня победить коррупцию и отсталость»* [Медведев, 2009 б]. (5) *«Настало время... сегодняшним поколениям российского народа сказать свое слово»* и *«поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации»* [Медведев, 2009 а]. В конечном счете, все эти аргументы опирались исключительно на специфическую модель временного континуума, согласно которой настоящее определяется прошлым (что «извиняет» его несовершенство), однако будущее всецело зависит от выбора, который надлежит сделать сегодня. Прошлое в этой схеме используется не столько для подкрепления заявляемых политических целей «опорой на традиции», сколько для оправдания потребности в «еще одной модернизации», которая, тем не менее, должна оказаться «не такой», как предыдущие.

### **Какая «модернизация» нам нужна?**

С учетом такой структуры аргументации в пользу нового курса, вряд ли стоит удивляться, что вопрос об оценке прошлых опытов «модернизации» – в качестве источника проблем, надежд и образцов для подражания – стал одним из значимых направлений общественной дискуссии. Этому отчасти способствовали усилия «Единой России» по адаптации нового слова-лозунга к ранее выбранной ею идеологической ориентации, которые вылились в разработку концепции «консервативной модернизации». Воспроизводя модель временного континуума, предложенную Медведевым, идеологи правящей партии позаботились о том, чтобы дистанцировать нынешнюю «модернизацию» от предыдущих попыток, и прежде всего – от опыта советской индустриализации и постсоветских реформ (примечательно, что реформы Петра I и

Александра II в этом контексте почти не обсуждались). Это давало возможность подчеркнуть преемственность по отношению к политике «нулевых» годов, представляя «модернизацию» в качестве «третьего этапа плана Путина» [Стенограмма презентации проекта партии... 2009]. За недостатком адекватных образцов для подражания в отечественном прошлом идеологи «Единой России» вынуждены были обратиться к зарубежному опыту. Ссылаясь на примеры Либерально-демократической партии Японии, Христианско-демократического союза ФРГ, Отто фон Бисмарка, Шарля де Голля, Конрада Аденауэра, Маргарет Тэтчер, Роналда Рейгана и др., они доказывали, что в XX в. «самыми лучшими модернизаторами... оказались именно консерваторы» [там же]. Получалась несколько парадоксальная конструкция: «консервативная модернизация», основным признаком которой объявлялась органичность по отношению к «базовой структуре жизни общества и народа» [там же], была призвана радикально изменить отечественную традицию социального реформирования, ориентируясь при этом на зарубежный опыт, который вряд ли мог считаться «органичным» для России.

Не случайно некоторые дискуссанты пытались привлечь внимание к рискам, которыми чревато «скрещивание» консерватизма и модернизации. Так, М. Ремизов приглашал участников обсуждения идеологического проекта «Единой России» *«истолковать консерватизм как идеологию, отвечающую не столько за стабильность общества, сколько за его целостность»*, как *«политику идентичности»*, позволяющую *«меняться, чтобы оставаться собой»* [Стенограмма презентации проекта партии... 2009]. В. Фадеев предлагал конструкцию, позволяющую интерпретировать нынешнюю модернизацию как «органичную» в силу того, что она опирается на достижения уже состоявшейся «революционной» модернизации, благодаря которой *«Россия, в классическом смысле, является, несомненно, модернизированной страной»* [Стенограмма презентации проекта партии... 2009; Фадеев, 2009]. Однако в целом в «консервативном» дискурсе правящей партии доминирующей оказалась модель «прерывания традиции», позволявшая не только дистанцировать новую «модернизацию» от негативного опыта предыдущих, но и сгладить семантический контраст между заложенной в новом курсе идеей *изменений* и прежней установкой на *стабилизацию*.

Оппоненты концепции «консервативной модернизации», предлагавшие более широко подойти к интерпретации заявленного

президентом Медведевым слова-девиза, также не обошлись без оценок прошлого. Главными объектами идеологического противостояния оказались перестройка и последующие реформы 1990-х, а также советский опыт модернизации. Либеральные критики «консервативной модернизации» проводили параллель с перестройкой, задача которой заключалась *«в том, чтобы преодолеть нарастающее отставание от Запада именно в модернизационной составляющей экономического соревнования с ним»* [Гринберг, 2010]<sup>1</sup>. «Модернизацию» предлагалось рассматривать как продолжение перестройки, которая интерпретировалась как *«небывалый рывок из посттоталитаризма к ценностям свободы и права, демократии и рынка»* [Россия XXI века... 2010, с. 41].

У данной трактовки были противники как справа, так и слева. В числе первых были авторы экспертного доклада, подготовленного «Агентством политических новостей», которые доказывали, что поскольку главной миссией модернизации является *«полноценная социализация человека и формирование нации как культурно однородного и солидарного сообщества»*, перестроечный и постсоветский опыт нельзя считать модернизационным, ибо *«из фокуса внимания государства... выпало главное содержание процесса модернизации»* [Пономарёв, Ремизов, Карев, Бакулев, 2009]. Согласно данному подходу, на современном этапе речь должна идти о преодолении имевшей место в последние десятилетия «демомодернизации». Уникальность этой задачи заключается в том, что *«России придется стать страной-пионером в деле построения общества модерна из общества потребления, существующего на обломках прежних модернизационных проектов»* [там же]. По мнению авторов доклада, методология такой социальной трансформации предполагает *«формирование очагов, эпицентров, моделей нового общества без превентивно-революционного разрушения старого...»* [там же].

Критики перестройки слева тоже описывали постсоветский этап как «демомодернизацию», но делали это с помощью другой терминологии: необходимость современных преобразований они связывали с тем, что «Россия, превратившаяся в опытный полигон реставрации дикого капитализма образца XVIII века, почти на 20 лет выпала из процесса развития», а в качестве предпосылок

---

<sup>1</sup> Впрочем, учитывая содержание официальной риторики, сравнение модернизации с ускорением выглядело более реалистично [Пастухов, 2010].

успеха называли преобразование социально-политической системы и «переход от олигархических бесчинств... к социалистической системе» [Зюганов, 2010 b, с. 7, 34].

Таким образом, спор по поводу интерпретации прошлого оказывается лакмусовой бумажкой, отчетливо проявляющей различия в определении природы современных проблем и в подходах к их решению. Можно согласиться с наблюдением В. Иноземцева, согласно которому нынешний «масштаб запроса на исторические экзерсисы» определяется тем, что «власть, не располагающая идеологическим обоснованием своего доминирования и не способная похвастаться экономическими достижениями, не может не быть падкой на масштабные идеологемы, оправдывающие ее действия исходя из представлений о прошлом» [Иноземцев, 2010]. Представляется, однако, что «историоризация» общественной дискуссии объясняется еще и тем, как устроено обсуждение политического курса: предметом спора является не столько выбор оптимальной программы мер, сколько то, как «правильнее» определять проблему. Не располагая ресурсами для самостоятельного изменения повестки, оппоненты стремятся либо убедить власть скорректировать свою точку зрения, либо делегитимировать ее монополию на артикуляцию целей путем демонстрации неадекватности заявленных ею подходов. И то и другое проще делать, оспаривая *определение проблемы*, нежели занимаясь разработкой практических альтернатив. А опора на прошлое придает конкурирующим определениям «системный» характер.

### **По ту сторону «согласия»: Особенности дискурсивных практик обоснования и критики политического курса**

Нетрудно убедиться, что за формальным согласием с заявленным президентом Медведевым курсом на «модернизацию» стоит целый спектр разных интерпретаций как проблем, так и задач, подлежащих решению. На чем же тогда основан эффект «согласия»?

Во-первых, кризис 2008–2009 гг. способствовал появлению широкого запроса на *изменения*, который был удачно «упакован» в нейтрально-патриотическую терминологию, не имевшую отчетливых право-левых коннотаций («сохранение места России в мире», «обретение статуса мировой державы на принципиально новой основе» и т.п.). В контексте тектонических подвижек, охвативших

весь мир, необходимость что-то менять ни у кого не вызывала сомнения. А выбранное слово-девиз давало достаточный простор для определения содержания перемен.

Во-вторых, как в конце 1980-х и начале 1990-х годов, несмотря на изменившуюся структуру публичного пространства [см.: Идеино-символическое пространство... 2011, с. 259–283], в роли главного артикулятора общественных целей выступала власть; другие акторы сочли целесообразным не изобретать альтернативные слова-девизы, а заниматься переопределением уже заданного. Тактически в условиях сложившейся в 2000-х годах медиасистемы это давало возможность работать в «ядре» публичного пространства, создавая информационные поводы в рамках установленной сверху повестки дня. Однако стратегически, как показали события, начавшиеся в декабре 2011 г., это было ошибкой: благодаря скачкообразной «интернетизации» на рубеже 2000–2010-х годов возникли предпосылки для изменения соотношения «ядра» и «периферии» публичной сферы, что делало весьма актуальным поиск альтернативных слов-девизов, способных стать символами политических альтернатив. Напротив, работа на смысловом поле, предложенном властью, оказалась не слишком эффективной: у оппозиционных сил не оказалось организационных и интеллектуальных ресурсов, чтобы структурировать пространство идеологической конкуренции, а инициировавший дискуссию президент Медведев предпочел маневрировать в широком диапазоне значений вброшенного слова-лозунга, не конкретизируя его. В конце концов, артикулируя слово-девиз, власть, прежде всего, решала проблему легитимации собственных управленческих решений!

Наконец, коммуникация оказалась сосредоточена вокруг *определения проблемы*. Хотя отдельные акторы предпринимали усилия для того, чтобы переориентировать дискуссию на обсуждение *задач*, их попытки встречали заметное сопротивление, что не в последнюю очередь определялось сложившимися дискурсивными практиками, блокирующими кристаллизацию смысловых альтернатив.

Подводя итоги, можно констатировать, что президент Медведев был абсолютно прав, критикуя своих сограждан за «низкое качество общественной дискуссии» [Медведев, 2009 b]. Однако «качество» инициированного им обсуждения «модернизации», в свою очередь, определялось дискурсивными практиками, во многом сходными с теми, которые задавали рамки коммуникации по поводу *ускорения, перестройки, либерализации* и т.д. Изменение этих практик окажется возможным при условии фор-

мирования четко структурированного пространства политических альтернатив, что связано с изменением установок как власти, так и оппозиции.

## Литература

- Гринберг Р. Наступает пора новой перестройки // Известия. – М., 2010. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/comment/article3139783/> (Дата посещения: 20.03.2010.)
- Зюганов Г.А. Консервативная модернизация – путь в тупик. – 2010 г. – Режим доступа: [http://kprf.ru/party\\_live/77686.html](http://kprf.ru/party_live/77686.html) (Дата посещения: 1.09.2011.)
- Зюганов Г.А. Социалистическая модернизация – путь к возрождению России // Социалистическая модернизация – путь к возрождению России: Материалы V (апрельского) совместного заседания ЦК и ЦКРК КПРФ. – М., 2010 г. – С. 6–40.
- Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 285 с.
- Иноземцев В. Modernizatsya.ru: На свалку историю! // Ведомости. – М., 2010. – 19 апреля. – № 69 (2587). – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/19/231671> (Дата посещения: 20.04.2010.)
- Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М.: Прогресс, 1999. – 416 с.
- Леонтьев М. Редакционная статья // Однако. – М., 2009. – № 12. – С. 3.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. – М., 2010. – № 2. – С. 90–105.
- Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // Pro et contra. – М., 2011. – Т. 15, № 3–4. – С. 106–122.
- Медведев Д.А. Встреча Дмитрия Медведева со сторонниками, 15 октября 2011 г. – 2011а. – 15 октября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/news/13065> (Дата посещения: 30.10.2011.)
- Медведев Д.А. Выступление на V Красноярском экономическом форуме «Россия 2008–2020. Управление ростом». – 2008. – 15 февраля. – Режим доступа: [http://www.medvedev2008.ru/live\\_press\\_15\\_02.htm](http://www.medvedev2008.ru/live_press_15_02.htm) (Дата посещения: 16.12.2010.)
- Медведев Д.А. Выступление на съезде партии «Единая Россия». – 2011 б. – 24 сентября – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/12802> (Дата посещения: 25.09.2011.)
- Медведев Д.А. Выступление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева на пленарном заседании Мирового политического форума «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности». – 2010 а. – 10 сентября. – Режим доступа: <http://news.kremlin.ru/transcripts/8887> (Дата посещения: 12.09.2010.)
- Медведев Д.А. Наша демократия несовершенна, мы это прекрасно понимаем. Но мы идем вперед. Обращение в видеоблоге 23 ноября 2010 г. – 2010 б. – Режим доступа: <http://blog.kremlin.ru/post/119/transcript> (Дата посещения: 24.11.2010.)

- Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию, 22 декабря 2011 г. – 2011 с. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/14088/work> (Дата посещения: 23.12.2011.)
- Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию, 30 ноября 2010 года. – 2010 с. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/9637/work> (Дата посещения: 27.12.2010.)
- Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 года. – 2009 а. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/5979> (Дата посещения: 20.11.2009.)
- Медведев Д.А. Россия, вперед! // Газета. ru. – 2009 б. – 10 сентября. – Режим доступа: [http://gazeta.ru/comments/2009/09/10\\_a\\_3258568.shtml](http://gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml) (Дата посещения: 11.09.2009.)
- Миронов С.М. Выступление на заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. – 2010 а. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата посещения: 28.02.2010.)
- Миронов С.М. Нас не сбить с избранного пути // Литературная газета. – М., 2010 б. – № 18 (6273). – Режим доступа: <http://www.litmir.net/br/?b=133990&p=42> (Дата посещения: 14.01.2012.)
- Митрохин С.С. Выступление на заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата посещения: 28.02.2010.)
- Пастухов В. «BACK IN THE USSR». «Модернизация» как «перестроечный» проект. Опубликовано 24.03.2010. – Режим доступа: <http://www.polit.ru/analytcs/2010/03/24/reformacion.html> (Дата посещения: 30.03.2010.)
- Перла А. Модернизация – да. Перестройка – нет // Валовой внутренний продукт. – М., 2009. – № 9 (51). – С. 60–61.
- Пономарёв И., Ремизов М., Карев Р., Бакулев К. Модернизация России как построение нового государства. Независимый экспертный доклад. – 2010. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article22100.htm> (Дата посещения: 27.12.2010.)
- Председатель Правительства России В.В. Путин представил в Государственной Думе отчет о деятельности Правительства Российской Федерации за 2010 год. – 2011. – 20 апреля. – Режим доступа: <http://premier.gov.ru/events/news/14898/> (Дата посещения: 27.12.2011.)
- Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин принял участие в съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». – 2011. – 21 декабря. – Режим доступа: <http://premier.gov.ru/events/news/17451/> (Дата посещения: 12.01.2012.)
- Программа Либерально-демократической партии России. – 2011. – Режим доступа: [http://www.ldpr.ru/#party/Program\\_LDPR](http://www.ldpr.ru/#party/Program_LDPR) (Дата посещения: 12.01.2012.)
- Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. – М., 2012 с.–20 февраля. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html> (Дата посещения: 20.02.12.)
- Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года», 8 февраля 2008 г. – Режим доступа: [http://tours.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542\\_type63374type63378type82634\\_159528.shtml](http://tours.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml) (Дата посещения 16.12.2010.)



- Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. – М., 2012 а. – 16 января. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/news/511884> (Дата посещения 17.01.2012.)
- Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. М., 2012 б. – 13 февраля. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/3759/2807793/> (Дата посещения 13.02.12.)
- Россия XXI века: образ желаемого завтра. – М.: Экон-информ, 2010. – 66 с.
- Стенограмма презентации проекта партии «Единая Россия» «Мировой опыт консервативной модернизации» пресс-центре агентства «Интерфакс», 1 декабря 2009 г. – Режим доступа: <http://edinros.er.ru/er/text.shtml?11/1107,100026> (Дата посещения 28.02.2010.)
- Стенограмма съезда партии «Единая Россия».–2011. – 24 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/12802> (Дата посещения: 25.09.2011.)
- Стенограмма церемонии инаугурации президента России 7 мая 2012 г. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (Дата посещения 25.05.12.)
- Стенографический отчет о заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России, 22 января 2010 г. – 2010. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата посещения: 28.02.2010.)
- Стенографический отчет о заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, 11 февраля 2010 г. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6844> (Дата посещения: 28.02.2010.)
- Фадеев В. Какая модернизация нужна России? – 2009. – Режим доступа: [http://russia.ru/video/er\\_8233/](http://russia.ru/video/er_8233/) (Дата посещения: 16.12.2010.)
- Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Социальная реальность. – М., 2008. – № 2. – С. 73–94.

**Е.О. Негров**

**ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА В ХОДЕ  
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛА 2011–2012 гг.:  
СТРАТЕГИИ ОХРАНИТЕЛЬНОГО  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА**

Данная статья посвящена анализу тактических приемов и стратегических задач дискурса, который мы называем охранительным, поскольку он выражает и обслуживает интересы официальной политической власти на основе абсолютно разных предпосылок – от искренней уверенности в необходимости сохранения политического статус-кво до откровенной материальной или карьерной заинтересованности. Хронологические рамки исследования охватывают электоральный цикл 2011–2012 гг. Дав необходимые пояснения относительно терминов, используемых в исследовании, мы предложим анализ современного состояния политического дискурса в России и его исторических предпосылок, а затем перейдем к анализу основных тактических приемов и стратегических задач охранительного дискурса на основе материалов петербургской газеты «Смена» и контента интернет-ресурса Odnako.org.

**Основные понятия**

*Политический дискурс* понимается нами как исторически и социально обусловленное, хронологически и географически очерченное, количественно и тематически неограниченное кроссжанровое сверхтекстовое пространство, обладающее специфической модальностью и способное выступать как «машина порождения» высказываний, также обладающих указанной модальностью. Таким образом, дискурс является как бы «языком в языке» – это «исполь-

зование естественного языка для выражения определенной ментальности, предусматривающее свои правила реализации этого языка... За единством дискурса стоит некий образ реальности, свой мир» [Саморукова, 2000, с. 4].

В научной литературе существует широкое и узкое понимание политического дискурса. Сторонники широкого подхода понимают под политическим дискурсом «любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых относится к сфере политики» [Шейгал, 2004, с. 23]; «сумму речевых произведений в определенном паралингвистическом контексте – контексте политической деятельности, политических взглядов и убеждений, включая негативные ее проявления (уклонение от политической деятельности, отсутствие политических убеждений)» [Герасименко, 1998, с. 22]; «совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих участников политического дискурса как таковых или формирующих конкретную тематику политической коммуникации» [Баранов, 2001, с. 246]. В качестве языкового материала могут быть использованы выступления политиков, политических обозревателей и комментаторов, публикации в средствах массовой коммуникации, материалы специализированных изданий на различные темы, касающиеся аспектов политики. При таком подходе исследование политического дискурса включает в себя изучение практически всех семиотических систем.

Но многие исследователи придерживаются более узкого подхода и рассматривают политический дискурс как язык исключительно публичной и институционально оформленной сферы. В частности, такой точки зрения придерживаются авторы коллективного исследования «Говоря политически: международная экспертиза языка, используемого в политической сфере» [Politically speaking, 1998], которые утверждают, что политическая функция характерна преимущественно для публичных высказываний. Таким образом, политический дискурс понимается здесь как актуальное использование языка в социально-политической сфере общения и шире – в публичной сфере общения. Принадлежность текста к разряду политических определяется как его тематикой, так и его местом в системе политической коммуникации [подробнее см.: Гаврилова, 2003]. Этому подходу придерживается и один из ведущих исследователей данной проблематики, известный нидерландский ученый Т. ван Дейк. Ограничивая политический дискурс профессиональными рамками, деятельностью политиков, он подчеркивает, что дискурсами политиков следует считать лишь те

дискурсы, которые производятся в такой институциональной окружающей обстановке, как заседание правительства, сессия парламента, съезд политической партии. Таким образом, дискурс является политическим, когда он сопровождает политический акт в политической обстановке [Dijk, 1998]. Такой же точки зрения придерживается и известный российский ученый М.В. Ильин, который по этой причине, кстати, ставит под сомнение саму интердисциплинарность политического дискурса, считая, что его изучение должно являться исключительно прерогативой политической науки [Ильин, 2002].

На наш взгляд, между этими двумя подходами нет глубокого противоречия. Так, дополняя суждение ван Дейка, австрийская исследовательница Р. Водак утверждает, что «политический язык находится как бы между двумя полюсами – функционально обусловленным специальным языком и жаргоном определенной группы со свойственной ей идеологией. Поэтому политический язык должен выполнять противоречивые функции, в частности быть и доступным для понимания (в соответствии с задачами пропаганды), и ориентированным на определенную группу (по историческим и социально-психологическим причинам)» [Водак, 1998, с. 24; Qualitative discourse analysis, 2008]. Исходя из сказанного, *политический дискурс* можно определить как *гипертекст, отображающий политическую и идеологическую практику какого-то государства, отдельных партий и течений в определенную эпоху*. В таких текстах актуализируется общественное сознание, и политический дискурс, таким образом, отражает политическую ситуацию, а его изучение дает более наглядную картину предпочтений в современном обществе, существенно дополняющую иные способы решения данной задачи, к примеру, социологические исследования. При анализе языка политического дискурса обнаруживается совокупность всех речевых актов, использованных в политических дискуссиях в современном обществе.

Учитывая вышеизложенное, под *официальным политическим дискурсом* (далее – ОВД), в отличие от просто официального текста, мы будем понимать *устойчивый набор высказываний на темы важнейших общественных категорий, норм, ценностей и теорий, используемый для публичного объяснения намерений и действий элиты того или иного общества*. Определение «публичное» имеет здесь принципиальное значение, поскольку иные – неофициальные – высказывания и трудно доступны, и не являются официальным дискурсом по определению. *Охранительный дискурс*, в

свою очередь, *представляет собой корпус приемов, направленных на легитимацию дискурсивных практик и реальных действий официальной власти в общественно-политическом пространстве.* Подчеркнем еще раз, что от идеологии, картины мира, системы взглядов дискурс отличается своей социальной составляющей, а именно подразумеваемым существованием не только носителя (или коммуникатора), но и аудитории. При этом для продуцента дискурса важна не только собственная позиция, но и предполагаемая позиция аудитории. Важнейшей целью как ОПД, так и охранительного дискурса является воздействие на слушателя, но одновременно изучение таких дискурсов дает возможность аудитории и экспертному сообществу получить представление о самих коммуникаторах.

### **Современный российский политический дискурс: Специфика и тенденции**

Современный российский официальный политический дискурс отличается следующими особенностями.

Во-первых, он стремится к полной монополизации важнейшего канала ретрансляции политического дискурса – телевидения. Телевидение как средство массовой информации существует чуть более полувека, однако даже за такой небольшой по историческим меркам промежуток времени оно стало одной из важнейших социальных потребностей человека; ни одно из ныне действующих средств массовой коммуникации не может соревноваться с телевидением по величине и силе влияния на общественные процессы. Сейчас в России телевидение достигло такого влияния, что политический дискурс уже не только транслируется в его рамках, но и меняется или, по крайней мере, корректируется под его воздействием. Включая телевизор, реципиент постоянно получает на данном канале одну и ту же систему ценностей, норм и представлений, единый дискурс, который зависит от позиции канала. Последствия данного факта сводятся к тому, что «если тебя нет в телевизоре – тебя как бы нет вообще», причем такое положение вещей справедливо как для политических акторов, так и для политических событий, и основные ретрансляторы официального политического дискурса вполне осознали эту поистине огромную роль телевидения.

Во-вторых, механизм принятия политических решений становится все более непрозрачным для людей, напрямую к нему не

причастных, что снижает адекватность традиционных инструментов политологических исследований, основанных на анализе публичной политики. Более того, сегодняшняя ситуация привела к такому неожиданному последствию, как проблема интерпретации интенций ОПД. Небольшое количество адресантов такого дискурса, входящих в состав высшей политической элиты страны, сталкиваются с тем, что его адресаты, т.е., в первую очередь, те, кто по долгу службы должен реализовывать эти интенции, – среднее и низшее звено исполнительной власти (и только потом представители общества) – интерпретируют их высказывания, основываясь на своем представлении о тактических и стратегических задачах, стоящих за исполнением того или иного решения, что в условиях непрозрачности и непубличности описываемых процессов приводит зачастую к непрогнозируемым заранее последствиям.

В-третьих, особенностью современного ОПД является его сильная зависимость от конечного адресата. Помимо инструментальной функции, связанной с борьбой за власть и набора зависящих от нее признаков, ОПД призван также формировать повестку дня внутри элиты, определяя основные тренды текущего политического процесса. Причем в данном случае понятие элиты выходит за рамки политики, поскольку это определение важно и для остальных социальных групп, менее подверженных примитивным манипуляционным технологиям, – интеллигенции, общественных деятелей, ученых, представителей бизнес-элиты и т.д. В связи с данным фактом нам представляется целесообразным ввести не встречаемое ранее в научной литературе понятие электорально значимого большинства (далее – ЭЗБ) применительно к адресатам ОПД, преимущественной целью которого является манипулятивная стратегия. Данный термин отражает реальную ситуацию, при которой основная задача ОПД сводится к донесению позиции политической элиты до ЭЗБ, ограниченного в своем доступе к информации и вынужденного пользоваться только предложенными официальным дискурсом каналами трансляции (конечно, данное предположение носит гипотетический характер и нуждается в эмпирическом подтверждении). Именно поэтому телевидение благодаря своим качествам является основным каналом трансляции для ЭЗБ, в отличие от печатных средств массовой информации, которые не имеют такого охвата аудитории.

В-четвертых, необходимо сказать о необходимости оценки эффективности усилий ОПД, т.е. о соответствии результатов тем задачам, которые ставит перед собой политическая элита страны.

Многие события последнего времени, связанные со вступлением России в электоральный цикл 2011–2012 гг., заставляют серьезно задуматься о самой природе эффективности через призму понятий легальности и легитимности власти. В рамках данного исследования эти понятия рассматриваются с точки зрения массового политического поведения, в соответствии с которой легальность – это процедура, соответствующая закону и принятым правовым нормам, а легитимность – наличие не столь очевидно фиксируемого согласия управляемых на определенное насилие над собой, т.е. возможность акторам совершать действия, которые не оспариваются никем из тех, кто теоретически имеет право и возможность эти действия оспорить.

Началом современного состояния ОПД следует считать первые годы президентства В. Путина, так как риторика всей президентской предвыборной кампании 2000 г., последовавшие за этим события, да и развитие ОПД в целом не оставляют сомнений в существовании настолько значительных отличий российского дискурса 1990-х и 2000-х годов, что представляется вполне адекватным говорить об «эпохе Путина» и «эпохе Ельцина» применительно ко дню вчерашнему не только в политическом и экономическом отношении, но и с точки зрения состояния дискурса. Если брать более высокий уровень обобщения, то современный российский политический дискурс проходит полосу бурных изменений и трансформации.

Как и вся сфера общественного, политического, культурного, социально-психологического, дискурс меняется на глазах. В этих изменениях можно выделить два процесса. Первый, свойственный любому политическому дискурсу европейского (западного) ареала, связан с изменениями политической, экономической и социальной реальности: происходит постоянное обновление тематики, актуализация новых образов, символов. Изменяются, перегруппировываются социальные слои – адресаты политического дискурса, выходят на первый план новые актуальные темы, уходят в прошлое одни образы, появляются новые. Обновляются приемы, в связи с развитием техники коммуникации возникают новые способы обращения к аудитории, часть старых каналов отходит на второй план. Таким образом, российский политический дискурс отражает происходящие в стране разнонаправленные политические изменения. Как известно, в прошлом в политической культуре России преобладала письменная традиция [см.: Алтунян, 2006, с. 6–28], однако специфика современного ОПД скорее опре-

деляется ролью политтехнологий (того самого телевизора!). Второй процесс характеризуется тем, что современный ОПД тесно связан с советским: хотя в первые годы после распада Советского Союза имело место отрицание советского официального дискурса, в 2000-х годах многие качества последнего оказались позаимствованными. Это касается заранее заданного круга тем, социально санкционированных оценок, устоявшейся системы фразеологических средств, отобранных традиционно-стереотипных образцов и т.д. Еще один момент, отражающий связь советской политической традиции с сегодняшним днем, – это ритуальный характер коммуникации, когда значение имеет не столько содержание адресуемых властью как единственным значимым политическим актором интенций, сколько сам факт их произнесения в положенных ситуациях. Данное обстоятельство закрепило неумение политической элиты говорить и слушать, стимулируя ее склонность к силовым способам разрешения конфликтов, и нетерпимость к любого рода «инаковости». Кстати, именно эти процессы предопределили состояние политического дискурса на стыке веков и явились одной из причин появления на политическом поле такой фигуры, как второй президент РФ В. Путин. Наконец, не случайно разрастание значения манипуляции в общественной сфере. В стране, политически и социально пассивной, политтехнологи, имиджмейкеры и политические консультанты, обслуживая тех или иных политических акторов, независимо от своих убеждений превращаются в манипуляторов общественным мнением. Опираясь на монополию на средства влияния – телевидение, центральные и местные СМИ – и внимательно изучив настроения российской аудитории, умелый манипулятор способен добиться значительного успеха, направляя общественное мнение в нужное ему русло.

Описанные выше тенденции обусловили повышенную идеологичность и концептуальность ОПД в России, что, в частности, выражается в обилии оценочных суждений даже в информационных статьях. Так исследование, проведенное нами в рамках проекта «Российский журналист в эпоху перемен» в составе научно-исследовательской группы Института массовой коммуникации факультета журналистики СПбГУ несколько лет назад, показало, что в отличие от присущей западной журналистике традиции отделения факта от комментария в российской журналистике на уровне изначальных установок такого отделения не существует.

Еще одна особенность ОПД состоит в его ярко выраженной инфоκραтической направленности. Поскольку в вертикально



интегрированной стране основные интенции всегда идут сверху, адресантам ОПД достаточно не высказываться по каким-то вопросам, – предполагается, что это дает им возможность действовать «по умолчанию». Этим объясняется, к примеру, и то, как протекали антигрузинская кампания осенью 2006 г. [подробнее см.: Негров, 2007.] или антидаджикская кампания осени 2011 г., а также рост националистических и ксенофобских настроений последних нескольких лет в целом. Таким образом, представленность той или иной конкретной ситуации или факта в ОПД является важным сигналом как для адресатов, так и для исследователей.

С учетом вышеизложенного неудивительно, что, во-первых, слова российской политической элиты часто не соответствуют ее делам, желаемое выдается за действительное, истинные мотивы маскируются; и, во-вторых, публичные позиции важнейших политических акторов нередко меняются. Если в 1990-х годах почти за каждым публичным адресантом политического дискурса стояла четкая картина мира, свой ментальный мир, который разительным образом отличался от ментального мира коллег, то теперь многие политические акторы растворяются в коллективном тренде ОПД.

### **Тактики и стратегии охранительного дискурса в современной России**

С учетом вышеописанных особенностей, для анализа ОПД как нельзя лучше подходят методы критического дискурс-анализа, направленные на «выуживание» скрытой информации, стоящей за тем или иным текстом, раскрытие истинных мотивов и интенций адресантов дискурса и, как следствие, определение истинной «повестки дня» политической элиты. Предметом нашего изучения стал охранительный дискурс, который, с одной стороны, следует в фарватере ОПД, а с другой – чувствует себя намного более свободным – как в стиле, тезаурусе и ретиальности, так и в тех фундаментальных предпосылках, строящихся на классическом разделении свой / чужой, из которых вытекают его основные интенции, касающиеся текущей политической повестки дня.

Объектом анализа, в качестве типичных трансляторов охранительного дискурса последнего времени, нами выбрана петербургская еженедельная газета «Смена», входящая в Балтийскую медиагруппу, и интернет-площадка [odnako.org](http://odnako.org), связанная с одноименным журналом, возглавляемым известным тележурнали-

стом, ведущим Первого канала Михаилом Леонтьевым. Выбор указанных СМИ не случаен: газета «Смена» имеет тираж в 10 000 экземпляров, широчайшую сеть распространения (в том числе у всех станций метрополитена), подробную телепрограмму, интерактивный сайт, рекламную сеть, использующую все возможности Балтийской медиагруппы (телеканала «100 ТВ», газет «Невское время» и «Вечерний Петербург», радио «Балтика»). Сочетание общественно-политической общероссийской тематики с множеством «местных» новостей – от подробного описания жизни и быта игроков футбольного клуба «Зенит» или хоккейного СКА до афиши петербургских культурных событий – делает газету одной из ведущих на рынке «желтой» петербургской прессы, которая входит в круг основных трансляторов официального и охранительного дискурсов (ср., к примеру, общероссийские газеты «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты»). Ресурс [odnako.org](http://odnako.org), спонсируемый банковской группой ВТБ, объединяет таких известных своей «прокремлёвской» позицией персон, как журналисты М. Леонтьев, М. Шевченко и П. Толстой, экономист М. Хазин, политический консультант А. Вассерман и др. Данный ресурс аффилирован с еженедельным журналом в «глянцевом» формате, который имеет широкую сеть распространения и сравнительно невысокую цену (менее 40 рублей), использует инновационные технологии с целью привлечения на сайт молодежи («всплывающие окна», контекстная реклама). Все это работает на то самое электорально значимое большинство, которое является основным адресатом официального и охранительного политических дискурсов.

В табл. 1 отражены заголовки главной темы каждого номера газеты «Смена» за период с 26 сентября 2011 г. (первый выпуск после внеочередного съезда партии «Единая Россия», на котором было озвучено решение о том, что действующий премьер-министр В. Путин будет выдвинут партией для участия в выборах президента, а сам президент Д. Медведев будет первым номером в избирательном списке партии на выборах Государственную Думу) по 5 марта 2012 г. (первый выпуск после состоявшихся и прошедших в один тур выборов Президента РФ).

### Главные темы в газете «Смена» за период 26.09.11–05.03.12

№	Номер	Дата	Главная тема
1.	38 (24 709)	26.09.11	Снова будет Путин
2.	39 (24 710)	03.10.11	В сто лет один ответ: Я люблю «Зенит»!
3.	40 (24 711)	10.10.11	«Питерский Каттани» не ушел от «Спрута»
4.	41 (24 712)	17.10.11	Все течет, но ничего не меняется?
5.	42 (24 713)	24.10.11	Банному клубу «Смены» – три года
6.	43 (24 714)	31.10.11	Реклама совсем низко пала
7.	44 (24 715)	07.11.11	Полиции здесь не место?
8.	45 (24 716)	14.11.11	Сбились со счетчика
9.	46 (24 717)	21.11.11	Андрей Кивинов: «Надоели мне эти детективы»
10.	47 (24 718)	28.11.11	«Сделаю все для того, чтобы Россия развивалась». Кандидат Путин
11.	48 (24 719)	05.12.11	Пришел голосовать – вставай в очередь!
12.	49 (24 720)	12.12.11	США готовят для России «Снежную революцию»
13.	50 (24 721)	19.12.11	Владимир Путин: взгляд в будущее
14.	1 (24 724)	10.01.12	Здравствуй, 2012-й!
15.	2 (24 725)	16.01.12	Горбачёв пойдет под суд?
16.	3 (24 726)	23.01.12	«Мой муж стал пешкой в политической игре»
17.	4 (24 727)	30.01.12	Плющенко вернулся на ледовый трон
18.	5 (24 728)	06.02.12	«Оранжевисты» получили отпор
19.	6 (24 729)	13.02.12	Стабильности – да! Революции – нет!
20.	7 (24 730)	20.02.12	Голосовать не сердцем, а мозгами!
21.	8 (24 731)	27.02.12	«Мы с вами любим Россию!»
22.	9 (24 732)	05.03.12	На участках все путем!

Итак, можно зафиксировать, что в 22 выпусках газеты главная тема так или иначе касалась политической ситуации в стране чуть больше, чем в половине случаев – в 12 выпусках, но распределены они были крайне неравномерно. Если в «думскую» кампанию (26.09.11–05.12.11) таких тем было всего три, причем все они были выдержаны в практически нейтральном ключе («Сделаю все для того, чтобы Россия развивалась». Кандидат Путин) – в последнем перед выборами в ГД выпуске, «Пришел голосовать – вставай в очередь!» – по итогам выборов, «Снова будет Путин» – сразу после прошедшего съезда), то в рамках прези-

дентской кампании подобных тем было уже девять (81,9%), причем при одной более-менее нейтральной («Стабильности – да! Революции – нет!») и четырех, имеющих позитивную окраску («Владимир Путин: взгляд в будущее», «Голосовать не сердцем, а мозгами!», «Мы с вами любим Россию!» и «На участках все путем!»), четыре были с ярко выраженной негативной коннотацией – как направленной во внешний мир (естественно, связанный с антиамериканским трендом, – «США готовят для России “Снежную революцию”» сразу после первых митингов против официальных результатов выборов в ГД и «Мой муж стал пешкой в политической игре» о суде над гражданином РФ В. Бутом, обвиняемым США в незаконной торговле оружием), так и связанной с врагами внутренними («Горбачёв пойдет под суд?» и «Оранжевые» получили отпор»).

В табл. 2 отражены все заголовки статей и заметок газеты «Смена» за самый острый период президентской кампании 2012 г. – с начала февраля по начало марта (собственно, дня выборов), разделенные по принципу «Свой / Чужой». К первой позиции отнесена вся информация, касающаяся оценки действий политической власти в целом и В. Путина в частности, причем как прямая (через описание и оценку конкретных действий), так и косвенная (через трансляцию позиции лидеров общественного мнения или, в принципе, известных, публичных или обладающих определенным статусом персон), ко второй – оценка действий оппозиционно настроенных к действующей власти сил – как «системных» (официальных противников В. Путина на президентских выборах – лидеров КПРФ Г. Зюганова, «Справедливой России» С. Миронова, ЛДПР В. Жириновского и самовыдвиженца М. Прохорова), так и «несистемных», ставших формальными и неформальными лидерами широких протестных движений, начавшихся после состоявшихся 4 декабря 2011 г. выборов в Государственную Думу и оглашения их результатов, не признанных этой частью общества легитимными.

## Заголовки в газете «Смена» за период 06.02.12–05.03.12

№	Дата	«Свой»	«Чужой»
1	2	3	4
1.	06.02.12	<p>Исторические параллели: «Каждый должен думать о том, чтобы самому жить честно». Вдова Солженицына призвала протестующих перечитать его статью о Февральской революции;</p> <p>Сократить наше отставание от стран-лидеров, а потом – и обогнать их. Владимир Путин обрисовал план развития экономики России. Владимир Катенёв: «Еще десять лет такого же спокойного развития – и мы будем жить в новом обществе»;</p> <p>Хорошая новость: Старость стала пусть ненамного, но обеспеченнее. Рост пенсий в России уверенно обгоняет инфляцию;</p>	<p>Наконец-то: «Оранжевисты» получили отпор. В Москве прошел митинг в поддержку Владимира Путина, на котором собрались 130 тысяч человек. Люди помнят, что именно Путин спас страну от развала. Выборы покажут, кто прав. «Победа будет за нами!»;</p> <p>Обида: Алексей Девотченко лишился сержи. Оппозиционно настроенного актера избили в московском метро;</p> <p>Все кончено: Фiasco бандерлогов. Оппозиция сварилась в собственном соку. Москва. Нацисты в масках тоже пришли помитинговать против Путина. Бандерлоги занимают круговую оборону. «Поэт» Быков, матерщинник Немцов и матерщинник Удальцов. Петербург. По всему маршруту шествия «белоленточная» интеллигенция оставляла матерные следы своей жизнедеятельности;</p> <p>На грани безумия: Лондонский пес сорвался с цепи. Борис Абрамович Березовский призвал казнить Путина;</p> <p>Маски сброшены: Террористов радуют уличные протесты. Террорист Доку Умаров – против Путина. А ты?</p>
2.	13.02.12	<p>Власть и общество: Доверенные лица пойдут в народ. В «Список Путина» включены 499 человек, большинство которых знает вся Россия;</p> <p>Честный разговор: «Раньше не было ни ресурсов, ни условий». Премьер-министр ответил своим критикам и объяснил, почему не все удалось сделать в последние годы;</p> <p>«Настоящая демократия не создается одномоментно». Владимир Путин рассказал, как государство будет меняться вслед за меняющимся обществом. Сергей Лисовский: «Идеологический вакуум восполнен». Яков Евглевский: «Власть начала мыслить концептуально»;</p>	<p>Стабильности – да! Революции – нет! Под таким лозунгом прошли массовые митинги в райцентрах Ленинградской области. Не дадим развалить страну. Жители Ленинградской области не хотят прихода к власти «оранжистов»;</p> <p>Иван Краско: «У лидеров оппозиции – недостаток культуры», «Весь словарный запас оппозиции – митинговые речёвки». Народный артист России считает крик признаком слабых аргументов;</p> <p>Избитый осел и разорванный на части Навальный. Оппозиционные кандидаты в президенты соревнуются в креативности и раздают посты в своих будущих правительствах;</p> <p>Оценка ситуации: Максим Шевченко: «Внутренний враг сегодня страшнее внешнего». Известный телеведущий – о том, кто развалил СССР и кто мечтает о распаде России. «Россия очень уязвима»;</p>

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
		<p>«Интернет в России – больше чем Интернет»; Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал идеи Владимира Путина о необходимости использования Сети для развития демократии;</p> <p>Сырьевая экономика – это не так уж и плохо. Пока модернизация не принесла своих плодов, России надо с толком использовать свои нефтегазовые преимущества;</p>	<p>Их нравы: «Немцов схватил меня за шею и толкнул в грудь...» Студент Максим Перевалов загремел в больницу после случайной встречи в аэропорту с одним из лидеров оппозиции. Оппозиционер не сдержался?</p>
3.	20.02.12	<p>Голосовать не сердцем, а мозгами! В митинге в поддержку Путина приняли участие 60 тысяч горожан. Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Митинг показал, кого поддерживает народ;</p> <p>«Справедливое устройство общества – главное условие развития страны». Владимир Путин намерен воссоздать рабочую аристократию, повысить зарплату профессорам и снизить цены на жилье;</p> <p>Владимир Еременко: «Путин предложил новые подходы к решению социальных проблем»;</p> <p>Рудольф Фурманов: «Мы должны научиться слышать друг друга». Петербургский режиссер убежден: на ненависти демократии не построишь;</p> <p>Вернуть раку поможет Путин? Путин спас «Томь»;</p>	<p>Участники многотысячного митинга в поддержку Путина, состоявшегося в Петербурге, сказали «нет» «оранжевой чуме»;</p> <p>Александр Проханов: «“Черти 90-х” снова врываются в Кремль». Писатель-патриот считает, что «оранжисты» могут привести нашу страну к большой крови;</p> <p>Взгляд мудреца: Анатолий Вассерман раскрыл тайный план США. Легендарный эрудит – о том, почему США выгодно дестабилизировать ситуацию в России. «Мы виноваты тем, что хочется им кушать... Нестабильность – главный экспортный товар Америки», «Оппозиционеры показали свой непрофессионализм. Не исключаю громкие преступления»;</p> <p>«Лига избирателей» готовится к Майдану? Белым ленточкам противопоставили «Ленту России». Вместо капитулянтского символа лучше носить на груди российский триколор; А не вы ли «романовскую» доску краской облили? «Смена» проверила питерских ультралибералов на причастность к акту вандализма;</p>
4.	27.02.12	<p>Тамара Москвина и Николай Валув: «Здорово, что у нас такой спортивный премьер», «Все хорошее может быть перечеркнуто в один миг», «Балаган нам не нужен – нужна стабильность»;</p> <p>«Мы с вами любим Россию!». Митинг в поддержку стабильности, на котором выступил Владимир Путин, собрал 130 тысяч человек;</p> <p>Слово народу: На митинг, как на праздник. «Путин – настоящий мужик!»; «В.В. Путин = стабильность!»;</p>	<p>Будут ли после выборов массовые беспорядки?</p> <p>Российский триколор роднее оппозиционных белых ленточек. «Россию не сдать!» – таков девиз общественного движения “Лента России”»;</p> <p>Эмир Кустурица – против революций. «Не хочу увидеть гибель славян»; «Если бы я был американцем, то беспощадно критиковал бы Путина, но если бы я был русским – поддерживал бы его во всем»;</p> <p>Сергей Селин: «Оппозиция нападает на свою страну»; «Несогласные Бубукины»; «Пусть они самоликвидируются!»;</p>

1	2	3	4
		<p>Политическое ясновидение: «Есть лидер, ведущий к успеху». Предсказатели – о будущем России после выборов; Сергей Марков: «Гражданская война в России невозможна!» Ирина Скрипачёва: «Хватит с нашего поколения потрясений!» Сергей Крикалёв: «Угроза распада страны до сих пор не исчезла»; Валерий Фокин: «Надо исправлять ситуацию пошагово»; Алексей Касатов: «В хоккее играют настоящие премьеры»;</p>	<p>«Битва за Россию продолжается. Победа будет за нами!». На многотысячном митинге в «Лужниках» Владимир Путин призвал сограждан любить свою страну; Время защищать Отечество. Не надо «заглядывать за бугор»; Перестройка. Вы помните, как это было? Пустые полки магазинов. Потеря сбережений. Развал Союза. Сплошная говорильня. Противники стабильности мечтают о новой перестройке; «Яблочники» будут портить бюллетени. Обиженная партия призвала своих сторонников голосовать «против всех»; Виктор Ющенко поддержал «Эхо». Лидер украинских «оранжистов» выступил в защиту российской либеральной радиостанции; Девяностые. Вы помните, как это было? Всеобщая нищета. Либералы в Кремле. Приватизация для своих. Дети-«бизнесмены». Противники стабильности ностальгируют по страшным ельцинским годам; Стас Пьеха: «Всегда проще винить в неудачах власть, а не самого себя»; «Честные» выборы. Вы помните, как это было? Пляшущий Ельцин. Да-да-нет-да. Коробка изпод ксерокса. Расстрел парламента. Противники стабильности знают толк в «честных» выборах. «Честно» – это когда побеждают они; «Демократия» на экспорт. Вы помните, как это было? Бомбежки Югославии. Вторжение в Ирак. Создание марионеточных режимов. Убийство Каддафи. Противники стабильности поклоняются Западу. Их бог – доллар; Не дай бог, чтобы это повторилось...</p>
5.	05.03.12	<p>На участках все путем! «Россию уважают, когда она сильна». Владимир Путин намерен продолжать курс на укрепление безопасности в мире.</p>	<p>Александр Сокуров: «Крикуны не слышат, когда звонит колокол»; Каждый либерал сходит с ума по-своему; Позор: Парфенов и Собчак «попрошались» с Медведевым. Действующего президента России унизили матерной песенкой; Бесовщина: Шабаш в храме Христа Спасителя. Лесбийские активистки, протестующие против Путина, оскорбили чувства верующих. Последняя гастроль: «Гражданин поэт» съездил в Лондон. Выступление Быкова и Ефремова проанонсировано нецензурной афишей; «Чёрные» технологии: На ворах и шапка горит. В Интернете гуляют «видеоролики из будущего» – о фальсификациях на президентских выборах; Прогноз политологов: Россию ждёт весна протестов; Слово народу: «Наблюдатели провоцировали конфликты».</p>

Выводы достаточно очевидны. В рамках дихотомии «Свой / Чужой» в качестве интерпретации «своего» активно используются стратегии апологизации персоны, оправдания политических действий, умалчивания, в случае же апелляции к «чужому» – стратегии дискредитации и диффамации, утаивания и предоставления неполной информации. В обоих случаях активно используются манипулятивные стратегии, обращенные, в первую очередь, к эмоциональной сфере человека: гиперболизация негативного образа, активное формирование образа врага и нарастающей угрозы. Для реализации данных стратегий используется широкий спектр языковых и неязыковых средств: оценочная лексика, дейктические знаки при номинации сторон, использование активного и пассивного залога, вводных конструкций, метафор и т.д.

Схожую картину дает и анализ ресурса [odnako.org](http://odnako.org). В табл. 3 представлены заголовки основных тем выпусков журнала за период с 1 октября 2011 г. по 3 марта 2012 г.

Таблица 3

**Заголовки журнала «Однако» за период 01.10.11–03.03.12**

№	Номер	Дата	Главная тема
1.	33 (97)	01.10.11	Новая индустриализация–3
2.	34 (98)	08.10.11	Парадоксы поддержки
3.	35 (99)	15.10.11	Вторая волна
4.	36 (100)	22.10.11	# 100
5.	37 (101)	29.10.11	Чуден Днепр
6.	38 (102)	05.11.11	День народного единства
7.	39 (103)	12.11.11	Отмороженная Европа
8.	40 (104)	19.11.11	Тупик современного развития
9.	41 (105)	27.11.11	Развилка миграционной политики
10.	42 (106)	03.12.11	Убрать Сирию
11.	43 (107)	09.12.11	Спасибо, что живой
12.	44 (108)	20.12.11	За Еврассию
13.	45 (109)	24.12.11	Революция белых удавок
14.	01 (110)	04.02.12	Генерал Мороз опять спасает Россию?
15.	02 (111)	11.02.12	Катар мировой демократии
16.	03 (112)	18.02.12	Третья февральская?
17.	04 (113)	25.02.12	Послепятого
18.	05 (114)	03.03.12	Из болота тащить бегемота

Как мы видим, в восьми из 18 выпусков журнала главная тема была связана с текущей политической ситуацией (44,5%), но опять же неравномерно: только один раз – в ходе думской кампа-



нии, и семь раз – в ходе событий, последовавших за думскими выборами, и освещения президентской кампании. Необходимо заметить, что в этих семи случаях акцент на апологизации «своего» делался только два раза («Спасибо, что живой» и «Из болота тащить бегемота»), а пять раз имела место тактика диффамации «чужого» («За Еврассию», «Революция белых удавок», «Генерал Мороз опять спасает Россию?», «Третья февральская?» и «Послепятого»). Журнал регулярно уделял внимание международной тематике, причем преимущественно или в конфронтационном ключе («Убрать Сирию» и «Катар мировой демократии»), или в резко негативном по отношению к так называемому «атлантическому» миру («Отмороженная Европа», «Тупик современного развития»).

Табл. 4 отражает заголовки заметок в блогах наиболее известных создателей контента исследуемого ресурса – политического консультанта и неоднократного победителя различных интеллектуальных игр А. Вассермана, журналиста и одного из лидеров фанатского футбольного движения Д. Лекуха, шеф-редактора самого веб-проекта «Однако» В. Мараховского, интернет-журналиста, тесно связанного со структурами ФСБ, Р. Носикова, издательского директора всей группы «Однако» А. Сорокина, шеф-редактора проекта «Однако. Украина» С. Уралова и экономиста и президента компании экспертного консультирования «Неокон» М. Хазина.

Полученные данные также наглядно иллюстрируют использование всего арсенала тактик и стратегий охранительного дискурса. Основной пафос заметок направлен против «оранжевой» угрозы, интерпретируемой как серьезнейшая опасность не просто для правящего политического режима, но для стабильности всей политической системы и страны в целом. В данном случае преследуется не только цель диффамации и дискредитации основного противника, но и задача демонстрации неразрывной связи между политической властью «здесь и сейчас», олицетворяемой лично В. Путиным, и самого существования России. Естественно, основным выгодоприобретателем такого гипотетически апокалипсического развития событий выступает Запад в целом и Соединенные Штаты Америки конкретно (иногда с помощью своих «сателлитов»; см., к примеру: «Грузия открывает пути отхода инженерам “болотного бунта”»).

**Заголовки заметок ведущих блогеров ресурса «Odnako.org»  
за период 01.12.11.–03.03.12**

№	Блогер	Заголовки
1	2	3
1.	А. Вассерман	<p>«В долгосрочной перспективе мы все покойники». К размножению миллиардеров в кризис»;  Операция «подставка чёрного»: почему Обама не хочет вторгаться в Сирию сейчас;  Первый шаг требует следующего. О том, чья победа;  Наплевать и забыть. О верном белорусском отношении к европейским санкциям;  Выбор Януковича: сверженный, подследственный или полпред по Малороссийскому ФО»;  О причинах популярности «альтернативной фантастики»: Способ понять и изменить реальность;  Диктатура «чистых». К планам либералов на «после переворота».</p>
2.	Д. Лекух	<p>Прощение – для тех, кто его просит. К кампании в защиту осквернения;  Пара слов в оффлайне. Избиение Века как постскрипtum к твиттер-надеждам;  Государственное строительство vs творчество неудачников;  Это был референдум. К победе в первом туре и «отличном тренде Болота»;  Инстинктивный имперский выбор большинства;  Как объявляют «гражданскую войну»;  Геоэкономические фантазии, или Еще раз о генетическом безмозглом родстве «майданных» и «болотных»;  Симметричная глупость. Как охраниться от гламурных охранителей.</p>
3.	В. Мараховский	<p>Демократизация. Французский «хороший сириец» отвергает диалог с Сирией. Американская «хорошая русская» верит в крах русской власти;  Навстречу весне. «Оранжестам» предписано ложиться под дубинки;  Запуск делегитимизации: западные СМИ внедряют слово «карусель»;  Перестать стесняться этих русских. К премии Солженицына за «порнуху и солдатню»;  О нормальности, или Почему у нас есть будущее;  «Все устали, но кое-кто еще боится». Как западные СМИ освещают кампании «против Чавеса» и «против Путина»;  Эльфы и национальный вопрос. К реакции нац-либералов на статью Путина;  Креативный класс создал утопию для России. Рецензия;  Уважительный повод снести страну.</p>

1	2	3
4.	Р. Носиков	<p>Экономика и стратегия кощунства. Как эффективно бороться за нравственность;          «НАТОвский Шекспир» vs «болотный Пушкин». О фильмах «Кориолан» и «Борис Годунов»;          Спасибо врагу. Четыре причины благодарить организаторов оранжада;          Военно-штабная игра «Выборы»: Президент в кольце врагов и кровь на блюдечке;          «Десталинизация» как угроза суверенитету, или Некоторые особенности русской национальной правозащитности;          Влечение к ответственности. Кто на самом деле будет оппозицией в России;          Анатомия праведной ненависти. К «эффекту Хаматовой»;          На смерть «болотной» оппозиции;          О предателях. К состоявшемуся расколу интеллигенции;          Недержание задних мыслей;          Навальный как побочный продукт Путинского Режима;          Подготовка к «русской весне»: Они хотят парализовать нас отвращением.</p>
5.	А. Сорокин	<p>«Оранжевый всхлип» и возвращение к созидательному русскому проекту;          Роль детонатора взял на себя «поизношенный Плохиш» Зюганов;          Путин: К бою готов;          Развенчан миф о непобедимости хомячков и предателей;          Не дать себя убить;          Если «оранжевое» к Москве не липнет, нам предлагают самоубийство;          К актуальному неюбилею: Коба идет по коридору;          Разминка перед «русской весной»: Методичное выдавливание в Смуту.</p>
6.	С. Уралов	<p>О незаметном подвиге Дмитрия Медведева;          От Майдана до Болотной: Как не стать винтиком провокации. Технологии уничтожения государства;          Грузия открывает пути отхода инженерам «болотного бунта»;          К «скандалу в Южной Осетии»: Они просто хотят быть в Империи.</p>
7.	М. Хазин	<p>О мировом безлидерье, или «Образ будущего» как обязательное свойство великой державы;          К падению американских рынков: Случайная паника из-за излишнего доверия медиаманипуляциям;          Возвращение ответственности. Как Сталин выиграл выборы;          Кидалово как норма «цивилизованного» мира;          Возвращаясь к Фукуяме. Тест на принадлежность «западному проекту»;          Конец среднего класса;          Задачи есть, исполнителей нет. Чиновничество как естественный враг путинской «социалки».</p>

## Заключение

Проведенный нами анализ показал, что стратегически охранительный дискурс действует в полном соответствии с теми целями и задачами, которые ставит перед ним текущая политическая обстановка. В «низкий» сезон, предшествовавший выборам в Государственную Думу, он преследовал преимущественно абстрактные цели, связанные с формированием определенной политической культуры (изоляциялистской, мобилизационной, лояльной к существующему политическому режиму и т.д.), а в период обострения политической ситуации, имевший место после выборов, которые определенная часть общества не признала легитимными, основной задачей стало сохранение политического статус-кво. В свою очередь, тактические задачи охранительного дискурса включали в себя такие приемы, как нагнетание обстановки напряженности, создание ситуации страха и безальтернативности существующему политическому режиму, обильное использование популистских лозунгов, активная апологизация «своего» и не менее активная диффамация «чужого», прибегание к авторитету или, наоборот, отрицательной популярности известных персон (от уважаемых обществом деятелей культуры и искусства до террористов или одиозных политических деятелей), формирование образа врага – как внешнего (США, Запад, китайская угроза), так и внутреннего («пятая колонна», «агенты Госдепа»), создание ощущения ситуации «осажденной крепости» («Россия в кольце врагов») и т.д. Естественно, что все манипулятивные приемы также представлены в полной мере – налицо и тактики убеждения и рациональной аргументации (преимущественно экономической), и крайне экспрессивного убеждения, и откровенного запугивания, и безудержной лести («Народ-богоносец») и т.п.

Поскольку зафиксированные нами стратегии охранительного дискурса направлены не только на ЭЗБ, но и на среднее звено политической элиты (номенклатура уровня исполнения решений, НУИР), для дальнейшего развития ОПД важны его изменения не только сверху, но и на уровне самих средств массовой информации. Запрос на такие изменения существует и у части политической элиты, озабоченной улучшением имиджа страны, и у представителей слабо развитого, но все же существующего гражданского общества, озабоченного своей неспособностью как бы то ни было влиять на формирование текущей повестки дня. Именно в этом желании многих частей нашего общества кроется шанс на развитие политического дискурса в соот-

ветствии с общепринятыми демократическими нормами и реальное движение российского общества в сторону модернизационного развития.

В заключение мы полагаем необходимым подчеркнуть перспективность подходов политической дискурсологии для изучения общественно-политической ситуации в России. В условиях, когда применимость классического политологического инструментария для исследования реальной российской политики вызывает сомнения, возникает необходимость в выработке нового аппарата описания политики, артикуляции новых пространств, где принятие политических решений еще можно зафиксировать. И здесь возможности анализа политического дискурса могут сыграть весьма важную роль.

## Литература

- Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. – М.: РГГУ, 2006. – 384 с.
- Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: УРСС Эдиториал, 2001. – 360 с.
- Водак Р. Специальный язык и жаргон: о типе текста «партийная программа» // Язык. Дискурс. Политика. – Волгоград, 1998. – С. 22–46.
- Гаврилова М.В. Лингвистический анализ политического дискурса // Политический анализ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – Вып. 3. – С. 88–108.
- Герасименко Н.А. Информация и фасцинация в политическом дискурсе // Политический дискурс в России-2. – М.: РОССПЭН, 1998. – С. 20–23.
- Дзялошинский И.М. Роль СМИ в организации диалога власти и общества // Роль СМИ в формировании гражданского общества. – М.: Издательский дом «Хроникер», 2006. – С. 84–86.
- Ильин М.В. Политический дискурс как предмет анализа // Политическая наука. – М., 2002. – № 3. – С. 7–19.
- Негров Е.О. Отношения России с Грузией и Украиной в 2006 г.: опыт анализа официального политического дискурса в РФ // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – СПб., 2007. – Т. 3, № 3. – С. 132–144.
- Негров Е.О. Трансформация официального политического дискурса на российском телевидении (на материалах программы «Времена») // Политический анализ.–2006. – № 7. – С. 34–44.
- Саморукова И.В. Художественное высказывание как литературоведческая категория: постановка проблемы / Научные доклады и лекции Самарского государственного университета. – Самара: Изд-во СамГУ, 2000. – № 3. – С. 4–18.
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. – 326 с.
- Dijk van T.A. What is political discourse analysis? // Political linguistics / Ed. by Blommaert J., Bulcaen C. – Amsterdam: Benjamins, 1998. – p. 11–52.
- Qualitative discourse analysis in the social sciences / Ed. by Wodak R., Krzyzanowski M. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. – 216 p.
- Politically speaking: A worldwide examination of language used in the public sphere. – Praeger: Greenwood publishing group, 1998. – 224 p.

**О.В. Попова**

## **СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО РОССИИ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ 2012 г.**

Название статьи может показаться неожиданным: жанр предвыборных выступлений скорее предполагает определение задач, обращенных в будущее, нежели апелляцию к прошлому. Однако обсуждение того, какой страна будет или должна быть, невозможно без констатации того, чем она является или *не* является в настоящем и прошлом [Малинова, 2011]. Поэтому тема прошлого так или иначе присутствует в предвыборной кампании. При этом предлагаемые трактовки образа государства определяются идеологическими позициями кандидатов, их статусом, скрытыми намерениями и подлинными целями на выборах.

В самом общем виде логику репрезентации прошлого в зависимости от указанных факторов можно представить следующим образом:

1. Политик, стремящийся сохранить свою должность или возвращающийся на определенную статусную позицию, вынужден акцентировать преемственность изменений и идеализировать существующую ситуацию, в крайнем случае выбирая точку зрения «лучшее – враг хорошего»; как представитель политического истеблишмента, стремящийся символически утвердить в головах избирателей мысль о сакральной природе власти и ее легитимности, он с наибольшей вероятностью будет стараться избегать негативных оценок недавнего прошлого своего государства.

2. Политик, действительно стремящийся отобрать должность у инкумбента, прилагает все усилия, чтобы доказать, что сегодняшнее состояние страны – критическое, нуждающееся в ради-

кальных переменах; все его риторические усилия будут направлены на то, чтобы продемонстрировать, что «мы ждем перемен!», что вчерашние заслуги политиков перед страной ничего не значат.

3. Политик, имитирующий активное участие в выборах, будет вынужден критиковать состояние своей страны в некоем прошлом, но выбирать при этом достаточно безопасный вариант, чтобы не навредить своему «спарринг-партнеру», которого он в избирательной кампании на самом деле лишь боится; такая позиция не исключает возможности «частичной критики отдельных недостатков» настоящего.

Результат президентских выборов марта 2012 г. не вызывал сомнений, т.е. стратегически они не были острыми. Все спорные моменты касались только вопросов о возможности второго тура, о количестве голосов, которые получит В.В. Путин, а также о том, кто окажется третьим – М.Д. Прохоров или В.В. Жириновский. Иных интересных линий в выборной кампании не было. Для аналитиков было изначально очевидно, что вторая позиция на «пьедестале почета» достанется Г.А. Зюганову, а аутсайдером окажется С.М. Миронов. Из пяти кандидатов на пост Президента Российской Федерации в 2012 г. «техническими» можно назвать четырех. Не сомневаемся, что президентские амбиции («а вдруг...») при всем реализме оценки этими политиками ситуации были у каждого из них, однако реальные задачи кандидатов очевидным образом отличались от декларируемых.

### **Репрезентация прошлого в программе Г.А. Зюганова**

Несмотря на настойчивую демонстрацию убежденности в победе на президентских выборах, подлинная латентная задача Г.А. Зюганова заключалась в том, чтобы в очередной раз подтвердить свою значимость в поле политики, в первую очередь – в глазах членов КПРФ: в партии уже около десяти лет идут острые, но мало заметные сторонним наблюдателям «бои» за смену лидера. Таким образом, задача была предельно ясной и несложной – в очередной раз занять второе место. Решая эту задачу, Зюганов одновременно подтверждал легитимность притязаний КПРФ на роль главной оппозиционной силы.

С точки зрения дискурсивной стратегии для Г.А. Зюганова чрезвычайно важно было утвердить идеальный образ страны именно в советском, социалистическом прошлом. Была ли эта задача реализована в полной мере? Действительно, образцовое

прошлое для лидера коммунистов – именно 1970-е – начало 1980-х годов. Образ современной России в предвыборной программе Г.А. Зюганова трагичен: катастрофически падает уровень производства, снижается уровень жизни большинства, население вымирает, обороноспособность под угрозой, государственные средства разворовываются и переводятся за рубеж (*«За последние 20 лет Россия понесла огромные потери. Страна вымирает. Нет в ней уголка без погибших деревень. Нет города без загубленных предприятий. Уровень жизни большинства граждан падает. Научно-техническое отставание приобрело угрожающий характер»*; *«разбазаривание российских территорий», «сердюковский погром Армии и Флота», «уничтожено более двух третей промышленного потенциала», «инфраструктура разваливается на глазах», «нефтедоллары за рубежом в качестве “зачачки” для себя и своих банкиров»*) [Предвыборная программа Г.А. Зюганова, 2012].

Будущее – в возвращении прошлого: Зюганов ратует за *«единую систему местных советов», «народный контроль»*, за воссоздание транспортной и энергетической инфраструктуры России (*«будет воссоздана Единая энергетическая система»*), *«продовольственную безопасность страны», «общенародную собственность на природные ресурсы»*. По мнению лидера КПРФ, национализация должна затронуть *«нефтегазовый комплекс, банковскую сферу, энергетику, авиастроение, железнодорожный транспорт»*, т.е. те области, которые обеспечивают национальную безопасность страны, но речи о тотальной передаче собственности на средства производства нет. Необходимы *«созданные советской властью наукограды и другие научные центры»*. Узнаваем и тезис о гарантиях трудящимся на *«достойную оплату и условия труда, на отдых и оздоровление, на повышение образовательного и культурного уровня»* [Предвыборная программа Г.А. Зюганова, 2012].

Вместе с тем, на наш взгляд, как минимум одну значимую возможность, «эксплуатация» которой могла дать дополнительные голоса, лидер коммунистов не использовал. Критика современного российского аппарата управления, раздутого сверх всякой меры и «жирующего» за счет рядовых налогоплательщиков, как и современного российского бюрократа-взяточника, бессовестно «осваивающего» бюджет страны в собственных целях, нашла бы отклик в сердцах многих избирателей. Эти образы современного бюрократа-коррупционера выглядели бы особенно ужасающе на фоне карикатурно-забавных бюрократов-крючкотворцев периода СССР, которых критиковали в основном за неоправданное затягивание



сроков решения проблем «простого советского человека». Однако эта тема в предвыборной риторике Г.А. Зюганова фактически игнорировалась [Предвыборная программа Г.А. Зюганова, 2012].

Кроме того, важными, если не основными, объектами его критики должны были бы стать система производственных отношений и характер собственности внутри страны, однако лидер российских коммунистов делает акцент на том, что обанкротилась именно мировая капиталистическая система, ввергшая «мир в острейший кризис, жертвой которого стала и наша страна». Среди потенциальных угроз, нависших над страной, он называет опасность «*колоссального социального неравенства*», т.е. получается, что в настоящем России социально несправедливого деления на социальные страты в зависимости от уровня дохода и собственности как бы и не существует. Тема необходимости возрождения российской деревни в программе Г.А. Зюганова четко отсылает нас к идеальному прошлому в советском времени («*На селе будут воссозданы учреждения культуры, школы, детские сады, больницы и поликлиники. Мы гарантируем полную газификацию села*» [Предвыборная программа Г.А. Зюганова, 2012]).

### **Репрезентация прошлого в программе В.В. Жириновского**

Задача В.В. Жириновского также была вполне традиционной: требовалось возбудить эмоции ради поддержания интереса граждан к выборам. Хотя по российскому законодательству барьер явки избирателей отменен, легитимность власти требует не только ее «законности», но и демонстрации поддержки политического процесса значительным количеством граждан. Если говорить о внутренней мотивации участия В.В. Жириновского в выборах, то она, несомненно, была связана с получением дополнительных гарантий благополучия ЛДПР как «семейного бизнес-проекта», призванного канализировать в «нужное», с точки зрения политического истеблишмента, русло недовольство маргиналов властью и режимом. При этом следует иметь в виду, что число сторонников ЛДПР не превышает 11–12%, однако личный антирейтинг Жириновского чрезвычайно высок – он больше, чем у любого другого политика, участвовавшего в президентских выборах. В силу указанных обстоятельств у В.В. Жириновского была относительная свобода выбора: он мог критиковать любой отрезок отечественной истории, включая и современный.

В программе В.В. Жириновского есть несколько фрагментов, которые дают четкое представление об отношении этого политика к прошлому и настоящему России [Предвыборная программа В.В. Жириновского, 2012].

Во-первых, его симпатии явно на стороне самодержавной России конца XIX в. с ее *«общинностью»* и унитарным государственным устройством (*«Нужно уйти от национально-республиканского устройства страны и перейти к территориально-административному»*) [Предвыборная программа В.В. Жириновского, 2012]).

Во-вторых, Советскую Россию на протяжении всей ее истории Жириновский представляет как преступное государство – это антипод его идеала (*«Только с 1918 по 1924 г. было уничтожено 30 миллионов русских людей. Преступления, не имеющие срока давности...»*) [Предвыборная программа В.В. Жириновского, 2012]). Но при крайне негативном отношении к Советскому Союзу в предвыборной программе В.В. Жириновского есть прямые указания на необходимость восстановления ряда важнейших принципов существования этого государства, касающихся прежде всего области экономики. Так, он говорит о необходимости *«восстановить разрушенную в 1990-е годы промышленность»* (*«нам нужна индустриализация»*), *«воссоздать разрушенные национальный и региональные рынки труда»*, заново освоить Сибирь и Дальний Восток, в том числе за счет *«восстановления северного коэффициента»*, ренационализировать или передать в коллективную собственность работникам добывающие или перерабатывающие сырье предприятия, *«превратив их в государственные и народные... акционерами которых будут все граждане России, чтобы недра обогащали весь народ»*. Очень по-советски звучат (т.е. они точно воспроизводят практику советского времени) и некоторые предложения, связанные с социальной и культурной политикой (*«всем нуждающимся родителям государство должно гарантировать место в детском дошкольном учреждении для ребенка с 1,5 лет»*; *«развивать и всячески поддерживать художественную самодеятельность»*; *«необходимо нести в массы подлинное искусство»*; *«в сельской местности следует запретить закрывать малокомплектные сельские школы... надо понимать, что закрытие школы – это начало пути по исчезновению данного населенного пункта»*) [там же]).

Программа В.В. Жириновского завершается словами о том, что *«Россия двинется к новому могуществу и величию»* [Предвыборная программа В.В. Жириновского, 2012]. Для него идеал –

одновременно в прошлом и будущем; в настоящее же время страна не является тем образцовым мощным государством, каким была ранее. Отсчет этого идеального времени следует вести от 862 г.; необходимо отпраздновать 1150-летие Русского государства, *«сделать это широко и торжественно в Великом Новгороде летом 2012 г. и объявить этот день национальным праздником»* [там же].

Таким образом, мы видим в программе В.В. Жириновского достаточно противоречивый образ «идеального прошлого» страны. Формально он апеллирует к давнему досоветскому прошлому, но при этом в образе идеального будущего четко просвечивают черты Советской России. При этом В.В. Жириновский старательно избегает критических оценок состояния Российского государства в настоящем.

### **Репрезентация прошлого в программе С.М. Миронова**

На выборах 2004 г. С.М. Миронов был исключительно удобным техническим спарринг-партнером В.В. Путина; тогда его основная задача заключалась в недопущении технической отмены выборов вследствие возможного отказа других кандидатов от участия в них. В 2012 г. ситуация существенно изменилась. События, связанные с утратой С.М. Мироновым поста спикера Совета Федерации весной 2011 г., нападки «Единой России» в адрес «Справедливой России» должны были побуждать к критике существующего положения дел в современной России. Вместе с тем перед ним как лидером партии стояла задача закрепления успеха «справедливороссов» на думских выборах. Для личной политической карьеры С.М. Миронова было чрезвычайно важно символически подтвердить свой статус в высшем эшелоне политического класса. Таким образом, формально у лидера «Справедливой России» были стимулы критиковать действующую власть, а значит – недавнее прошлое, однако этого не произошло.

В его программе отсутствуют прямые оценки событий истории, в том числе – и новейшей. Косвенно в качестве отсылки к прошлому можно рассматривать репрезентацию России как *«великой державы»*, но это касается исключительно международного статуса, внешнеполитического курса и обороноспособности страны и не затрагивает характеристик эффективности деятельности государственного аппарата в области внутренней политики. Программа Миронова позиционировалась как социал-демократическая, а потому акцент был сделан на необходимости развития

*«справедливого государства»*, со всеми соответствующими атрибутами: поддержкой отечественного среднего бизнеса, прогрессивной шкалой налогов, введенем «закона о роскоши», развитием социальных программ для большинства категорий населения (не должны быть объектом заботы, пожалуй, только олигархи). Из позитивных характеристик современной России назван только один факт – то, что она является и должна оставаться *«активным участником глобальной борьбы с международным терроризмом»*. Примечательно, однако, что в программе, где подробнейшим образом прописаны все направления социал-демократических реформ, отсутствует отсылка к какому-либо историческому периоду жизни нашей страны, к какому-либо ее конкретному образу. Символический смысл такой позиции заключается в том, что преобразования начинаются после президентских выборов как бы с нуля. Возникает вопрос: означает ли это, что С.М. Миронов не видит проявлений в общественно-политической жизни страны традиций и норм, порожденных самой историей России, не признает существования накопленных проблем постсоветской России, которые могут препятствовать переходу от продекларированной в последнее десятилетие политики «социального консерватизма» к социал-демократической модели развития страны?

### **Репрезентация прошлого в программе М.Д. Прохорова**

Наибольший интерес представляла позиция новичка президентской гонки М.Д. Прохорова, третьего в российском списке предпринимателей, составленном «Forbes». Прохоров, который стал долларовым миллиардером благодаря грабительским залоговым аукционам 1990-х годов, но при этом утверждал, что заработал первоначальный капитал, работая грузчиком по ночам в студенческие годы, прославился не только «куршевельским весельем» начала 2000-х годов, но и последовавшим в конце апреля 2010 г. предложением увеличить на треть продолжительность рабочей недели (с 40 до 60 часов) без оплаты сверхурочных работ. Его участие в президентской гонке-2012 после неудачного «дебюта» в качестве лидера «Правого дела» было весьма неожиданным: как известно, возглавив либеральную партию, созданную по указке из Кремля, он попытался действовать независимо. Его участие в президентских выборах стало прекрасной возможностью предотвратить массовое голосование «рассерженных горожан» за Г.А. Зюганова и снизило вероятность второго тура до нуля.

В своей программе М.Д. Прохоров при описании настоящего и прошлого страны использует качественную характеристику «настоящее» («*настоящее прошлое*», «*настоящее настоящее*», «*настоящая экономика*» и т.д.) [Предвыборная программа М.Д. Прохорова, 2012]. Это не просто ход, привлекающий внимание избирателей. Используя подобные характеристики, он декларирует лицемерие политического истеблишмента при характеристике существующих экономических, социальных и политических отношений в современном Российском государстве. Фактически М. Прохоров – единственный из кандидатов, кто при оценке сегодняшней России ставит вопрос о неравенстве политических и социальных прав представителей разных конфессий.

Значимой границей прошлого для него является советское время, в котором он выделяет только негативные, трагические события: «*...войны, террор, культ личности – нуждаются в осмыслении, предании окончательной гласности и честной, адекватной оценке*» [Предвыборная программа М.Д. Прохорова, 2012]. Ничего иного, что заслуживало бы восхищения, памяти, использования в будущем как конструктивного, позитивного опыта, в этом советском прошлом, по его мнению, нет. История России в XX в. рассматривается им лишь как эпоха «*революций и войн*». Он провозглашает в качестве цели, чтобы наша «*страна стала обществом равных возможностей, в котором главной ценностью является человеческая личность и всемерно утверждаются принципы уважения друг к другу и взаимопомощи*» [там же], следовательно, отказывает России не только в постсоветском настоящем, но и в советском прошлом в тех принципах, которые декларировались как основополагающие для советского строя: социальное равенство и межличностное доверие. Конечно, следует признать, что в советское время интересы государства доминировали над интересами отдельной личности<sup>1</sup>, однако все другие перечисленные характеристики прогрессивной России будущего по сути воспроизводят базовые характеристики позднего советского общества.

Говоря о том, что «*Россия все еще продолжает быть великой страной*», он тем не менее считает ее «*аутсайдером мирового процесса*», хотя она может стать «*самой образованной, культурной, свободной и процветающей страной третьего тысячелетия*».

---

<sup>1</sup> Достаточно вспомнить слова из песни Л.И. Ошанина «Тревожная молодость»: «Жила бы страна родная, и нету других забот»...

тия». Рецепт – «свободный человек в свободной стране». В современном российском обществе отсутствуют «свобода и достоинство... человека... доверие в отношениях между гражданами и государством», не защищены права личности и собственности, действуют законы, противоречащие букве и духу Конституции страны, нет свободы СМИ и т.д. [Предвыборная программа М.Д. Прохорова, 2012]. Таким образом, политический транзит из прошлого в настоящее связан со сменой тоталитаризма на авторитаризм, а транзит в будущее – не просто в демократию, но в абсолютно либеральные реформы во всех сферах жизни общества и государства. Вся программа М. Прохорова проникнута духом экономического либерализма: госкорпорации – «под нож», никакого контроля государства даже в тех областях, которые связаны с обеспечением национальной безопасности, полная приватизация всего и вся, долгосрочный мораторий на изменение налоговой политики. Весьма симпатичной для многих избирателей оказалась и оценка Прохоровым такой характеристики современной власти, как отсутствие у нее ответственности перед гражданами, населением страны. Неудивительно, что главной группой поддержки Прохорова на выборах стала молодежь в крупных городах и представители среднего бизнеса, до сих пор не очень активно участвовавшие в голосовании.

## **Репрезентация прошлого в программе В.В. Путина**

Задача В.В. Путина заключалась в триумфальном возвращении на пост первого лица государства. Это требовало достаточно высокой явки избирателей, однако на решение данной задачи работали протестные общественные настроения после думских выборов 4 декабря 2012 г. Кроме того, хотя формально для обретения поста президента требовалось 50% голосов плюс один голос, было очевидно, что в ситуации жесткого недоверия населения к подсчету голосов на выборах подобный результат будет в общественном мнении трактоваться как фактическое поражение («Если официально Путин набрал только половину голосов пришедших на выборы избирателей, сколько же людей за него проголосовало в действительности?...»). Необходима была убедительная и очевидная победа. С этой точки зрения на обеспечение легитимности результатов избрания В.В. Путина в первом туре в глазах большей части российского общества работало очень многое, в том числе: а) огромные бюджетные затраты на веб-камеры на большинстве изби-

рательных участков (отметим, что просмотр прямой трансляции подсчета голосов в день выборов на ряде участков показал, что некоторые из видеокamer оказались отключены или заклеены скотчем, так что можно было наблюдать «черный квадрат Малевича», а некоторые демонстрировали стену и опустевшие столы и стулья членов избирательных комиссий, т.е. ход подсчета голосов визуально проконтролировать было невозможно); б) установленные прозрачные урны для голосования (а как же тайна волеизъявления граждан?); в) участие в выборах М.Д. Прохорова (появление нового лица, за которое могли отдать свои голоса граждане, недовольные ситуацией в стране); г) достаточно снисходительная политика федеральных и региональных властей в отношении «рассерженных горожан» в период декабря 2011 г. – февраля 2012 г. (при жестко-негативном отношении В.В. Путина к ним; достаточно вспомнить его высказывания по поводу «похожих на презервативы белых ленточек» и отсутствия среди протестующих людей тех, с кем он мог бы встретиться для обсуждения точки зрения участников протеста); д) очень быстро объявленные ЦИК результаты голосования – 63,6% голосов избирателей, отданных за кандидата № 5 в списке (расхождение с оценками независимых организаций и ассоциаций были, но и они признали, что В.В. Путин в первом туре набрал более 50% голосов).

Программа В.В. Путина, подготовленная еще осенью 2011 г., была размещена на его предвыборном сайте [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]. Развитие экономической и политической ситуации в стране в конце 2011 г. потребовало определенных корректировок его политической позиции, поэтому в рамках реализации «крейсерской» информационной стратегии в течение всей предвыборной кампании появлялись авторские (это подчеркивалось специально) статьи В.В. Путина, еженедельно публиковавшиеся в различных по идеологической направленности и аудитории периодических печатных изданиях. Первая была посвящена рискам и проблемам, с которыми столкнулась страна [Путин, 2012 e, с. 1], вторая – проблемам международных отношений [Путин, 2012 f, с. 1], третья – экономическим проблемам [Путин, 2012 c, с. 1], четвертая – проблемам политического режима в стране и роли государства как основного политического актора [Путин, 2012 b, с. 1], пятая – актуальнейшей для многих россиян проблеме обеспечения социальной справедливости [Путин, 2012 g, с. 1], шестая – проблемам национальной безопасности и суверенитета страны [Путин, 2012 a, с. 1]. Наконец, в

заключительной статье обсуждалась роль России в современной конфигурации международных отношений [Путин, 2012 d, с. 1]. В нашей статье мы не рассматриваем особенности этих текстов.

В официальной предвыборной программе В.В. Путин явно не поддерживает идею «выпавшего из логики цивилизации советского времени». Если поступательное развитие России и не линейно, то нельзя игнорировать какие-то ее этапы. Он четко декларирует, что ситуация России «лихих девяностых» была порождена не только самим периодом перехода, но и долговыми проблемами, доставшимися в *«наследство от СССР»*. Но Россия «нулевых», по его мнению, демонстрирует явный прорыв (*«Мы достигли и преодолели показатели уровня жизни самых благополучных лет СССР»*) [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]).

Даже недостатки современной России (*«это и сохраняющаяся бедность, и все еще плохой предпринимательский климат, и распространенность коррупции, и неэффективность деятельности значительной части чиновников»; «проблемы охраны окружающей среды в прошлом были оттеснены на второй план другими, более насущными социальными заботами»*) он рассматривает как естественное продолжение ситуации, складывавшейся в стране в течение многих десятилетий (*«эти проблемы появились не сегодня и не вчера»*) [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]. Эта тема продолжения позитивного, поступательного развития страны в последнее десятилетие присутствует во всех его тезисах и касается как статуса страны на международной арене (*«укрепилось международное положение России, выросло ее влияние... мы вошли в клуб динамично развивающихся стран»*), так и культурного первенства (*«сохраним наше лидерство в сфере искусств»*) [там же].

Но будущее страны декларируется не просто как рывок, улучшение ситуации, но выход на качественно новый уровень, предполагающий адекватный баланс стабильности и прогрессивных изменений (*«Россия преобразится», «постоянно развивающийся, и одновременно – устойчивый, здоровый государственный организм»*) [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]). Логика В.В. Путина проста: в «нулевые» страна «зализывала раны» и советского, и ельцинского времени, а сейчас есть возможность вырваться далеко вперед.

В программе Путина есть своеобразная «петля времени». Формально Путин не говорит о советском прошлом как образце,



но декларирует лозунги, которые входили в набор принципов воспитания подрастающего поколения советского времени 1960–1970-х годов (*«воспитывать приверженность семье, ответственность за судьбу Отечества, уважение к людям, учить беречь природу», «регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек», «пропаганда здорового питания и популяризации спортивного стиля жизни»*), и фактически сам это признает (*«Возрождению и укреплению этих ценностей мы будем всемерно содействовать»*) [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]). Подчас речь напрямую идет о позитивных аспектах социальной политики, которая проводилась в советское время (*«обеспечим повсеместное строительство спортивной инфраструктуры шаговой доступности», «воссоздадим... систему общероссийских спартакиад всех уровней, популярных детско-юношеских спортивных соревнований (“Кожаный мяч”, “Золотая шайба”)*»). Возможно, даже не осознавая этого, он ставит задачи развития российской деревни, которые достаточно успешно решались в 1970-х годах (*«Мы создадим современные условия для жизни на селе... будут проложены дороги, подведены вода, электричество, для всех сельчан должны быть доступны современные школы, больницы, дома культуры»; «ускорим... строительство региональных и сельских дорог, обеспечим транспортную доступность каждого населенного пункта»*) [там же].

При этом, например, культурные достижения нашей страны Путин связывает именно с дореволюционным периодом еще самодержавной России (*«Великие российские писатели, композиторы и художники – золотой фонд мировой культуры, ключ к пониманию души нашего народа. Они своим творческим гением показали всему миру глубокую духовность и величие России»*) [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]).

В.В. Путин ставит на будущее задачу (соответственно, фиксирует отсутствие в сегодняшней России) формирования *«системы социальной мобильности, социальных лифтов, соответствующей современному обществу»*. Важно, что, говоря о восходящей социальной мобильности, Путин имеет в виду только компенсацию *«негативных социальных последствий рыночной экономики и органически порождаемого ею неравенства»*, т.е. подтягивание низших слоев до более-менее приемлемого уровня жизни (*«особая поддержка для детей из бедных семей при получении образования... социальное жилье для семей с наиболее низкими доходами»*)

[Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012], но не движение всех социальных групп вверх.

Но самая важная для понимания взглядов Путина, обобщающая характеристика нашей страны, присущая любому ее этапу, обозначена в конце его официальной предвыборной программы: *«Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами – и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает»* [Предвыборная программа Всероссийской политической партии... 2012]. Здесь важны три момента: а) признание единства всех этапов развития страны; б) указание на универсальность стратегии России в кризисные периоды ее истории; в) признание вторичности, догоняющего характера модернизации страны именно как средства решения внешне- и внутривнутриполитических проблем и отсутствия опыта опережающего развития.

### **Отсылки к прошлому в предвыборных слоганах кандидатов**

Важным компонентом предвыборной кампании является набор слоганов, которые включаются в различного рода рекламную продукцию, звучат на митингах, произносятся во время устных выступлений и т.д. Среди слоганов кандидатов, которые были представлены в президентской кампании 2012 г., лишь немногие апеллировали к образу страны.

В предвыборных слоганах С.М. Миронова, как и в тексте программы, звучала тема необходимости перемен без каких-либо значимых характеристик (*«Твой голос изменит страну»*); ценность приписывалась изменениям как таковым. Из слоганов М.Д. Прохорова лишь один касался темы прошлого, и тоже в контексте перемен (*«Новый президент – новая Россия»*). В.В. Жириновский в своих слоганах темы государства не касался совсем, а эксплуатировал собственное имя (*«Жириновский, или будет хуже», «Жириновский – и будет лучше»*) или парафраз тюремного принципа (*«Не врать и не бояться»*). Аналогично и Г.А. Зюганов формально образ страны не использовал, однако в двух слоганах его предвыборной кампании обозначались важные принципы организации жизни людей а) собственно коммунистические (*«Власть и собственность – народу»*), б) смешивающие ценности консервативные и социал-демократические (*«Порядок, справедливость, достаток»*).

В предвыборной кампании В.В. Путина практически все слоганы были связаны с темой государства, но использовали слово «страна», отсылая к образу Родины, а не управленческого аппарата. Для Путина и его сторонников Россия – великая уже в настоящем («*Великой стране – сильный лидер*», «*Великой стране – достойное будущее*») или – для особенно недоверчивых / недовольных – коллективными усилиями почти в настоящем («*Вместе к великой России!*», «*Мы строим новую Россию*»).

## **Репрезентация прошлого в инаугурационной речи В.В. Путина**

Логическим завершением предвыборной президентской кампании является инаугурационная речь избранного политика. Хотя принято считать, что сама процедура инаугурации выполняет исключительно ритуально-символическую роль [Гаврилова, 2004, с. 40–43], это отнюдь не означает, что инаугурационная речь как особый тип официального политического дискурса не насыщена информационно. Именно в инаугурационной речи избранный президент сообщает о том, какие из заявленных им предвыборных обязательств он действительно намерен выполнять. Каждое слово в произнесенной инаугурационной речи имеет колоссальный политический вес и символический смысл.

В коротком выступлении В.В. Путина 7 мая 2012 г. был четко обозначен образ России, от которого предстоит уйти. Путин заявил, что «*у России великая история и не менее великое будущее*» [Инаугурация, 2012]. Страна находится в некой переломной точке, а потому «*сегодня мы вступаем в новый этап национального развития, нам потребуется решать задачи принципиально иного уровня, иного качества и масштаба. Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед*». Это касается прежде всего «*новой экономики и современных стандартов жизни*» [Инаугурация, 2012].

В скрытом виде ставится задача сохранения единства страны, озвученная как необходимость «*обустройства огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана*» [Инаугурация, 2012]. В качестве важнейшей внешнеполитической цели говорится о необходимости завоевания Российской Федерацией роли игрока межрегионального уровня, ставится задача стать «*лидером и центром притяжения всей Евразии*». О том, что в советское время наша страна была великой державой мира, равной по

мощи США, ни разу не упоминается не только в инаугурационной речи президента – эта тема не затрагивалась и в рамках предвыборной кампании. В.В. Путин очень тонко обходит и вопрос о том, когда именно были утрачены позиции страны в мире. Однако заявление, что *«мы вместе прошли большой и сложный путь, поверили в себя, в свои силы, укрепили страну, вернули себе достоинство великой нации, мир увидел возрожденную Россию»* [Инаугурация, 2012], фактически означает признание утраты позиций Россией в международной политике именно в 1990-х годах. Прошлое для него, хотя пост Президента РФ в 2000 г. и статус «преемника» был фактически получен из рук Б.Н. Ельцина, – не в советском, а в постсоветском периоде истории России.

Дистанцирование от ельцинской России 1990-х годов проявилось и в отчете В.В. Путина в качестве премьер-министра перед депутатами Государственной Думы в апреле 2012 г., где он, завершая свое выступление, отметил, что, *«восстановив страну после всех потрясений, которые выпали на долю нашего народа на рубеже веков, мы фактически завершили постсоветский период»* [Стенограмма отчета, 2012].

Примечательно, что в период первого и второго сроков своего президентства В.В. Путин строил свой публичный имидж на противопоставлении образу Б.Н. Ельцина, но не дезавуировал достижения страны в 1990-х годах. В отличие от больного, физически крайне немощного Б.Н. Ельцина второй половины 1990-х годов, его преемник В.В. Путин охотно демонстрировал СМИ хорошую физическую форму, используя для этого разные поводы – пилотировал истребитель, катался на горных лыжах, позировал на борту подводной лодки, играл в хоккей и т.д.

Из инаугурационной речи В.В. Путина следует, что Российская Федерация – *«дееспособное и развивающееся государство»*, демократия в современной России сформирована, необходимо лишь *«укреплять»* ее, равно как и *«конституционные права и свободы»*; необходимо *«расширять участие граждан в управлении страной, в формировании национальной повестки дня»* [Инаугурация, 2012], т.е. на сегодняшний день политическая жизнь в нашей стране, по мнению ее национального лидера, в полной мере демонстрирует народовластие. Для В.В. Путина как политика, формальное отсутствие которого на посту президента в 2008–2012 гг. отнюдь не означает снижения его политического веса и

влиятельности при принятии внутри- и внешнеполитических решений<sup>1</sup>, исключительно важно фиксировать преемственность политики всего периода с начала 2000 г.; этот период – не прошлое, а настоящее, которое следует улучшать, совершенствовать, переводить на более высокую ступень развития. Но опора этого развития – в прошлом; вновь избранный президент прямо говорит о прочном фундаменте *«культурных и духовных традиций нашего многонационального народа»*, о необходимости опираться на *«на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни»* [Инаугурация, 2012]. Таким образом, позитивное прошлое России представляется весьма условным, схематичным, оно не связано с конкретными событиями, но в большей степени с самим фактом продолжительности существования страны и традиций, консервативности как идеала.

Весьма примечательно и указание как на цель *«общего стремления к свободе, к правде, к справедливости»* [Инаугурация, 2012]. Это смысложизненные ценности, две из которых – свобода и справедливость – активно используются и в либеральной, и в коммунистической идеологии, а правда отсылает нас к вечному мучительному нравственному поиску русского народа, но без конструктивного ответа. Сама формулировка такой цели означает, что ни в прошлом, ни в настоящем свободы, правды и справедливости в реальной жизни для народа нет.

## Заключение

Итак, характеристики, приписываемые кандидатами на президентских выборах прошлому и настоящему России, связаны с идеологическими установками политиков, их реальными задачами в выборном процессе, занимаемой должности. Представляется немаловажным и то обстоятельство, что в предвыборных материалах всех кандидатов отсутствует даже намек на сравнение образа России в прошлом или настоящем с каким-либо иным государством.

---

<sup>1</sup> Это признают и аналитики за рубежом. Весьма показательно, что, например, по итогам 2010 г. в списке «Forbes» наиболее влиятельных политиков в мире премьер-министр В.В. Путин занимал 3-ю позицию, а президент Д.А. Медведев – 42-ю. По итогам 2011 г. в этом же списке премьер-министр переместился на 2-ю позицию, а президент Д.А. Медведев был перемещен западными экспертами на 59-е место в рейтинге [Ирхин, 2010, с. 219–228; Самые влиятельные люди мира – 2011, 2011].

Поскольку официальный дискурс носит нормативный, предписывающий характер, то при «прорисовке» образа страны кандидаты не ориентируются на собственное ожидания и оценки избирателей. Образы прошлого и настоящего России фрагментированы, они служат только для символического обоснования политических взглядов политика и одновременно отражают их.

## Литература

- Гаврилова М.В. Когнитивные и риторические основы президентской речи: (на материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина). – СПб.: Филологический фак-т СПбГУ, 2004. – 296 с.
- Инаугурация: выступления Дмитрия Медведева и Владимира Путина // Российская газета. – М., 2012. – 8 мая, № 5774 (101). – С. 1.
- Ирхин Ю.В. Рейтинги влияния или влияние рейтингов глобальных лидеров? // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2010. – Т. 6, № 4. – С. 219–228.
- Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // Pro et contra. – М., 2011. – № 3–4 (52). – С. 106–122.
- Предвыборная программа В.В. Жириновского. – Режим доступа: <http://president2012.ru/kandidaty/zhirinovskiy.html> (Дата посещения: 20.02.2012.)
- Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» (на выборах Президента России 4 марта 2012 г.). – Режим доступа: <http://www.putin2012.ru/program/5> (Дата посещения: 20.02.2012.)
- Предвыборная программа Г.А. Зюганова. – Режим доступа: [http://kprf.ru/rus\\_soc/101373.html](http://kprf.ru/rus_soc/101373.html) (Дата посещения: 20.02.2012.)
- Предвыборная программа М.Д. Прохорова. – Режим доступа: <http://md-prokhorov.com/predvubornaia-programma/> (Дата посещения: 20.02.2012.)
- Президентская программа Сергея Миронова. – Режим доступа: <http://mironov.ru/main/news/11821> (Дата посещения: 25.05.2012.)
- Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. – М., 2012 а. – 20 февраля, № 5708 (35). – С. 1.
- Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. – М., 2012 б. – 6 февраля, № 20/П (4805). – С. 1.
- Путин В.В. О наших экономических задачах // Ведомости. – М., 2012 с. – 30 января, № 15 (3029). – С. 1.
- Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. – М., 2012 д. – 27 февраля. – С. 1.
- Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. – М., 2012 е. – 16 января. – С. 1.
- Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012 ф. – 23 января. – С. 1.
- Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. – М., 2012 г. – 13 февраля. – С. 1.
- Самые влиятельные люди мира – 2011. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/sobytiya-photogallery/75940-samy-e-vliyatelnye-lyudi-2011/photo/3> (Дата посещения: 20.02.2012.)
- Стенограмма отчета В.В. Путина в Госдуме. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2012/04/11/putin-duma.html> (Дата посещения: 20.04.2012.)

**И.А. Шкурихин**

## **КОНЦЕПТ ДЕМОКРАТИИ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 2012 г.**

Соревнование кандидатов в президенты в гораздо большей степени представляет собой борьбу личностей, нежели тех программ, которые они выдвигают. Большинство людей не следят внимательно за ходом избирательной кампании, поэтому при голосовании ориентируются на биографии, достижения кандидатов в общественно-политической деятельности, их моральные и деловые качества, точнее то, как они репрезентируются в каналах массовой коммуникации. В логике такого рассуждения обращение к отдельным вопросам, освещаемым в программах и выступлениях кандидатов, кажется нерелевантным характеру современной электоральной конкуренции.

Но если мы встанем на позицию Ж. Лакана и посмотрим на политического человека как субъекта, «радикально расщепленного в себе» [см.: Филлипс, Йоргенсен, 2004, с. 74], то для любого кандидата победа не гарантирована заранее, поскольку неизвестно, какую сторону его личности воспримут и будут учитывать в процессе выбора конкретные избиратели. Как бы ни трудились имиджмейкеры, цельность образа их кандидата будет разрушаться конкурирующими в объективном символическом пространстве дискурсами его расщепленной идентичности<sup>1</sup>. Эти дискурсы порождаются

---

<sup>1</sup> Дискурс идентичности предполагает отождествление человека с некоторым символом (это могут быть как наименования социальных (врач, инженер, чиновник и. т.п.) или аскриптивных (молодой человек, мужчина, «чернокожий», азиат и. т.п.) статусов, так и более сложные образные конструкты различных типов личности (лидер, активист, оппозиционер, идеолог, агитатор и. т.п.) или

политиком в естественном потоке политической жизни, что исключает возможность тотального контроля над их производством и тем более – над многообразными способами их интерпретации в публичном пространстве (журналисты, другие политики могут передавать мысли политика в совершенно ином свете).

Единственным разумным решением в долгосрочной перспективе является вступление в борьбу на тех символических полях<sup>1</sup>, где функционируют значимые для политика дискурсы идентичности. Именно в этом ключе мы рассматриваем решение одного из кандидатов в Президенты РФ В. Путина опубликовать статью, посвященную проблеме демократии (сама статья, по нашему мнению, является коллективным продуктом В. Путина и его помощников). Очевидно, что в публичном пространстве фигура В. Путина никак не ассоциируется с демократическими преобразованиями (как бы ни старалась «Единая Россия» дискурсивно создавать и защищать этот миф), но даже этот фактор не позволил кандидату от партии большинства проигнорировать взрыв символических представлений о демократии, произошедший в конце 2011 г. в публичной сфере. Кандидаты от других парламентских партий в силу своей оппозиционности и логики политической борьбы должны были предложить символическую альтернативу позиции Путина в отношении демократии, а самовыдвиженец М. Прохоров, учитывая низкие стартовые позиции в избирательной гонке и отсутствие идеологической привязки в символическом поле, чтобы удовлетворить свои политические амбиции, вынужден был «играть» на всех символических полях.

Цель нашей статьи заключается в описании политической борьбы кандидатов в Президенты РФ-2012 в символическом поле концепта демократии. Для описания этой борьбы мы воспользуемся постструктуралистской теорией дискурса Э. Лакло и Ш. Муфф.

Для Э. Лакло и Ш. Муфф «политика – это определенная организация общества, которая исключает все другие возможные способы устройства» [цит. по: Филлипс, Йоргенсен, 2004, с. 64].

---

приверженцев тех или иных взглядов (либерал, марксист, христианин, этатист и т.п.)). Причем при таком отождествлении, согласно позиции Э. Лакло и Ш. Муфф, исключаются альтернативные интерпретации данного символа.

<sup>1</sup> Под символическим полем мы понимаем область символического пространства, ограниченную и структурированную некоторыми концептами или концептуальными системами.



С такой точки зрения ставки в политическом противостоянии оказываются очень высокими. Высокая значимость президентских выборов в России, а также мажоритарная система, где «победитель получает все», приближают характер политической конкуренции к обозначенной модели.

Политическая деятельность рассматривается Лакло и Муфф как преимущественно символическая деятельность, которая заключается в воспроизводстве и изменении принятых значений. Воспроизводство обеспечивается за счет исключения других способов использования знаков, иными словами, за счет утверждения дискурса, сокращающего горизонт значений каждого отдельного знака посредством определения его места в некоторой символической структуре. Изменения значений происходят, когда раскрывается конфликт значений в употреблении того или иного знака и «один дискурс “удаляет” с дискурсивного поля другой дискурс как бы “пересиливая” его» [см.: Филлипс, Йоргенсен, 2004, с. 82].

Мы будем рассматривать символическую борьбу не за каждый отдельный знак, а только за узловые точки, которые конституируют соответствующие дискурсы. Абстрактный дискурс демократии, объединяющий множество узловых точек демократических дискурсов, будет для нас условным порядком дискурса, на фоне которого мы изучим конкретную борьбу предвыборных дискурсов кандидатов в Президенты РФ-2012. Материалом для анализа нам послужили предвыборная статья В. Путина, программы кандидатов и их выступления в теледебатах. Учитывая, что за рамками нашего внимания остается довольно большой корпус высказываний в СМИ и на встречах с различными группами избирателей, мы не претендуем на полное описание предвыборного дискурса о демократии. Но при этом считаем, что в программных заявлениях и дебатах проявляются наиболее важные в концептуальном отношении аспекты дискурса.

В рамках предвыборного дискурса о демократии мы рассмотрим следующие узловые точки: «политическая конкуренция», «партии», «парламент» и «референдум». Они были выделены эмпирическим путем – через сопоставление узловых точек дискурсов каждого кандидата. За пределами нашей работы останется одна из ключевых узловых точек этой кампании – «выборы», поскольку нам нечего добавить к тому, что уже отметили и объяснили эксперты, наблюдавшие за ходом избирательной кампании.

## Политическая конкуренция

В предвыборной статье В. Путина «Демократия и качество государства» отмечается, что *«в 90-е годы под флагом воцарения демократии мы получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодалных кормлений»* [Путин, 2012]. В качестве альтернативы премьер предложил другую форму конкуренции, а именно: *«конкуренцию, которая отражает реальные интересы социальных групп»* [там же]. Таким образом, демократическое качество конкуренции, согласно Путину, обеспечивается за счет выхода за рамки политического поля в широкое социальное пространство, где каждый политик должен найти сторонников собственной политической программы. Угрозу такому виду конкуренции представляет лишь непорядочное поведение самих политиков: *«Уверен, нам не нужны балаган и соревнование в раздаче необеспеченных обещаний. Нам не нужна ситуация, когда демократия сводится к вывеске, когда за "народовластие" выдается разовое развлекательное политическое шоу и кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащивается эпатажными заявлениями и взаимными обвинениями»* [Путин, 2012]. Далее по тексту статьи Путин раскрывает позитивный образ функционирования политической системы: она *«своевременно улавливает и отражает интересы больших социальных групп и обеспечивает их публичное согласование»*, *«способствует выдвижению ответственных и профессиональных людей»*, *«понятный, оперативный и открытый для общества механизм выработки, принятия и реализации решений»*, *«позволяет говорить правду»* [там же]. В создании этого образа концепту конкуренции уже не остается места. Это позволяет нам говорить о наличии символического раскола в дискурсе Путина о политической конкуренции, который пролегает по линии реальное / идеальное.

Позиция М. Прохорова в отношении политической конкуренции в предвыборном дискурсе (той части, которую мы взяли для анализа) не выражается явным образом. Но, судя по тем конкретным предложениям, которые Прохоров написал в своей программе [Прохоров, 2012] – расширение практики выборности, создание условий для появления новых партий и прохождения их в законодательные органы власти, – он демонстрировал свою заинтересованность в формировании максимально широкой конкурентной среды в российской политике.

Принцип политической конкуренции в программе С. Миронова выражен эксплицитно. Согласно этому документу, *«российский народ должен иметь возможность выбора между различными политическими альтернативами в рамках свободных и честных выборов»* [Миронов, 2012], другими словами, система должна обеспечить появление таких альтернатив. Не совсем понятно, как лидер партии «Справедливая Россия» оценивает современные условия для появления политических альтернатив, поэтому его мнение остается на уровне идеального, не переходя в плоскость конкретных предложений. Также Миронов настаивает на том, чтобы законодательно закрепить *«положение о недопустимости партийно-политического монополизма»* [там же]. По его мнению, *«никакая партия не должна иметь больше 50% мандатов в органах представительной власти»* [там же]. Эта идея выдвигалась еще на парламентских выборах партией «Правое Дело», когда ее возглавлял М. Прохоров. Принятие этой идеи затрудняется тем, что в современной демократической теории и в практике демократических стран больший вес имеет противоположный принцип – максимально точного отражения результатов волеизъявления граждан. Данная мысль является смелой попыткой на институциональном уровне решить проблему утвердившейся в представительных органах власти практически по всей России монополии одной партии. Поскольку декабрьские митинги протеста не оставляют сомнений в наличии у определенной части российского общества запроса на упразднение монополии «Единой России», разработка такого решения с опорой на достижения современной демократической теории может быть востребована в условиях дальнейшей символической борьбы за демократию.

В дебатах с В. Жириновским Миронов заявил, что он поддерживает президентский законопроект по упрощению регистрации политических партий и его партия не боится конкуренции с новыми политическими силами, поскольку, по его мнению, *«те, кто что-то стоит, – пройдут»* (в законодательные органы власти. – *И.Ш.*) [Предвыборные дебаты С.М. Миронов – В.В. Жириновский, 2012]. В. Жириновский, в свою очередь, отнесся к идее новых условий политической конкуренции не столь оптимистично: *«Проблема в том, что в парламент за деньги могут пройти ультралиберальные партии. Что мы будем с ними делать?»* [там же]. Аналогичным образом, Владимир Вольфович выразил опасение, что с введением прямых выборов губернаторов во власть могут снова прийти криминал и «старые кадры». В символическом плане дис-

курсы Миронова и Жириновского про политическую конкуренцию располагаются на разных полюсах: от безоговорочного принятия данного принципа до утверждения необходимости внешнего контроля и ограничений. Г. Зюганов в рамках этой президентской кампании занял срединную позицию: ратуя за обеспечение равных условий политической конкуренции, он в то же время выступил против радикальной либерализации (снизить требования к численности партий), из-за которой, по его мнению, в конечном счете, получится «политический винегрет» [Предвыборные дебаты С.М. Миронов – Г.А. Зюганов, 2012].

Учитывая, что президентом был избран В. Путин, институциональные рамки политической конкуренции будут достаточно жесткими. Остальным участникам президентской гонки остается наполнять эту конкуренцию реальным содержанием.

## Партия

В. Путин говорит об упрощении порядка регистрации партий как мере, направленной на «развитие политической и партийной системы» [Путин, 2012]. Связь этого шага с демократией подчеркивается лишь дискурсивной связкой с подзаголовком «развитие демократии». Отсутствие аргументов можно объяснить тем, что простое сравнение требований к численности партий в предыдущем и новом законах ставит крайне неудобный для Путина вопрос о демократичности той партийной системы, которую он выстроил в 2000-е годы. В. Жириновского и Г. Зюганова тема развития партийной системы также волновала мало. На наш взгляд, это связано с тем, что для всех трех политиков дискурс партийного развития, выражаясь языком Э. Лакло и Ш. Муффа, является осадочным, т.е. результатом «длинного ряда социальных договоренностей, которые мы считаем само собой разумеющимися, и поэтому ничего не спрашиваем об их значении и не пытаемся в них ничего изменить» [цит. по: Филлипс, Йоргенсен, 2004, с. 92]. Партийная политика в годы президентства В. Путина и Д. Медведева стала настолько предсказуемой и удобной для тех, кто стоял у власти, что любые попытки изменений воспринимаются ими как возможная угроза своему положению. Тем не менее, поскольку в символической сфере практически невозможно установить полный контроль над новыми артикуляциями, «осадочные дискурсы могут в любое время войти в политическую игру» [там же, с. 65].

На периферии этого символического поля стали появляться альтернативные дискурсы. М. Прохоров и С. Миронов в ходе этой избирательной кампании выдвинули тезисы, которые подрывают дискурс-гегемон. Прохоров считает, что партии должны работать на активных людей (а не наоборот, как это имеет место в реальном партстроительстве), а также избирать своих лидеров (никто из действующих партийных лидеров на словах не отрицает этого принципа, но на деле готов сделать все, чтобы реально он не работал) [Предвыборные дебаты М.Д. Прохоров – С.М. Миронов, 2012]. Миронов предложил, во-первых, поэтапный принцип участия партий в выборах местного, регионального, а затем федерального уровней, который в логике его дискурса не прямо, но косвенно предполагает эволюционное становление партийных организаций (учитывая то, как создавалось большинство партий в период президентства Путина, – это серьезная альтернатива «кремлёвским партиям»); во-вторых, внутреннюю самостоятельность партий, которая, в частности, обеспечивается за счет отбора кандидатов на пост губернатора без согласования с Президентом РФ [Предвыборные дебаты С.М. Миронов – В.В. Жириновский, 2012]. Как пояснил Миронов, «партии не глупые, могут сами отвечать своим авторитетом за выдвигаемых кандидатов» [там же].

На настоящий момент обозначенные альтернативные дискурсы не создают большой угрозы для дискурса-гегемона, но если они начнут давать эффект в обеспечении реального партстроительства, то ситуация может измениться в самой ближайшей перспективе.

## Референдум

Мы выбираем именно этот уровень для определения узловой точки, поскольку про альтернативные формы прямой демократии говорил только В. Путин, и, соответственно, в более широком символическом поле «прямой демократии» возникает ситуация скорее не гегемонии, а отсутствия борьбы.

Г. Зюганов пообещал, что «в 2013 г. будет принят новый закон о референдуме. Расширится реальная возможность народа осуществлять власть непосредственно» [Зюганов, 2012]. За этой формулировкой остается неясным концептуальный взгляд лидера коммунистов на установление этой формы народовластия. В ходе предвыборных дебатов он практически не затрагивал эту тему, что может косвенно свидетельствовать о манипулятивной функции

этого предвыборного обещания. М. Прохоров в своей программе предложил упростить процедуру инициирования референдумов: сократить в четыре раза (до 500 тыс.) количество необходимых подписей для граждан и предоставить такое право Президенту РФ, Государственной Думе, Совету Федерации, а также законодательным собраниям регионов (не менее 15) [Прохоров, 2012]. Если учесть, что с момента принятия Конституции РФ в России не было организовано ни одного референдума, то логично искать проблему не только в смысловом, но и в организационном измерении этого мероприятия.

Позиция фаворита этой избирательной кампании была обозначена следующим образом: «Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и “обратной связи”» [Путин, 2012]. Тот факт, что премьер уделил вопросам прямой демократии целый раздел – «новые механизмы участия» – свидетельствует о приоритетности для него этого направления развития демократии. Соответственно, можно ожидать от него, как избранного президента, реальных шагов в этом направлении. Согласно его позиции, практика референдумов должна широко распространиться на муниципальном и региональном уровнях: «Необходимо, чтобы граждане на городском, муниципальном уровне могли голосовать, выносить на местные референдумы или интернет-опросы свои острые проблемы, выявлять узкие места и способы их расшить» [там же]. Эта позиция предполагает расширение понятия «референдум», данного в ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 г., согласно которому по ст. 1. «Референдум Российской Федерации – всенародное голосование граждан РФ...» [Федеральный конституционный закон... 2004]. Для минимальной концептуальной полноты здесь не хватает пояснения, какой круг вопросов может рассматриваться на референдумах этого уровня.

Данный вопрос был поставлен в дебатах между С. Мироновым и В. Жириновским, и участники заняли по нему противоположные позиции. Если Миронов не видит оснований для того, чтобы ограничивать уровень референдума и содержание вопросов, выносимых на него, то для Жириновского такая форма волеизъявления приемлема лишь на местном уровне и касательно хозяйственных вопросов [Предвыборные дебаты С.М. Миронов –

В.В. Жириновский, 2012]. По мнению С. Миронова, референдум нужен «потому, что граждане нашей страны должны давать четкий заказ властям любого уровня» [там же]. В нескольких других предложениях, касающихся этого вопроса, Миронов также использовал модальность долженствования, которая указывает нам на то, что его построения являются скорее идеалом, который пока слабо осознается на эмпирическом уровне. Лидер эсеров считает, что посредством референдумов можно будет решить фундаментальные вопросы политического устройства России: капитализм или социализм, приватизация или национализация, укрупнение регионов или нет, бесплатное или платное образование и медицина и т.п. В качестве одного из контраргументов Жириновский привел отсутствие практики проведения референдумов по вопросам устройства страны на Западе, в частности, он упомянул США и Францию<sup>1</sup>. Миронов справедливо возразил, что недавно в Европе прошел ряд референдумов<sup>2</sup>. Другой аргумент В. Жириновского состоял в том, что референдум о сохранении Советского Союза в итоге был абсолютно проигнорирован властью. На это критическое замечание Миронов предпочел не реагировать, хотя без твердого ответа на этот вопрос, очевидно, бессмысленно развивать идею применения референдума в российской политике.

Всеобщий интерес к реинкарнации идеи референдума в российской политике наталкивает на мысль, что в скором времени будут обсуждаться поправки в действующий Закон «О референдуме в РФ», и по этому вопросу, учитывая обозначенные выше разногласия, может разгореться символическая борьба. Если в этой борьбе в рамках Государственной Думы «Единая Россия», продолжая линию Путина, будет использовать стратегию «нас больше, значит, мы правы», то новый закон окажется концептуально ущербным. Линия компромисса и неторопливого политического диалога по этому сложнейшему вопросу является наиболее перспективной, но наименее вероятной.

---

<sup>1</sup> Если в США на федеральном уровне их действительно не было, то во Франции они проходили за последние десять лет два раза – в 2000 и 2005 гг.

<sup>2</sup> К примеру, Хорватия 22 января 2012 г. провела референдум о вступлении в ЕС.

## Парламент

В. Путин в своей статье о демократии предлагает парламенту взять на себя функцию назначения членов Счетной и Общественной палат, а также «наполнить реальным содержанием» процедуру парламентских расследований. Важно, что в формулировке этих предложений Путин учитывает автономию законодательной ветви власти. Более абстрактно о развитии парламентаризма говорят «старожилы»: Г. Зюганов указывал на желательность увеличения контрольных полномочий парламента [Зюганов, 2012; Предвыборные дебаты С.М. Миронов – Г.А. Зюганов, 2012], в то время как В. Жириновский выступил, в целом, за парламентскую республику (что не совсем соотносится с его авторитарными установками), где Дума будет формировать как правительство, так и суды. При этом лидер ЛДПР скептически высказался по поводу реальных перспектив: «Российский парламент лишен полномочий, только принимает законы, которые не выполняются» [Предвыборные дебаты С.М. Миронов – В.В. Жириновский, 2012].

С. Миронов, участвуя в дебатах, последовательно отстаивал несколько положений из своей программы, а именно: о праве Государственной Думы самостоятельно выдвигать и утверждать Председателя Правительства и министров (для этого требуется изменение Конституции. – *И.Ш.*), а также руководителя Счетной палаты [Миронов, 2012; Предвыборные дебаты С.М. Миронов – Г.А. Зюганов, 2012]. В последнем пункте лидер эсеров солидаризуется с позицией В. Путина, показывая тем самым, что оппозиционность не является для него самоцелью. Также Миронов предложил принять законы «О парламентском контроле», «О гарантиях парламентской деятельности» (об оппозиции) и внести изменения в Закон «О парламентском расследовании» [Миронов, 2012], что говорит о стремлении политика системно решать проблему развития российского парламентаризма.

Для Прохорова главным был вопрос об упрощении механизмов инкорпорации в представительные органы власти. Он предлагал снизить проходной барьер для избрания в Государственную Думу и региональные законодательные собрания до 3%, а также ввести смешанную систему выборов с избранием 50% депутатов по одномандатным округам [Прохоров, 2012]. Отсутствие предложений в других направлениях развития парламентаризма объясняется отсутствием опыта непосредственной работы в органах представительной власти.



Таким образом, все кандидаты в Президенты РФ-2012 выразили определенный интерес к усилению роли Государственной Думы в системе государственной власти, при этом особых расхождений в понимании этого процесса не имеется, поэтому и о символической борьбе в этом поле говорить не приходится. Единственным серьезным пунктом для разногласия стала легитимность Государственной Думы шестого созыва – все кандидаты, кроме Путина, считали ее нелегитимной и предлагали организовать новые выборы. Поскольку выборы Президента РФ не вызвали столь серьезных пререканий, дискурс о нелегитимности Думы теряет свой политический потенциал и уходит в область осадочного дискурса, сохраняя при этом шансы на актуализацию в рамках возможных будущих политических конфликтов.

### **Заключение**

Символическая борьба вокруг концепта демократии в рамках предвыборного дискурса кандидатов в Президенты РФ-2012 носила преимущественно заочный характер, т.е. альтернативные дискурсы, артикулируемые кандидатами, практически не конкурировали в публичном пространстве. Это привело к тому, что дискурс каждого кандидата строился скорее как серия обещаний собственному электорату, а не как аргументация тех или иных предложений для сообщества людей, понимающих логику политического процесса и государственного управления. В связи с этим символическая борьба оказалась крайне бедной, как по широте, так и по глубине выражаемых смыслов. Это, с одной стороны, обрекает любые политические реформы на концептуальную ущербность, с другой – оставляет простор для появления в этом пространстве новых дискурсов. Рост протестного движения в современной России может актуализировать дискурсивную борьбу вокруг концепта демократии. Особенно ожесточенным, если исходить из конфигурации публичного поля в прошедшей президентской кампании, может быть противостояние вокруг нелегитимной Государственной Думы и сложившегося режима политической конкуренции. Вопросы о том, каково должно быть соотношение прямой и опосредованной демократии, а также о роли партий в современной политической системе стоят менее остро и могут быть рассмотрены в рамках институционального политического процесса.

## Литература

- Зюганов Г. А. Мои обязательства перед гражданами России. Программа кандидата в президенты. – Режим доступа: [http://kprf.ru/gus\\_soc/101373.html](http://kprf.ru/gus_soc/101373.html) (Дата посещения: 01.03.12.)
- Предвыборные дебаты. М.Д. Прохоров – С.М. Миронов, 27 февраля 2012 г. – Режим доступа: <http://www.youtube.com/watch?v=WscnTkQtHF0> (Дата посещения: 10.03.2012.)
- Предвыборные дебаты. С.М. Миронов – В.В. Жириновский, 16 февраля 2012 г. – Режим доступа: [http://www.youtube.com/watch?v=X4JM\\_MZKPfg](http://www.youtube.com/watch?v=X4JM_MZKPfg) (Дата посещения: 10.03.12.)
- Предвыборные дебаты. С.М. Миронов – Г. Зюганов, 13 февраля 2012 г. – Режим доступа: <http://www.youtube.com/watch?v=hfo4MnleDWM&noredirect=1> (Дата посещения: 10.03.2012.)
- Миронов С.М. Президентская программа. – 2012. – Режим доступа: <http://mironov.ru/main/news/11821> (Дата посещения: 28.02.12.)
- Прохоров М.Д. Настоящее будущее: программа кандидата в президенты. – Режим доступа: <http://mdp2012.ru/program/> (Дата посещения: 07.03.12.)
- Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. – М., 2012. – 6 февраля, № 20/П. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1866753> (Дата посещения: 05.03.12.)
- Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Российская газета. – М., 2004. – 30 июня, № 3514. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2004/06/30/referendum-zakon.html> (Дата посещения: 11.03.2012.)
- Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 336 с.

**Г.Л. Тульчинский**

## **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ КАК КОНФЛИКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ, АКТИВИЗИРУЮЩИХ «ТРЕТЬЕГО»**

Феномену «информационных войн» посвящен обширный корпус литературы [см., например: Бухарин, 2007; Бухарин, Цыганов, 2007; Власенко, 2011; Волконский, 2003; Информационные войны в современном мире, 2008; Панарин, 2003, 2004; Почепцов, 2002; Norris, 2001; Owen, 2011]. Это словосочетание не сходит со страниц публицистики. Информационные войны обсуждают эксперты-политологи, сформировались целые научные сообщества, активно обсуждающие информационные войны в международной и внутренней политике, в бизнесе, корпоративном менеджменте. Разрабатываются математические модели информационных войн [Расторгуев, 2006]. Существуют развитые электронные сетевые ресурсы, посвященные информационным войнам [например: Alex Jone's infowars; Информационные войны]. На рынке действуют агентства, специализирующиеся на оказании соответствующих услуг по ведению информационных войн, обеспечению информационной безопасности, информационной разведке и т.п.

Может сложиться впечатление, что речь идет о хорошо известном концепте, операционализированном до конкретных технологий и методик. Однако это так и не так... Например, тематику, связанную с информационными войнами, любят выбирать студенты для подготовки курсовых, а то и выпускных работ, магистерских диссертаций. И каждый раз они сталкиваются с проблемой отсутствия концептуальной проработки осмысления информационных войн. Что такое информационная война? Если это конфликт, то всегда ли можно точно сказать – кто в нем противо-

борствует? Каковы цели участников конфликта? В чем выражаются результаты информационной войны? И всегда ли можно говорить о таких результатах? О победителе и побежденном?

Практически на каждый из таких вопросов можно дать несколько версий ответов и их толкований. Может, сами эти толкования, интерпретации и являются собственно информационной войной? Приходится признать многоплановую парадоксальность феномена информационных войн. Можно выделить как минимум три аспекта этой парадоксальности.

### **Что такое информационные войны**

Прежде всего, отсутствует ясность с самим понятием информационных войн. Что это? Информационное прикрытие конфликтов? Спецоперации по разрушению информационной инфраструктуры противника? Просто пропагандистские кампании – технологии, давно и хорошо известные в истории? Не являются ли «информационные войны» гипостазированной метафорой этих технологий? Или за ними кроется некая новая реальность информационного и постинформационного общества?

Из проведенного ранее [Глазунова, Тульчинский, 2012] сопоставления известных толкований таких терминов, как «информационная война», «политическая манипуляция», «пропаганда», «слухи», «идеологическая диверсия», «психологическая война», можно сделать, по крайней мере, один важный вывод: информационные войны – в отличие от однонаправленных информационных атак, действий типа пропаганды, манипуляции и слухов – есть форма конфликта, в котором должны быть акторы – противостоящие стороны, преследующие определенные цели. И эти цели, как желаемые результаты, должны быть сопоставимы с результатами конфликта, включая определение победителя.

Наиболее очевидна ситуация информационной войны в случае активных действий по разрушению информационной инфраструктуры: уничтожение информационных центров, центров принятия решений, хакерские и спамовые атаки. Акторы, их цели, результаты здесь достаточно очевидны.

Главные проблемы возникают при обращении к «содержательным» информационным войнам на уровне «софта»: попыткам воздействия на сознание неким информационным содержанием. Используемые средства при этом могут быть самыми различными,

включая весь набор манипулятивно-пропагандистских технологий. Тогда что нового вносят технологии информационных войн?

Попробуем развить последствия понимания информационных войн в качестве некоей относительно новой политической технологии информационного и постинформационного общества, связанной с развертыванием конфликта.

В качестве материала для анализа возьмем три практических примера информационных войн различного уровня: а) ситуацию, повлекшую отставку Ю.М. Лужкова (уровень конфликта в политической элите); б) конфликтную ситуацию между оппозицией (системной и внесистемной) и правящим политическим режимом, возникшую в России после думских выборов в 2011 г. (общенациональный уровень); в) ситуацию вокруг цепочки революционных событий в арабских странах и исламском мире в целом (международный уровень).

### **Информационные войны как конфликт интерпретаций**

Специфическая особенность «информационных войн» в неясности их акторов. Кто организатор этих действий? Против кого они реально направлены? Неоднозначность проблемы акторов порождает мифологизацию «информационных войн», их демонизацию. При желании за любой новостью, за любым событием можно проследить мотивационную цепочку, «коварный замысел», который можно приписать неким «врагам». Это, разумеется, не отрицает очевидность строящихся и реализуемых планов и проектов различных политических и социальных сил – как зарубежных, так и внутри страны.

Нужно только отдавать отчет в том, что политическая реальность является результатом взаимодействия, столкновения, конкуренции таких проектов и кампаний. Именно это имеется в виду, когда историю понимают как «равнодействующую волю». Тем не менее акторы «информационных войн» во многом оказываются продуктами интерпретаций, дискурсивных практик, которые, в свою очередь, тоже могут рассматриваться как «информационные войны».

Таким образом, сам феномен информационной войны переводится не то что в дискурсивную практику мифотворчества, а в игру ума аналитиков и политтехнологов – кто кого «переинтерпретирует». Это первая парадоксальная особенность информацион-

ных войн. Причем такая особенность, которая, пожалуй, характеризует их суть. Это не только и не столько собственно осуществляемые взаимные информационные, пропагандистские, манипулятивные атаки, сколько именно **конфликт интерпретаций** этих действий. Интерпретаций, в которых обозначаются противоборствующие стороны, инициаторы этих атак, а также их мотивация, стоящие за ними интересы.

### Почему это работает

Можно говорить о своеобразной загадочности «информационных войн». Примером могут служить недавние события вокруг информационной атаки на Ю.М. Лужкова, а также вокруг публикацией скандальных материалов на электронном ресурсе WikiLeaks. Ничего нового общественность не узнала. Все эти факты, так или иначе, но публиковались в прессе, в блогах, циркулировали в медиа. Более того, всем понятна некая преувеличенность, даже несправедливость агрессивных действий публикаторов. То есть все знали, все все понимали, но – сработало!!!

Или события в Ливии... Разве до этого ничего не было известно о «чуждачествах» Муамара Каддафи? О его, мягко говоря, авторитарно-семейных методах управления страной, отношения к проявлениям оппозиционности и инакомыслия? Но почему-то у всех вдруг «открылись глаза» и политическими лидерами ряда стран были сказаны не берущиеся назад слова, за которыми с неизбежностью последовали санкции.

И эта **«эффективность общеизвестного»** – вторая парадоксальная сторона информационных войн, за которой явно скрывается главная пружина этой технологии: почему при всех очевидностях эта технология «работает»? Потому что становится неприлично, несправедливо оставлять статус «полуправды»? Обнародование фактов придает им publicity, когда «все говорят», когда «нельзя замолчать», когда уже «надо действовать»? Но где предел, где порог перехода от слухов, отдельных публикаций, дискуссий в блогосфере в некое новое качество? И каков тот институт, который оправдывает действия, обусловленные этим «новым качеством» ситуации?

## Проблема «Третьего»

Похоже, разгадка парадокса «эффективности общеизвестного» кроется в определении реального адресата информационного воздействия в «информационных войнах». Собственно, любой конфликт, даже любой диалог, возникают и разворачиваются в присутствии (зачастую неявном, неочевидном) некоего «Третьего» – того, кто все понимает и, в конечном счете, рассудит. Как писал Ж.-П. Сартр, человеческое бытие есть бытие-под-взглядом [Сартр, 2000]. Это могут быть Бог, Абсолют, Справедливый Суд, Завет предков, Научная Истина, Исторический Закон Развития, Государство, а при его отсутствии или бессилии – кто-то, кто «в законе». Именно к этому «Третьему» фактически апеллируют обе стороны конфликта, на апелляции к нему они обосновывают свои действия («они первые начали»), собирают аргументы неправоты противников и оппонентов.

Получается, что информационная война – это конфликт, представленный в информационном пространстве, имеющий целью активизировать некую группу влияния, инстанцию, лиц, принимающих решение...

### **Информационные войны и массовое информационное сообщество**

В этой связи стоит обратить внимание на три особенности информационного (и даже постинформационного) массового общества.

Прежде всего, это «уплощение» ценностной иерархии, свойственной традиционному обществу. В массовом обществе ценности структурированы не вертикально, а горизонтально, в результате чего в нем фактически отсутствует трансцендентное измерение [Тульчинский, 2007]. Даже «самые высокие ценности» представлены в этом мире катафатически, т.е. наравне с другими.

Поэтому, чтобы вызвать интерес, привлечь внимание в этом «плоском мире», должно произойти некое Событие, запускающее волну общественного интереса. Что такое произошло в этом пруду, покрытом ряской, чтобы волны кругами пошли, брызги полетели, чтобы все пиявки всплыли, лягушки повылезали, чтобы даже черепаха Тортила всплыла посмотреть – что это там такое произошло? А это, оказывается, Буратино бросили в пруд.

Из теории и практики PR хорошо известны условия, при которых информация становится новостью. Это должно быть: а) что-то важное для широкого круга людей (обычно это экзистенциальные и прочие угрозы благополучию); б) что-то, к чему имеют отношение известные люди; в) что-то, вызывающее скандал.

В современном мире журналисты собирают не более 12–15% информации, циркулирующей в медиа. Остальная информация предоставлена или инициирована. Более того, о свыше 40% событий, о которых сообщается в медиа, можно утверждать, что не потому о них сообщается, что они произошли, а они потому произошли, чтобы о них сообщалось. Не потому нам показывают по ТВ, как президент почесал у бычка за ухом, что он это сделал, а он сделал это для того, чтобы нам это показали. Замечательные примеры такого рода «событий» давал «новостной» ряд, связанный с деятельностью В.В. Путина на посту главы Правительства: усыпление усыпленной тигрицы, стрельба из гарпунной пушки по китам, тушение пожара, добывание со дна моря античных амфор и т.п.

Особую роль играют экзистенциальные угрозы (природные катаклизмы, техногенные катастрофы, экономические и политические кризисы, военные угрозы). Особенно чутко к ним современное массовое общество, в силу сложности технологий чрезвычайно уязвимое для таких катаклизмов. Причем – в силу глобализации экономического, информационного и политического пространства – в глобальном масштабе. Можно даже утверждать, что современное массовое общество есть общество алармическое, если не общество хоррора. Что может использоваться и используется в целях политических манипуляций. Общество, приведенное в состояние хоррора, тотальных угроз безопасности, оказывается весьма удобным и пластичным для манипуляции. Примерно именно это мы и имеем в современной России. Примеры слишком очевидны.

Шумное паблисити, однако, только полдела.

### **Роль «Большого События»**

Информационная война – это не просто слухи, отдельные публикации, информация в блогах. Это – некий широкий резонанс в общественном мнении, бьющая в глаза очевидность, возникновение новой реальности, к которой можно апеллировать как к факту. И эта новая реальность медийна. Не просто в духе М. Маклюэна «message is media» [Маклюэн, 2007] или Н. Лумана – как порождение рефлексивной реальности [Луман, 2012], а именно:



как сама реальность, «Большое Событие» в медиа, задевшее интересы того самого «Третьего», апелляцией к которому по сути и является информационная война и без учета которого разрешение реального конфликта невозможно.

Реальный адресат любой информационной войны – именно этот «Третий»: государственные структуры, властная группировка, лица, принимающие решение... Иногда информационная война дает новое позиционирование хорошо известного факта, стимулируя принятие решения, или демонстрируя, что решение зреет, а то и принято, что уже «можно». Именно так, похоже, и было в случае с Ю.М. Лужковым, «разоблачающая» информационная атака на которого (и его супругу) стала основанием принятия президентом решения об отставке многолетнего мэра Москвы как «утратившего доверие».

Отдельного рассмотрения заслуживают те случаи, когда «Третий» – инстанция, к которой апеллировала информационная война – решение не принимает. Тогда ситуация зависает. Или решение принимает некий возникающий другой «Третий» и конфликт разрешается вмешательством этой новой силы. Например, революцией или внешней оккупацией.

Кровавые этнические чистки в Сербской Краине Боснии, возбудившие мировую общественность, попытка самосожжения молодого человека в Тунисе, «тысячи» расстрелянных режимом Каддафи – эти события вытеснили все прочие новости в медийном пространстве, создали некую новую реальность, в апелляции к которой главами ведущих держав мира были сказаны такие слова, взять обратно которые было невозможно, – за ними должны были последовать действия. Они и последовали, во всей своей неоднозначности.

События в Тунисе, Египте, Ливии, Иордании, Бахрейне, в Сирии показывают, что главными акторами являются два центра Исламского Востока, претендующих на лидерство: суннитско-ваххабитская Саудовская Аравия и шиитский Иран. Но чередой создания Событий была апелляцией к активным действиям стран НАТО, прежде всего – США и Франции, сыгравших ключевую роль в обеспечении смены политических режимов. Можно было предполагать, что за этим должна последовать инициация волны антиамериканских настроений. Она и последовала – вокруг сожжения американскими военными в Афганистане нескольких экземпляров Корана, которые использовались заключенными для переписки. Это Событие дало импульс новой информационной

войне с апелляцией уже к исламскому миру с целью его дистанцирования от Запада.

Анализ произошедшего в исламских странах Севера Африки и Ближнего Востока показывает, что ключевую роль в событиях и международной реакции на них сыграли не столько новые информационно-коммуникативные технологии внутри конкретных стран, сколько формирование внешнего информационного контекста в глобальном информационном пространстве. Именно этот контекст создал и создает некую необратимость и задает вектор развития. Тогда как, для сравнения, кровавая бойня тутси и хутту, в которой погибли миллионы людей, не стала предметом озабоченности мирового сообщества. Просто потому, что эта бойня не попала в медийное пространство, не стала Событием. А не произошло это по одной причине – не было того «Третьего», которому его можно было бы адресовать.

## ERGO

Таким образом, можно сформулировать главные особенности «информационных войн», выделяющих их в специфическую технологию формирования и разрешения информационных конфликтов:

– это не только и не столько взаимные пропагандистские, манипулятивные атаки, сколько конфликт интерпретаций, в которых обозначаются противоборствующие стороны, инициаторы этих действий, их мотивация, интересы;

– реальным адресатом информационных войн является не противник, оппонент, а некий «Третий» (группа влияния, инстанция, лица, принимающие решение), на апелляции к которому обосновывают свои действия противоборствующие стороны, с целью побудить его к активности;

– механизмом «активации “Третьего”» выступает «Большое Событие» (возникшее или созданное) в информационном пространстве.

Очевидно, этим и объясняется как интерес к «информационным войнам», так и эффективность этой информационно-коммуникативной технологии в политическом процессе. Так же, как, наверное, и важность средств массовой коммуникации как политического института. Кто его контролирует, тот и держит в руках ключ к постинформационной политической реальности.

Главный конфликт вокруг этого контроля над «постинформационным Третьим» – конфликт государства и гражданского

общества, определяющий качественную палитру специфики современных обществ. Но вопрос не только в прямом контроле. Кто прорвался, создав Событие, тот уже добился существенного результата на пути к победе. Яркими подтверждениями этого являются «Манежка», формы гражданского протеста между выборами в Государственную Думу 2011 г. и президентскими выборами 2012 г.

Так, противостояние участников гражданского протеста против фальсификаций на выборах в Госдуму (и примкнувшей к нему оппозиции – внесистемной и отчасти системной), с одной стороны, и политического режима – с другой, во многом свелось к созданию новостных поводов – Событий: митингов, шествий, автопробегов... При этом, если оппозиционные митинги фактически были off-line продолжениями активности on-line возникших сообществ, то акции их противников организовывались по инициативе «сверху».

В результате выявился определенный предел такой технологии разрешения конфликта. Агрессивная атака властей, обвинения в стремлении к захвату власти, запугивание общества «оранжевой революцией», стравливание рабочих и интеллигенции, жителей провинции и столиц привели к тому, что движение за честные выборы, возникшее как гражданское движение, целью которого было формирование легитимных институтов государственной власти, стало политизироваться. С точки зрения развиваемого подхода, произошла «эволюция “Третьего”». Если первоначально протест был адресован самой государственной власти, то постепенно он втягивался в рамки избирательной кампании по выборам президента. И в этих условиях борьба за создание новостных поводов стала приводить к спорам вокруг численности участников этих акций («у кого митинг больше»), вырождаться во взаимные обвинения и инвективы, типичные для избирательных кампаний. В этой ситуации ключевым Событием могли стать сами президентские выборы, выявленные манипуляции на которых способны дать уже новые импульсы формированию российского гражданского общества, перевести эти импульсы на качественно новый уровень.

Однако развитие событий приобрело несколько иной характер. И ряд особенностей этой динамики становится ясным именно в терминах развиваемого подхода к пониманию природы информационных войн. Так, итоги думских выборов 5 декабря 2011 г. стали толчком для масштабного информационного конфликта, вышедшего за рамки избирательной кампании. Все участвовавшие в выборах партии в целом были согласны с их результатами:

ЛДПР и «Справедливая Россия» на следующий день после выборов поздравили своих кандидатов и избирателей с прохождением в Государственную Думу. Но все же 5 декабря стало «Большим Событием».

Протестное движение, возникшее после думских выборов, носило гражданский характер. В терминологии информационной войны с фальсификаторами выборов это была апелляция к государственным институтам власти по обеспечению легитимности новой Государственной Думы, наказания виновных в выявившихся фальсификациях. Моментом истины стал демонстративный отказ политического режима в учете этих требований. Оказалось, что «Третий», к которому апеллировали избиратели, оказался их противником.

И это стало моментом истины, когда все осознали: общество поняло с очевидностью, с какой властью оно имеет дело, а власть поняла реальное отношение к ней, как и то, что общество поняло, что она поняла... В результате сами президентские выборы предстали слаболегитимной процедурой, а гражданский конфликт стал приобретать все более политизированный характер, крайне обострившийся к процедуре инаугурации в начале мая 2012 г.

В этой связи возникает непростой вопрос: может ли победить в конфликте сторона, которая узурпирует позицию «Третьего»?

Тем самым развиваемый подход дает новые возможности анализа не только самих информационных войн, но и политического процесса, их порождающего.

## Литература

- Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн. – М.: Академический проект, 2007. – 384 с.
- Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. – М.: Академический проект, 2007. – 198 с.
- Власенко И.С., Кирьянов М.В. Информационная война: искажение реальности. – М.: Канцлер, 2011. – 196 с.
- Волконский Н.Л. История информационных войн: в 2-х ч. – СПб.: Полигон, 2003. – Ч. 2. – 736 с.
- Глазунова С.М., Тульчинский Г.Л. Парадоксальность «информационных войн» как репрезентации конфликтов в современном обществе: в поисках «постинформационного Третьего» // Модернизация как управляемый конфликт. – М.: Издательский дом «Ключ-С», 2012. – С. 333–338.
- Информационные войны. – Режим доступа: <http://www.infwar.ru> (Дата посещения: 10.05.2012.)

- Информационные войны в современном мире. – М.: Ключ!, 2008. – 96 с.
- Луман Н. Реальность массмедиа. – М.: «Канон+», 2012. – 240 с.
- Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В.Г. Николаева. – М.: Гиперборей; Кучково поле, 2007. – 464 с.
- Мухин А.А. Информационная война в России. – М.: Центр Политической Информации, ГНОМ и Д. – 2000. – 256 с.
- Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. – М.: Городец, 2004. – 528 с.
- Панарин И.Н. Технология информационной войны. – М.: КСП+, 2003. – 320 с.
- Почепцов Г.Г. Информационные войны и будущее. – К.: Ваклер. 2002. – 94 с.
- Расторгуев С.П. Информационная война. Проблемы и модели. Экзистенциальная математика. – М.: Академический проект и др., 2006. – 240 с.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Жан-Поль Сартр; пер. В.И. Колядко. – М.: Республика, 2000. – 639 с.
- Тульчинский Г.Л. Маркетизация гуманизма. Массовая культура как реализация проекта Просвещения: российские последствия // Человек. гл. Гуманитарный альманах. – Новосибирск, 2007. – № 3: Антропология в России: школы, концепции, люди. – С. 194–216.
- Alex Jone's infowars. – Mode of access: <http://www.infowars.com/> (Дата посещения: 10.05.2012.)
- Norris, P. Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2001. – 320 p.
- Owen D. Media: the complex interplay of old and new Forms // New directions in campaigns and elections / Ed by Medvic S.K. – N.Y.: Routledge, 2011. – P. 145–162.

# СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Т.П. Вязовик

## ТОК-ШОУ «СУД ВРЕМЕНИ» КАК «ИЗОБРЕТЕННАЯ ТРАДИЦИЯ»

Ток-шоу – относительно новый жанр развлекательных телепередач, который впервые появился на американском телевидении в 60-е годы XX в. Его классическая структура включает ведущего, приглашенных собеседников (экспертов) и зрителей в студии. При этом «каждый из участников ток-шоу, какова бы ни была его служебная функция внутри программы, одновременно является персонажем с заданной ему авторами ток-шоу ролью» [Кузнецов, 1998, с. 58]. Телепередачи такого рода обладают несомненной социальной значимостью, поскольку эффективно воздействуют на сознание телезрителей, формируя их докисические представления и соответствующие им модели поведения. Они получили широкое распространение и на современном российском телевидении. К этому жанру относятся телемосты, теледебаты, беседы, дискуссии – такие как «Основной инстинкт» («Первый канал»), «Свобода слова» («НТВ»), «Культурная революция» (канал «Культура»), «Времена» («Первый канал»), «Гражданин Гордон» («Первый канал»), «Центральное телевидение» («НТВ»), «“НТВшники”. Арена острых дискуссий» («НТВ») и др.

Среди них особое место принадлежит телевизионному шоу «Суд времени», стилизованному под «судебное заседание» [см., например: «Суд времени»]. Передача выходила на «Пятом канале» с 19 июля по 30 декабря 2010 г.; в начале 2011 г. было объявлено о ее закрытии, но 11 августа 2011 г. программа с новым названием «Исторический процесс» возобновилась на канале «Россия 1». На «Пятом канале» вышло в общей сложности 48 передач, которые

были посвящены переоценке переломных для России исторических событий, а также роли лиц, во многом определявших эти события. Современные ток-шоу в жанре судебных разбирательств – это своеобразное возрождение практики театрализованных «агитсудов», или «политсудов», имевших широкое распространение в 20–30-е годы XX в. в качестве формы управляемого государством досуга, призванной из мировоззренчески разношерстной массы сформировать «нового», так называемого «советского человека».

И прежние «агитсуды», и современное ток-шоу «Суд времени» можно рассматривать сквозь призму концепта «изобретенной традиции», который, по определению его автора, британского социолога Э. Хобсбаума, описывает «совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил» [Хобсбаум, 2000, с. 48]. При этом целью «изобретателей» «является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели – повторение. Последнее автоматически предполагает преемственность во времени. Специфика “изобретенных” традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивная. Говоря коротко, эти традиции представляют собой ответ на новую ситуацию в форме отсылки к ситуации старой. Или же они создают себе прошлое путем их как бы обязательного повторения. Тут виден контраст между постоянными изменениями и инновациями в современном мире и попыткой структурировать как минимум часть социальной жизни в этом мире как нечто неменяющееся и неизменное» [там же, с. 48–49]. Поскольку массовая публика не связывает современное ток-шоу с «агитсудами» прошлого, его вряд ли можно рассматривать как осознаваемую обществом традицию. Однако, на наш взгляд, такая связь имеет место, и возрождение этого вида досуга народных масс в новых формах, в новых, с технологической точки зрения, условиях, носит не формальный, а сущностный характер. Вместе с этим актуализируется матрица нашего исторического развития, в силу чего перед обществом уже в новых условиях ставятся старые задачи – задачи идеологического переформатирования, «перевоспитания» широких масс путем вытеснения старых представлений и замены их новыми, – что, видимо, можно связать с цикличностью исторического развития [см.: Холодковский, 2011; Пантин, 2011; Лапкин, 2011 и др.]. В то же время новое утверждается с помощью старых форм, доказавших свою эффективность еще в 20–30-е годы XX в.

## Старая форма на новый лад?

Остановимся на этом опыте подробнее. В 20–30-х годах, стремясь сформировать представление о публичном пролетарском суде как универсальном механизме достижения социальной справедливости, гарантирующем решение всех проблем, власть организовывала открытые судебные процессы, причем не только реальные, но и постановочные [Дмитриевский, 2009]. Как отмечал обозреватель журнала «Жизнь искусства» в 1924 г., суд стал любимым из зрелищ и самой доходчивой формой воспитания масс: «Для кого-то школа, для кого-то репетиция. Массы ждут судов. В начале 1924 г. – дело савинковцев, дело налетчиков-шпионов и дело просто шпионов, дело бывших следователей-судей, не говоря уже о множестве бытовых дел, рассматривающихся при “открытых дверях” суда. И все равно – мало, спрос не удовлетворен: параллельно с реальными множатся инсценированные суды» [там же, с. 417]. Годом ранее были обещаны суды «над декабристами, Дантесом – убийцей Пушкина, Макбетом и Отелло, прошел “Суд над театром”. 24 января среди траурных ленинских страниц нашлось место для отчета о “суде над Гапоном”. И даже конкурс стенных газет проходит в форме суда. Приговор: “Лучшей и образцовой газетой Ленинграда считать имя рек”» [там же, с. 417].

Одновременно на театральных подмостках в 1920–1930-х годах ставилось большое количество «историко-разоблачительных» пьес. Журнал «Новый зритель» констатировал «повальное, в угоду публике, увлечение современных драматургов историческими сюжетами» [там же, с. 417]. В.Н. Дмитриевский отмечает: «Новая агитпроповская концепция сценически интерпретировалась мощным потоком квазиисторической драматургии. В лидерах афиши – “Димитрий Самозванец и Василий Шуйский”, “Комик XVII столетия”, “Василиса Мелентьева”, “Воевода”, “Посадник” А.Н. Островского, “Смерть Ивана Грозного”, “Царь Федор Иоаннович” А.К. Толстого. К “декабризму” обратились А.Н. Толстой, А. Кугель и К. Тверской. Тема народничества переосмыслиется в “Предательстве Дегаева” В. Шкваркина, “1889-том” Н. Шаповаленко. Целый блок драматургии был посвящен событиям 1905 г. – “Страна отцов” С. Гусева-Оренбургского, “Георгий Гапон” Н. Шаповаленко, “1905 год” А. Бардовского, “1905 год” Б. Гандурина, “Азеф” А.Н. Толстого и П. Щеголева» [Дмитриевский, 2009, с. 421].

Как отмечают исследователи, важнейшей идеологической составляющей «агитсудов» и театрализованных зрелищ этого пе-



риода стало стремление власти изменить историческую и культурную память общества, разоблачить врагов дела революции, скомпрометировать «старые» нравственные ценности и их персонифицированных носителей. Государство стремилось разрушить старый мир и выстроить на его обломках новый, основанный на пролетарской системе ценностей. Новая идентичность формировалась путем дискредитации и вытеснения старой, что требовало демонизации образа врага. В этих условиях постановочные суды выступали наиболее эффективным инструментом воздействия на сознание масс.

Стоит отметить, что форма постановочного суда имела предысторию в организации досуга образованной публики XIX в.: «суды», как правило, над литературными героями, практиковались в клубах и на семейных вечерах. Тема суда во второй половине XIX в. была в высшей степени актуальна в связи с судебной реформой, в результате которой выработалось специфически российское представление о суде не только как о форме достижения высшей справедливости, но и как проявлении милосердия, сочетании нравственных и правовых критериев в отправлении правосудия [см.: Яшин, 2009]. Интерес к суду как форме решения морально-этических проблем в этом контексте был вполне закономерен.

Советская власть использовала высокий авторитет суда в глазах общества для легитимации своей власти и индоктринации населения. «Политсуд, – говорится во вступительной части одной из инструкций по организации этих мероприятий, – представляет собой одну из форм агитации и имеет целью, овладев настроением аудитории, внедрить в ее сознание ту или иную идею (например, идею преступности, бандитизма, дезертирства, идею правильности новой эконом-политики, и т.п.)» [цит. по: Нейстат, 2012].

Исследователи обнаруживают определенную эволюцию в развитии этой формы: на первом этапе – это импровизированные суды, в которых оппонентами выступали реальные носители ценностных систем. В наибольшей степени это касалось «богоборческих» судов, в которых религиозные ценности защищали священники. Однако часто именно они оказывались победителями. Поэтому такие суды вытеснялись инсценировками, в которых роли исполнялись самодеятельными артистами [Слезин, 2009, с. 93–94]. Нередко «агитсуды» представляли собой своеобразные спектакли, драматическую основу которых составляли произведения А.П. Чехова, А.И. Куприна, А.Н. Островского и др. Канва пьесы бралась из классической литературы, а нужное звучание ей придавали самодеятельные авторы, которые составляли текст на «злобу

дня» [Современные концепции... 1998, с. 67]. Позже по их подобию строились инициируемые гражданами «суды» над вполне конкретными лицами, обвиняемыми в нарушении социалистических норм, вне рамок судебной системы. Все это, как считают исследователи, подготавливало массы к восприятию инсценированных судебных процессов сталинской поры [см.: Гурьев, 2011; Лихонина, 2008].

Если в данном контексте обратиться к ток-шоу «Суд времени», то с точки зрения решаемых авторами и участниками целей и задач можно обнаружить немало общего: современная телепередача также призвана оказать воздействие на сознание зрителей, сформировать их мировоззрение вполне определенным образом и одновременно подвергнуть сомнению альтернативные системы ценностей. Форма суда оказывается наиболее приемлемой для этих целей. Как отмечали разработчики одного из судов 20–30-х годов, «главные достоинства этой формы агитации заключаются в том, что здесь дается живой показательный материал, который действует не только слуховыми, но и зрительными впечатлениями. В инсценировку вовлекаются не только спецы-актеры и политработники, но и рядовые красноармейцы и граждане, а таким образом, кроме показательности, дается материал и для самостоятельности. Дискуссионная, диалогическая форма изложения удерживает фокус внимания на содержании, а живость формы укрепляет его в сознании слушателей» [Суд беспартийных... 1923, с. 3–4]. Именно эти свойства являются актуальными и для современных шоу-судов, которые, будучи формой досуга, ориентированы на зрелищность и широкую вовлеченность зрителей, выступающих в роли судей.

Вопросы истории представляются благодатным для этой цели материалом, поскольку, как отмечал Марк Ферро, принадлежащий к историографической школе «Анналов», «истории, независимо от ее тяги к научному знанию, присущи две функции: врачевание и борьба. Эти миссии осуществлялись в разные времена по-разному, но смысл их остается неизменным: <...> наукообразия и методология служат не более чем “фиговым листком” идеологии» [Ферро, 1992, с. 9–10].

Идеологию мы понимаем не только как систему идей, но как «способ функционирования символических форм (в принципе, любых символических форм, не обязательно вербальных, это могут также быть образы, вещи – все, что может быть наделено смыслом) в пространстве, в котором есть отношения господства и

власти. В этом случае идеология имеет место, когда, к примеру, говорящий пытается воздействовать на аудиторию, стремясь создать некую иерархию ценностей, легитимировать или делегитимировать определенные практики и т.д. В этом смысле идеология может присутствовать не только в политических текстах, но практически в любом дискурсе» [Малинова, 2004].

### **Анализ структуры ток-шоу как коммуникативного события**

Для анализа практики телевизионного ток-шоу мы будем использовать схему дискурсивного анализа текстов массовой коммуникации, разработанную Т. ван Дэйком, в частности, его исследование компонентов иерархической структуры медиатекста [см.: Дэйк, 1989]. В макроструктуре анализируемого шоу выделяются такие ее элементы, как «Заголовок», «Тема», «Участники», «Сценарий», которые, в свою очередь, включают «Информационные блоки»: «Презентация первого уровня», «Материал вопроса», «Актуализация темы», «Презентация второго уровня», «Слово обвинения», «Слово защиты», «Финальное слово», «Голосование». Главной задачей является понять замысел текста, тот набор идей и представлений, с помощью которого авторы ток-шоу объясняют и формируют реальность. Это должно помочь, с одной стороны, выделить тот круг идей и представлений, которые являются общими для участников ток-шоу, с другой стороны, определить спектр позиций, по которым они расходятся. С учетом практики контроля контента ведущих телеканалов, сложившейся в 2000-х годах, можно предположить, что в обоих случаях артикулируемые позиции вписываются в рамки допустимого с точки зрения власти [см.: Малинова, 2011]. При этом мы будем сопоставлять современные ток-шоу с политсудами 20–30-х гг. XX в.

#### **Заголовок**

Для «политсудов» XX в. характерны заголовки, которые информируют о лицах или явлениях, являющихся объектами обвинения; в качестве таковых выступали «враги» советской власти: «Суд над фабрикантом, жаждущим вернуть национализированную у него фабрику», или «Суд над Пуанкаре и Вильсоном, помогающим белогвардейцам вешать и расстреливать рабочих» [Салова, 2003, с. 76–77], «Суд над коммунистом, венчавшимся в церкви»,

«Суд над коммунистом, жена которого торгует на рынке», «Суд над предпринимателем, нарушающим советское законодательство» и др. [Гурьев, 2011, с. 315]. Но не только. Часто объектом судебного разбирательства выступали и герои советского строя: «Суд над деятелями 9 января 1905 г.», «Общественный суд над отделом по отделению церкви от государства» [Гурьев, 2011, с. 315], «Суд беспартийных рабочих и крестьян над Красной Армией» [см.: Суд беспартийных...1923] и т.п.

Тем самым происходило разделение общества на приверженцев советской власти, «друзей народа» и на его врагов. Однако обвинение и защита лишались ценностной определенности: обвинять можно было и тех, кто ни в чем не виноват; в ходе судебного разбирательства при участии прокурора и защитника даже бывший народный герой мог быть разоблачен как враг народа. Ценностная амбивалентность обвинения и защиты выхолащивала морально-этическое содержание дореволюционного суда с его идеей милосердия. Если «адвокаты XIX в. доказали, что в России реально осуществлять правосудие, руководствуясь идеями гуманизма и справедливости даже в условиях самодержавия и отсутствия демократических свобод в обществе» [Яшин, 2009, с. 9], то политсуды доказывали, что защитник вполне может выступать на стороне неправого, несправедливого дела. Тем самым формировалось представление о суде как карательном органе, неспособном к милосердию.

Как ни странно, но и в современных ток-шоу сохранились как разделение на «тех, кто с нами», и «тех, кто против нас», так и амбивалентность обвинения и защиты. Это нашло отражение и в самих заголовках тем.

Любое ток-шоу имеет вопросно-ответную форму, которая определяет их драматургию и позволяет выносить на обсуждение неограниченный круг проблем. При этом определяющим является характер вопросов. Обычно выделяют открытые и закрытые вопросы, в соответствии с которыми некоторые исследователи классифицируют подобные шоу. Открытый вопрос – это вопрос, требующий развернутого ответа, содержание которого не предопределено заданным вопросом, за исключением темы. Такого рода вопросы были характерны, например, для ток-шоу «Времена» В. Познера («Первый канал»). Закрытые вопросы – это либо альтернативные вопросы, которые уже содержат вариант ответа, и участнику остается выбрать из двух предложенных вариантов (например: «У тебя кошка или собака?»), либо вопросы, требую-

щие однозначного ответа: «да» или «нет» (например: «Играл ли ты когда-нибудь в шахматы?»).

Драматургия «Суда времени» определяется альтернативными вопросами, вынесенными в заголовок обсуждаемой темы (так называемые заголовки первого уровня). Например: «Беловежское соглашение: катастрофа или меньшее из зол?» [Стенограммы «Суда времени». 01]; «Коллективизация: преступная авантюра или страшная необходимость?» [Стенограммы «Суда времени». 04]; «Пакт Молотова–Риббентропа – путь к началу Второй мировой войны или необходимая передышка для СССР?» [Стенограммы «Суда времени». 13] и т.п. Тем самым участники шоу и зрители оказываются в рамках тех возможных альтернатив, которые изначально задают авторы шоу, следствием чего является «несвобода» оппонентов: они лишаются возможности выражения своих собственных мнений, если последние выходят за рамки предложенных альтернатив. Формулировки вопросов несут очевидную идеологическую нагрузку, нацеливая на положительную или отрицательную оценку предмета обсуждения, закрепленную за ролями защитника и обвинителя. При этом обвинение и защита теряют содержательную определенность – фиксируется лишь сам факт разделения, что напоминает известное «ты за кого – за белых или красных?». Зрители в таком шоу должны выбрать, какая из позиций будет «своей», а какая – «чуждой». В результате идет процесс идеологической дифференциации, разделения на «своих» и «чужих».

Вместе с этим альтернатива «за» или «против», определяющая оценку исторических деятелей и явлений, приводит к закреплению в сознании зрителей архаичной манихейской традиции выбора между двумя интерпретациями, исключающей возможность многообразия трактовок исторического прошлого. Однако надо иметь в виду, что идеи и представления, транслируемые телевидением, оказывают воздействие на массовое сознание независимо от оценок, данных авторами шоу: важно, чтобы сами эти идеи и представления стали доступны широким массам.

## Темы

Тематика постановочных политсудов начала XX в. не представляла вполне определенной системы. Как отмечали исследователи, «периодичность таких мероприятий была невелика, они проводились от случая к случаю, несколько раз в год» [Гурьев, 2010, с. 316], что было обусловлено в том числе и технологическими

ограничениями. По словам организаторов, «главный недостаток этой формы агитации заключается в том, что она требует несравненно большего времени на подготовку, чем митинг или лекция, а также и то, что требует наличия некоторых технических средств: сцена, будафория и костюмы» [Суд беспартийных... 1923, с. 4]. Политсуды отражали темы, актуальные для народных масс в целом или для отдельных групп населения в частности. Примером последнего могут служить антирелигиозные политсуды, направленные против языческих верований среди якутского населения [Слезин, 2009, с. 91–92].

Темы современных ток-шоу ориентированы на максимально широкого зрителя и представляют целостную систему: их отбор подчинен задаче осветить основные этапы развития России: дореволюционный, советский, постсоветский. Авторы сосредоточились на острых, идеологически нагруженных периодах, требующих, по их мнению, переоценки. Например: «Реформы Петра I – прорыв в будущее или путь в тупик?» [Стенограммы «Суда времени». 14]; «“Холодная война” – неизбежность или путь, имевший альтернативу» [Стенограммы «Суда времени». 15]; «Егор Гайдар – созидатель или разрушитель» [Стенограммы «Суда времени». 03] и т.д. При этом затрагивались и представляющиеся актуальными с точки зрения формирования мировоззрения некоторые темы мировой истории.

Каждая тема конкретного шоу – это, в свою очередь, система микротем, формируемых вопросами второго уровня, заголовки которых – открытые или закрытые вопросы, требующие однозначного ответа. Так, в теме «Декабристы: политические честолюбцы или передовая часть российской элиты?» [Стенограммы «Суда времени». 40] вычленяются следующие подтемы, оформленные с помощью открытых вопросов: ««Какие исторические вызовы породили движение декабристов?»»; «Чем обернулось подавление восстания декабристов?»»; «В чем моральный и политический смысл восстания декабристов?» [там же]. Тема «Григорий Распутин – жертва мифотворчества или разрушитель монархии?» [Стенограммы «Суда времени». 33] раскрывается с помощью открытых: («Почему Распутин смог появиться в окружении Николая II?») и закрытых вопросов («Распутин – один из многих или ключевая фигура в большой игре?»»; «Влиял ли Распутин на процессы управления страной?»»; «Стала ли распутинщина причиной краха монархии?») [там же]. Таким образом, шоу включает блоки, объединенные микротемами, которые в совокупности призваны раскрыть заявленную тему.

Вместе с тем отсутствует хронологический принцип в последовательности представления тем, который бы мог позволить сформировать осознанные систематические взгляды на события, что было бы характерно для просветительских программ. Так, шоу начинается с темы «“Беловежское соглашение”: катастрофа или меньшее из зол?» [Стенограммы «Суда времени». 01], затем последовательно: «Гай Юлий Цезарь: губитель республики или спаситель государства?» [Стенограммы «Суда времени». 02]; «Гайдар: созидатель или разрушитель?» [Стенограммы «Суда времени». 03]; «Коллективизация это преступная авантюра или страшная необходимость?» [Стенограммы «Суда времени». 04]; «События осени 93-го года – выход из тупика или крах демократического проекта в России?» [Стенограммы «Суда времени». 05]; «Николай II – достойный правитель или лидер, приведший страну к краху?» [Стенограммы «Суда времени». 06] и т.д. В результате просветительская функция отступает на второй план, в то время как на первый выдвигается задача донести до телезрителя некие идеологизированные послания, являющиеся, по мнению авторов, актуальными для современной действительности.

## Участники

В шоу участвуют ведущий, обвинитель, защитник, эксперты со стороны обвинения и защиты, зрители в зале, телевизионные зрители. Для сравнения, в число персонажей политсудов прошлого входили председатель суда, его секретарь и члены, комендант, часовые, корреспонденты газет, прокурор, защитник, обвиняемые, свидетели обвинения, свидетели защиты [Суд беспартийных... 1923, с. 7–9]. Если политсуды стремились максимально точно воспроизвести ход судебного заседания, что способствовало их дальнейшей трансформации и позволяло рассматривать в качестве подготовки к реальным процессам, то в ток-шоу акцент переносится с процедуры (она не столь важна) на идеологическую составляющую, что ведет к изменению роли ведущего.

В политсудах им является председатель, выполняющий сугубо служебную функцию и демонстративно подчеркивающий свой нейтралитет. В ток-шоу образ ведущего персонифицирован: Н.К. Сванидзе создает образ интеллектуала, разбирающегося в обсуждаемых проблемах не хуже дискуссионщиков и экспертов, что он с успехом доказывает, выступая с комментариями. Ведущий не ограничивается ролью модератора, организатора процесса, но

берет на себя три функции: во-первых, управляет ходом шоу (модератор); во-вторых, выступает арбитром, что предполагает отсутствие идеологической ангажированности; в-третьих, выражает свое субъективное мнение, которое приобретает дополнительный вес благодаря образу всезнающего интеллектуала. Это порождает противоречие, усугубляющее идеологический характер шоу. Независимость арбитра оказывается фиктивной, что побуждает зрителей непроизвольно восстанавливать справедливость, поддерживая его оппонента.

Маски обвинителя и защитника не закреплены за участниками шоу на постоянной основе: в зависимости от обсуждаемой темы и Л.М. Млечин, как правило, озвучивающий «либеральный» дискурс, и С.Е. Кургиян, выступающий с консервативных позиций, выступают то в роли защитника, то обвинителя. В ролях экспертов, свидетелей обвинения и защиты выступают ученые-историки, общественные деятели, журналисты, авторитетность мнений которых подкреплена их общественным статусом. Вместе с тем научная информация, а также личные пристрастия дискуссионщиков не всегда укладываются в идеологические рамки заданных оппозиций, что ведет к тому, что свидетель защиты может фактически поддерживать обвинение и наоборот. Эта амбивалентность защиты и обвинения, как уже отмечалось, была характерна и для политесудов. Так, в одной из инструкций по организации политесудов отмечалось, что «в роли обвиняемого... могут выступать либо враги советской власти, активные или пассивные, либо, напротив, деятели революции. В первом случае задача проведения революционных идей в сознание аудитории возлагается, главным образом, на обвинителя, во втором – на защитника» [Нейстат, 2012].

Значительное место в этом действе занимают виртуальные свидетели. Обычно это письма, дневниковые записи, мемуары участников событий, окрашенные субъективно, но преподносящиеся как непредвзятые документы, приравниваемые к фактам, что тоже вполне соответствует практике политесудов. В частности, «Суд беспартийных рабочих и крестьян над Красной Армией» был составлен с использованием материалов, среди которых сборник «Смена вех», книги Н. Мещерякова «На переломе», Х. Раковского «Борьба за освобождение деревни», журналы «Пролетарская Революция» № 2 за 1921 г. и «Политвестник» № 2 за 1920 г., «Бюллетень Наркоминдела», и из других источников [Суд беспартийных... с. 5].



## Сценарий

*Информационные блоки* включают презентацию темы первого уровня, представление участников шоу, осуществляемые ведущим, изложение *материала вопроса*, содержащего в основном объективную безоценочную информацию, *актуализацию* темы (по просьбе ведущего обвинитель и защитник обосновывают причину, по которой именно сейчас, в настоящее время, возникла потребность исследовать данную проблему). Это создает иллюзию непредвзятости и научной добросовестности последующего обсуждения.

*Структура микроблока* состоит из презентации микротемы (вопросы второго уровня), выступлений обвинителя и защитника, сопровождающихся выступлением их свидетелей и оглашением документальных свидетельств.

Какие же послания транслируют эти основные участники шоу? Чтобы разобраться в этом, надо учитывать, что в этом шоу в качестве объекта репрезентации выступают не столько роли, сколько ценностные системы. Один из оппонентов, Л.М. Млечин, выступает в основном с «либеральных» позиций, другой – С.Е. Кургинян – отстаивает «интересы государства».

Анализ тем, в которых они поддерживали те или иные ценностные системы или, наоборот, выступали в качестве обвинителей, позволяет утверждать, что Л.М. Млечин последовательно защищает современный, сложившийся в результате перестройки Горбачёва и революции Ельцина режим со всеми его ценностями. Нет ни одной темы этого периода, в которой бы он выступил обвинителем. В это же время С.Е. Кургинян дает перестройке и ельцинской эпохе (распад СССР, реформы Гайдара, конституционный кризис 1993 г.) отрицательную оценку, не подвергая сомнению необходимость построения демократического государства: «Мы хотим построить в России демократическое правовое государство», но другими средствами [Стенограммы «Суда времени». 05].

Исторические события советского периода, связанные со становлением советской власти и функционированием СССР (Октябрь 1917, коллективизация, индустриализация, стахановское движение, пакт Молотова-Риббентропа, эпоха Брежнева, деятельность Андропова и др.), неизменно оцениваются Л.М. Млечиным отрицательно, тогда как явления распада государства, в частности Беловежские соглашения, получают положительную оценку [Стенограммы «Суда времени». 09, 04, 32, 35, 13, 17, 21, 01]. При этом

данный исторический этап противопоставляется самодержавному периоду развития государства как наиболее «правильному». В частности, «была успешной индустриализация Витте», в отличие от советской индустриализации [Стенограммы «Суда времени». 32]. Прямо противоположную позицию занимает С.Е. Кургинян, высоко оценивающий этот период развития страны.

Отношение наших дискутантов к самодержавному периоду демонстрирует более сложную картину. Л.М. Млечин осуждает самодержавную власть (Юлия Цезаря, «губителя республики», Ивана Грозного, «кровавого тирана» [Стенограммы «Суда времени». 02, 25]), однако в то же самое время выступает защитником российского самодержавия (Николай II – «достойный правитель» [Стенограммы «Суда времени». 06]) и осуждает декабристов, выступивших против такой власти (декабристы – «политические честолюбцы» [Стенограммы «Суда времени». 40]). В споре «почвенников» и «западников» Л.М. Млечин стоит на стороне «западников»: разоблачая Александра Невского, он оценивает внешнюю политику, им проводимую, «как губительную», поскольку она была ориентирована на Орду, а не Запад [Стенограммы «Суда времени». 18]. Но и деятельность Петра Первого оценивается как «путь в тупик», поскольку его реформы не превратили Россию в полноценное западное государство [Стенограммы «Суда времени». 14]. С.Е. Кургинян во всех этих «судах» оппонирует Л.М. Млечину, защищая противоположные ценности [Стенограммы «Суда времени». 02, 25, 06, 40, 18, 14].

Таким образом, вряд ли можно говорить о противопоставлении в лице Л.М. Млечина и С.Е. Кургиняна собственно либеральной и консервативной систем ценностей, скорее речь должна идти о культурной оппозиции «почвенничества» и «западничества». С.Е. Кургинян выступает в роли «почвенника», отстаивающего национальную самобытность, которую он связывает с приоритетом ценностей государства. Это позволяет ему «защищать» Сталина и сталинизм, советскую власть как «национально-самобытные» явления. А «западник» Л.М. Млечин, напротив, критикует то, что представляется ему издержками «национальной самобытности» [см., например: Стенограммы «Суда времени». 31, 04, 32, 35]. Как показала О.Ю. Малинова, реанимация старой оппозиции «почвенничества» и «западничества» в годы перестройки была результатом того, что в условиях оскудения интеллектуальной среды старая интерпретационная модель стала использоваться в качестве готовой формы, поскольку ресурсы для выработки ка-

ких-то других, более сложных и многогранных конструкций отсутствовали [Малинова, 2009, с. 140]. Думается, в определенной мере эта оппозиция находит отражение и в данном ток-шоу.

Складывается впечатление, что один из дискуссионтов (С.Е. Кургинян) отстаивает укоренившиеся в массовом сознании исторические мифы, в то время как другой (Л.М. Млечин) выступает с позиций переоценки сложившихся в обществе представлений. В ходе такой переоценки озвучивается мнение, согласно которому историческое развитие России оценивается как ущербное, что порождает фрустрацию. Вместе с тем это оправдывает пересмотр устоявшихся интерпретаций исторических событий, что составляет основную задачу данного шоу: надо не просто воспитать телезрителя, но перевоспитать его, побудить оценивать историю России уже с вполне определенных позиций.

Однако разоблачение «почвеннических» исторических мифов, признанных обществом, путем создания «западнического» мифа, согласно которому Россия все это время развивалась неправильно, потому что она не в состоянии повторить ход развития Запада, ведет не к утверждению западных ценностей, а к прямо противоположному – укреплению, усилению «почвеннического» мифа в массовом сознании, так как порождает так называемую «коррупцию сознания» (Р.Дж. Коллингвуд) – самую распространенную форму иррационализма, вследствие чего факт «фрустрации» – неудачной попытки самовыражения – «полупризнается», что выражается «в насильственном переключении внимания с нежелательного предмета на “возвышающий обман” угодливо льстивых представлений о самом себе, в культивировании утешительных иллюзий, заботливо сохраняемых от столкновения с правдой» [Кисель, Коллингвуд, 1980, с. 428]. То обстоятельство, что большинство зрительской аудитории по итогам шоу голосует в пользу «почвенничества», свидетельствует именно об этом.

Кроме того, в ходе этих «судов» мы сталкиваемся с еще одним феноменом – разрушением прошлого как источника традиции, т.е. того, что придает любой социальной системе устойчивость и стабильность. Оказывается, в истории России нет ни одного периода, оценка которого не подвергалась бы сомнению. Тем самым прошлое приобретает черты иллюзорности, относительности, а значит, не может быть основой полноценной традиции.

Чтобы проиллюстрировать это, обратимся к анализу некоторых передач, посвященных самодержавному периоду. Начнем с передачи, посвященной времени правления Николая II. Уже в фор-

мулировке темы *«Николай II – достойный правитель или лидер, приведший страну к краху?»* [Стенограммы «Суда времени». 06] имплицитно содержит информация, примиряющая две противостоящие позиции, а именно: высокая оценка российского самодержавия. Если Николай II «достойный правитель», значит и все время его правления «достойно», а падение режима вызвано независимыми от власти причинами. Если же он привел страну «к краху», то самодержавный период оценивается в качестве положительного, а его смена социалистической системой – «крахом» [там же].

Таким образом, положительная оценка российского самодержавия является тем общим, что объединяет позиции оппонентов. Но с этой точкой зрения вынуждены согласиться и зрители, если они принимают правила игры данного шоу. Вопрос теперь сводится лишь к выявлению того, кто виноват в крахе этой достойной системы. С.Е. Кургинян, выступающий обвинителем, доказывает, что виноват «в крахе» Николай II, в то время как Л.М. Млечин убеждает телезрителей, что император – «достойный правитель» [там же]. Однако содержание «суда» не сводится к этим доказательствам – оно гораздо шире и включает высказывания оппонентов и их свидетелей по самым разным проблемам, связанным с темой власти. Этому способствует система вопросов, представляющих микротемы: «Благополучна ли была держава, которую возглавил Николай II?», «Эффективно ли Николай II повел себя как политик и администратор?», «Эффективно ли повел себя Николай II как военачальник?», «Контролировал ли Николай II кадровые назначения?», «Контролировал ли Николай II свою семейную ситуацию?», «Сохранил ли Николай II к моменту отречения авторитет в военной, церковной и иных социальных сферах?» [там же].

Послание С.Е. Кургиняна и свидетелей обвинения (А.В. Репникова, прежде всего) содержит несколько требований к власти: во-первых, для того, чтобы государство процветало, власть должна быть сильной, а значит, при необходимости идти на крайние меры – уничтожать врагов. Поэтому при «сильном» Александре III государство благоденствовало, а при «слабом» Николае II разрушилось. Во-вторых, власть должна иметь программу капиталистической модернизации – она бы спасла страну, по мнению А.В. Репникова. В-третьих, необходима была кадровая модернизация, т.е. привлечение новых людей, формирование новой элиты, которая бы заботилась не о личной выгоде, а была государственно и национально ориентированной. В-четвертых, если монархическая власть слаба из-за личных качеств монарха, обязательно

должен быть сильный министр, подобный П. Столыпину, который является идеальным государственным деятелем. Наконец, камарилья оказывает негативное воздействие на государственную систему.

Послание Л.М. Млечина и его свидетелей во многом повторяет послание их оппонентов: модернизация необходима, и Николай II модернизировал страну; идеальной политической системой является конституционная монархия, идеальным государственным деятелем – П. Столыпин. Необходима смена элиты, так как именно она «сдала» Николая [Стенограммы «Суда времени». 06]. Власть должна быть сильной, и если правители слабые, нужны сильные менеджеры. Врагами идеальной системы являются большевики.

Вместе с тем появляются и новые тезисы: утверждается, что благом для России является приращение территорий, осуществляемое самодержавной властью, в то время как такая же деятельность советской власти оценивается отрицательно. Наконец, озвучивается мысль о том, что главной опасностью для власти является «черный пиар» средств массовой информации [там же].

Разумеется, это «послание» Л.М. Млечина трудно соотнести с либеральными ценностями: оно не только не отличается от положений, прозвучавших из уст С.Е. Кургиняна и его сподвижников, но еще в более острой форме демонстрирует свой антилиберальный характер.

Не менее интересные выводы можно сделать, анализируя содержание передачи на тему *«Реформы Петра I: прорыв в будущее или путь в тупик?»* [Стенограммы «Суда времени». 14]. Вопрос такого рода традиционен для российской культуры, так как оценка Петровских реформ в XIX столетии в определенной степени разделила интеллектуальную элиту России на два лагеря: «западников» и «славянофилов». Как же решается эта проблема в рамках «Суда времени»?

Перечислим микротемы, позволяющие аргументированно ответить на данный вопрос: «Можно ли назвать реформы сверху историческим изобретением Петра?», «Была ли возможность у Петра I проводить реформы другими методами?», «Успел ли царь-реформатор завершить свое дело, и были ли достойные продолжатели реформ Петра I?», «Осталась ли Россия в выигрыше в результате Петровских реформ?», «Стала ли Россия европейской после реформ Петра I?» [там же].

Уже во вступительном слове, представляя тему, ведущий намечает ее желательное развитие. Он говорит: «На первый взгляд, время Петра I уж точно попадает под богато звучащий термин

“точка бифуркации”, что попросту означает развилку. Историческую развилку, когда страна выбирает путь дальнейшего развития. Именно в этом русле в России шли дискуссии о Петре и в XVIII и в XIX вв. Одни говорили: здорово, что Петр ввел Россию в Европу. Другие видели в этом большое зло. К концу XX в. страна продемонстрировала, что вопрос гораздо сложнее. Задачи по-прежнему те же, что и в петровские времена. Решение предполагается отсюда же, т.е. сверху. *За три века основы устройства страны не изменились. И это многое говорит о сути Петровских реформ* (выделено нами. – Т.В.)» [Стенограммы «Суда времени». 14].

Обвинение в лице Л.М. Млечина, подхватывает высказанный Н.К. Сванидзе тезис: в России ничего не изменилось, по-прежнему отсутствует гражданское общество и все реформы осуществляются сверху [Стенограммы «Суда времени». 14]. Однако со стороны обвинения телезрители слышат и новые положения. Оказывается, власть всегда и везде осуществляет реформы сверху. Тем самым этот тезис лишается оценочности и выводится за рамки инвектив, которые, с одной стороны, подчеркнута скандальны и противоречат известным историческим фактам, изложенным в трудах авторитетных историков, с другой – излагаются людьми, не имеющими безусловного признания в научном мире.

В частности, утверждается: реформы Петра – это «фикция. Всё, что приписывают Петру: от кукурузы и зеркал и кончая реформой армии и флота – дело его отца и деда. А конец реформ приходится на правление Фёдора, старшего сводного брата Петра. Примерно 1680–1681 г. Тогда благодаря этим реформам была выиграна первая война с Турцией» (А. Буровский); не было никакой модернизации (он же), не было никаких реформ (А. Макеев); «Надо стать на колени перед Елизаветой Петровной и Екатериной Великой – они сделали Питер. Вот им поклон» (он же); войны, которые вел Петр, не отражали интересы России (А. Широкопад); после реформ Петра пришли в упадок Тверь, Псков, Новгород (Л. Млечин); до Петра Россия была более демократичной, чем Британия (А. Буровский); начиная с Петра, Россия стала слабой и остается таковой до сих пор (А. Буровский) [Стенограммы «Суда времени». 14] и т.п.

Эти обвинения сочетаются с утверждением уже известных из других шоу идей о необходимости сильной власти и сильной России, о необходимости демократии и гражданского общества. Однако в скандальном контексте идеи демократии и гражданского общества звучат откровенно неубедительно.

И это понятно. Петр I в народном сознании является «великим», тем государственным деятелем, которым можно и нужно гордиться. Положительная оценка его деятельности означает положительную оценку и сегодняшнего дня: ведь пафос данного судебного заседания заключается в том, что Россия продолжает идти тем путем, по которому ее направил Петр (модернизация по западному образцу, но со своим «лицом»). В то же время отрицательная оценка ведет к отрицанию всего пути России, включая ее сегодняшний день, который с этих позиций представляет собой тупик, так как «свое лицо» – это лик «восточной деспотии» («Реформы Петра I: прорыв в будущее или путь в тупик?» [Стенограммы «Суда времени». 14]).

Как представляется, акцент в этом шоу делается на защите: и С.Е. Кургинян, и его свидетели находятся в рамках традиционных трактовок деятельности Петра – преобразователя. При этом и реформы «сверху», и способность Петра во имя модернизации преодолевать сопротивление народа оцениваются в высшей степени положительно: как знак «сильной» власти. Признавая, что «эпоха Петра была жестокой, полицейской» [там же], защитник считает, что «издержки окупаются приобретением – модернизацией». Кроме того, вводится тема «великой России», которую признал в этом качестве Запад.

Интересно, что и для обвинения, и для защиты Запад остается значимым Другим. Однако если обвинение считает, что неспособность России стать Западом – отражение ее неполноценности как государства («восточная деспотия»), то для защиты Запад – ориентир, к которому надо стремиться, сохраняя свою самобытность.

Таким образом, опять актуализируются идеи сильной власти, способной преодолевать сопротивление народа, и сильного государства; модернизации по западному образцу; социального лифта, который открыл Петр, по мнению Н.К. Сванидзе [Стенограммы «Суда времени». 14], т.е. тот круг идей, который поднимался и в других «судах», посвященных самодержавному периоду.

В частности, в «суде» «Григорий Распутин – жертва мифотворчества или разрушитель монархии?» [Стенограммы «Суда времени». 33] звучат мысли об элите, которая перестала думать о государстве и занялась решением личных корыстных задач (С.Е. Кургинян, обвинитель); о конституционной монархии как идеальной форме государства (Л.М. Млечин, С.Е. Кургинян); о средствах массовой информации как источнике дестабилизации (В.М. Лавров, свидетель защиты); о власти, которая должна быть

сильной, чтобы бороться с оппозицией, подобно П. Столыпину и Петру I (Н.В. Стариков, свидетель обвинения).

В «суде» «Иван IV: кровавый тиран или выдающийся политический деятель?» [Стенограммы «Суда времени». 25] в качестве само собой разумеющегося признается – и со стороны обвинения (Л.М. Млечин), и со стороны защиты (С.Е. Кургинян) – что монархия – тот строй, который представляется для России идеальным, а модернизация – необходимый для России процесс. Поднимается тема элиты, ее значительной роли в модернизационных процессах. Вместе с тем, как и в «суде», посвященном теме Петра I, актуализируется мысль об опасности тирании, включая репрессии против элиты.

Анализ «Судов времени», предметом обсуждения в которых являются события и государственные деятели самодержавного периода, позволяет выделить консервативный комплекс идей и представлений, общих для Л.М. Млечина и С.Е. Кургиняна. Во-первых, это убеждение, что власть и государство, ею управляемое, должны быть сильными и уметь бороться с оппозицией. Во-вторых, власть обязана «сверху» проводить модернизационные реформы. В-третьих, она должна опираться на новую государственно ориентированную элиту и отказаться от старых элит, которые уже полностью служат личным интересом. Если она этого не сделает, ее ждет революция. В-четвертых, самый эффективный государственный режим – это конституционная монархия, а самый эффективный государственный деятель – П. Столыпин. Что касается различий в оценках этого периода, то они носят частный характер. Пожалуй, наиболее остро стоит вопрос о репрессиях как форме достижения государственно значимых целей: представители «либерального» дискурса выступают против использования репрессивных мер, в то время как «государственники» их оправдывают («Лес рубят, щепки летят» [см., например: Стенограммы «Суда времени». 04, 06, 09, 14, 25, 33 и др.]).

Вместе с тем «либералы», как и «государственники», видят идеал в деятельности П. Столыпина, который, как известно, будучи министром внутренних дел, а позже премьер-министром, в целях защиты монархии и борьбы с оппозиционными слоями санкционировал карательные меры, беспрецедентные для самодержавной России: 1102 человека были казнены в 1906–1907 гг. по решению военно-полевых судов, 2694 – повешены в 1906–1909 гг. по решению военно-окружных судов (за предшествующие 80 лет казнили в среднем по девять человек в год), 23 000 отправлены на



каторгу и в тюрьмы, 39 000 административно высланы без суда и т.д. [Дякин, 2002, с. 282.]. И хотя в ходе «Судов времени» эта информация не артикулируется открыто, она коррелирует с идеей сильной власти и сильного государства, которую отстаивали и обвинение, и защита. За этим скрывается принцип целесообразности, нашедший яркое воплощение в судебной деятельности большевиков, в том числе и в постановочных «судах».

Различия в освещении иных исторических периодов определяются известной логикой: оценки, отражающие массовое сознание, манифестирует С.Е. Кургинян, в то время как Л.М. Млечин ниспровергает их, опираясь на либеральную риторику.

Несмотря на разный набор идей, внушаемых массам в начале XX в. («воспитывать революционное правосознание») и век спустя (комплекс «почвеннических» идей и представлений), «Суды времени» продолжают традицию, заложенную «судами» советского периода, – они представляют форму идеологического воздействия, выработки необходимых для властных элит массовых представлений не только и не столько о прошлом России, сколько о ее настоящем, и в этом смысле являются средством легитимации сложившегося (складывающегося) социального порядка.

## Голосование

Голосование зрителей в телестудии и телезрителей свидетельствовало об убедительной победе С.Е. Кургиняна, отстаивающего мифы массового сознания. Например: «Егор Гайдар: созидатель или разрушитель?», телефонное голосование: «созидатель» – 14%, «разрушитель» – 86%; «Коллективизация: преступная авантюра или страшная необходимость?», телефонное голосование: «преступная авантюра» – 22%, «страшная необходимость» – 78%; «События осени 1993 года: выход из тупика или крах демократического проекта России?», «выход из тупика» – 7%, «крах демократического проекта России» – 93% [«Суд времени»: итоги... 2010] и т.д.

То обстоятельство, что голосование зрителей в зале, а чаще – телезрителей, как правило, демонстрирует преимущества позиции С.Е. Кургиняна, едва ли должно удивлять: несмотря на все изменения в исторических оценках, «существует своего рода матрица истории каждой страны: это доминанта, запечатленная в коллективной памяти общества» [Ферро, 1992, с. 11]. Для российского сознания такого рода доминанта заключается в признании власте-

центричности нашей государственной системы. По словам академика Ю.С. Пивоварова, «несмотря на все фундаментальные изменения, которые произошли в конце XX в. и в начале XXI в., Россия сохранила свои основные черты, сохранила свою социально-культурную идентичность» [цит. по: Россия: ценности современного общества, 2008]. Если говорить о политическом измерении русской культуры, то она как была, так и осталась самодержавной, властечцентричной. «Власть стала моносубъектом русской истории», который «на протяжении всех последних веков преимущественно носит насильственный характер, а не договорный» [цит. по: там же], как в странах Западной Европы. «Властечцентричный характер российской политической культуры воспроизводился во всех Основных законах страны, начиная с Конституции 1906 г. и заканчивая “ельцинской” Конституцией 1993 г.» [цит. по: там же; см. также: Пивоваров, Фурсов, 2001].

## Заключение

Ток-шоу «Суд времени» вполне можно рассматривать как возрождение такой формы советского досуга начала XX в., как «политсуд». При этом возрождается не только форма театрализованного представления, но и связанная с ней функция индоктринации населения. Один из участников ток-шоу сказал об этом прямо: «Мы должны дать людям нормальную информацию, чтобы они могли строить свое мировоззрение на нормальных основаниях!» [Стенограммы «Суда времени». 06]. Важнейшей идеологической составляющей и «политсудов», и «Судов времени» стало осуждение исторического и культурного прошлого, компрометация социальных и нравственных ценностей этого прошлого и их персонифицированных носителей. В то же время авторы шоу не актуализируют связь с советской традицией, поскольку идеи, ими внушаемые, должны разоблачить, осудить данный период, заменив их блоком консервативных идей и представлений, характерных для самодержавного дискурса.

Казалось бы, актуализация самодержавного дискурса должна свидетельствовать о стремлении авторов возродить систему традиционных ценностей. Однако традиционные ценности, как и их манифестация в виде обычаев, ритуалов и т.д. («изобретенная традиция»), используются обычно с целью структурировать существующее как неизменное, прочное, являющееся залогом социальной стабильности. Пафос «Судов времени» заключается совсем в

ином: пересмотреть прошлое, дать ему амбивалентную переоценку, что ведет к представлению о прошлом как иллюзорном, неустойчивом феномене. Тем самым создается неразрешимое противоречие: консервативный набор идей, ориентированных на сохранение прошлого, внедряется в сознание масс путем подрыва, разрушения этого прошлого. В этой связи результаты голосования в пользу С.Е. Кургиняна, которые, казалось бы, свидетельствуют о том, что население готово во имя достижения государственного блага позволить власти использовать значительный арсенал мер в борьбе с оппозицией («все средства хороши»), отнюдь не убедительны. «Суды времени», разрушая традицию, подвергая ее сомнению, формируют представление о нестабильности самой власти и ее персонифицированных носителей, а значит, подспудно способствуют укреплению радикализма.

## Литература

- «Суд времени» / Телерадиокомпания «Петербург». – Режим доступа: <http://www.5--tv.ru/video/programs/1000075/> (Дата посещения: 15.05.12.)
- «Суд времени»: итоги голосования по темам // Проект «Sovschola». – М., 2010. – Режим доступа: <http://sovschola.ru/content/sud-vremeni-itogi-golosovaniya-po-temam> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Гурьев А.И. Как закалялся агитпроп: система государственной идеологической обработки населения в первые годы НЭПа. – М.: Академика, 2011. – 428 с.
- Дейк Т.А. ван. Структура новостей в прессе // Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: Сб. работ / Пер. с англ. яз., сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – С. 228–267.
- Дмитриевский В.Н. Театр и суд в пространстве тоталитарной системы // Системные исследования культуры. 2008 / Под ред. Г.В. Иванченко, В.С. Жидкова. – СПб.: Алетейя, 2009. – С. 404–436.
- Дякин В.С. Был ли шанс у Столыпина? // Был ли шанс у Столыпина? Сб. статей. – СПб.: ЛИСС, 2002. – С. 282–302.
- Киссель М.А. Р.Дж. Коллингвуд – историк и философ // Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. – М.: Наука, 1980. – С. 418–459.
- Кузнецов Г.В. Ток-шоу: неизвестный жанр? // Журналист. – М., 1998. – № 11/12. – С. 58–59.
- Лапкин В.В. Моделирование российской политической истории. Введение в теорию эволюционных циклов автохтонного развития России // Полис. – М., 2011. – № 6. – С. 33–51.
- Лихонина О.В. Театральность культуры тоталитарного государства: на примере советской культуры конца 1920-х–1930-х годов: Автореф. дис.... канд. культурологии. – Екатеринбург, 2008. – 21 с.

- Малинова О.Ю. Новые и старые производители идеологий. – М., 2004. – Режим доступа: <http://www.novopol.ru/print95.html> (Дата посещения: 10.04.2012.)
- Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности. – М.: РОССПЭН, 2009. – 190 с.
- Малинова О.Ю. Трансформация публичной сферы и динамика идейно-символического пространства в России (конец XX – начало XXI в.) // Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: РАПН; РОССПЭН, 2011. – С. 259–283.
- Мезенцев Д.Ф. Россия: ценности современного общества // INSOR Russia: Institute of Contemporary Development. – Режим доступа: <http://www.insor-russia.ru/en/news/3126> (Дата посещения: 3.03.2012.)
- Нейстат А.А. Исторический опыт первого советского десятилетия: формирование базовых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных представлений и роль художественной литературы в этом процессе. – М., 2012. – Режим доступа: <http://www.jourclub.ru/36/1324/2/> (Дата посещения: 10.03.2012.)
- Пантин В.И. Циклы реформ–контрреформ в России и их связь с циклами мирового развития // Полис. – М., 2011. – № 6. – С. 22–32.
- Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. «Русская Система» как попытка понимания русской истории // Полис – М., 2001. – № 4. – С. 37–48.
- Россия: ценности современного общества. – М., 2008. – Режим доступа: <http://www.politcom.ru/7234.html> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Салова Ю.Г. Клубные формы детского досуга в Советской России в 1920-е годы // Образование и общество. – М., 2003. – № 6 (23). – Ноябрь–декабрь. – С. 75–83.
- Слезин А.А. За «новую веру». – М.: Академия Естествознания, 2009. – 224 с.
- Современные концепции эстетического воспитания: (Теория и практика) / Рос. акад. наук, Ин-т философии; отв. ред.: д-р филос. наук Н.И. Киященко. – М.: ИФ РАН, 1998. – 302 с.
- Стенограммы «Суда времени». 01. Беловежское соглашение / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=67> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 02. Юлий Цезарь / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=68> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 03. Гайдар / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=69> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 04. Коллективизация / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=70> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 05. 1993 год / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=71> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 06. Николай II / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=72> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 09. Октябрь 1917 Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=104> (Дата посещения: 15.05.2012.)

- Стенограммы «Суда времени». 13. Пакт Молотова–Риббентропа / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=108> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 14. Реформы Петра I / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=109> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 15. Холодная война / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=138> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы суда времени. 17. Эпоха Брежнева / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=122> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Стенограммы суда времени. 18. Александр Невский / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=123> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Стенограммы суда времени. 21. Андропов / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=131> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 25. Иван Грозный / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=135> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы суда времени. 31. Советский человек / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=149> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 32. Индустриализация / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=150> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 33. Распутин / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=151> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Стенограммы суда времени. 35. Стахановское движение / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=153> (Дата посещения: 15.05.2012.)
- Стенограммы «Суда времени». 40. Декабристы / Центр Кургиняна. – Режим доступа: <http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=3&id=163> (Дата посещения: 10.02.2012.)
- Суд беспартийных рабочих и крестьян над Красной Армией. – М.: Красная новь, Главполитпросвет, 1923. – 53 с.
- Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. – М.: Высш. шк., 1992. – 350 с.
- Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. – М., 2000.- № 1 (8.) – С. 47–62.
- Холодковский К.Г. Механизм российской цикличности // Полис. – М., 2011. – № 6. – С. 16–21.
- Яшин А.Н. Философские идеи русских мыслителей судебной защиты II половины XIX века (А.Ф. Кони, В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако, К.К. Арсеньев, С.А. Андреевский): автореф. дис.... канд. филос. наук. – Мурманск, 2009. – 20 с.

**В.Н. Ефремова**

## **ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРАЗДНИКА**

День народного единства – самый молодой праздник современной России. Он был утвержден Государственной Думой в декабре 2004 г. Первое празднование состоялось спустя год – в 2005 г. В пояснительной записке к проекту закона были указаны его глубокие исторические корни: «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов» и «продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе» [Стенограмма... 2004].

Известно, что идея учреждения праздника была высказана Межрелигиозным советом России и позже поддержана комитетом по труду и социальной политике Госдумы. По сути, предложенный праздник является попыткой возвеличивания исторического прошлого Российской империи (в котором День народного единства отмечался как День Казанской иконы Божией Матери с середины XVII в.) и символического отказа от революционного праздника – 7 ноября, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Так, подчеркивалось, что «среди российских праздников нет ни одного, который отражал бы славные и видные даты дореволюционной России» [там же], а «Годовщина Октябрьской революции, или День согласия и примирения, – праздником до сих пор, к сожалению, не стал» и «в той или иной мере является источником напряжения в обществе» [там же].

По мнению авторов проекта, новая дата должна была бы исправить затруدنительное положение и «стать символом единения

всех граждан», «сплотить весь народ, восполнить пробелы в исторической памяти россиян» [Стенограмма... 2004].

При президенте Д. Медведеве для объяснения значения нового праздника была введена символическая категория «Русский мир», под которой понимались история, русский язык, российская культура, некая целостность и многообразие. Подчеркивалось, что «это явление не имеет границ, оно не подвержено политической конъюнктуре, а иногда, по сути, политической цензуре» [Выступление ... 2008]. Тогда же, в 2008 г., для популяризации «Русского мира» Д. Медведевым был учрежден одноименный фонд.

День народного единства с полным основанием можно отнести к категории не просто «изобретенных», но изобретаемых традиций [см.: The invention of tradition, 1983], поскольку для современного российского общества он имеет совсем недавнее происхождение и не успел укорениться в сознании россиян. Об этом свидетельствуют данные социологических опросов. Так, по данным «Левада-Центра» только 36% россиян в 2010 г. знали, как на самом деле называется этот праздник, при том, что в 2005 г. их доля составляла 8% [Знаете ли Вы... 2010]. А 71% населения в 2011 г. не планировал его как-либо отмечать [Опрос населения, 2011]. В этой связи институционализация праздника оказывается проблематичной в силу того, что для большинства граждан России его смысл остается непонятным.

Интерпретация значения нового праздника СМИ, профессионально работающими с информацией, могла бы сыграть решающую роль в решении данной проблемы. Как отмечает Е. Шейгал, «благодаря СМИ граждане предстают в роли свидетелей, наблюдателей политических событий, однако они подвержены такому аналитическому прессингу, что интерпретация событий нередко приобретает бóльшую значимость, чем само событие» [Шейгал, 2004, с. 58]. Во многом поэтому влияние на общественное мнение СМИ, претендующих на участие в выработке символических и идеологических форм, «никем не ставится под сомнение» [Ле, 2001, с. 95]. Иными словами, количество совпадений транслируемых через СМИ значений праздника может выступать косвенным показателем того, как навязываемые властью ценности и смыслы усваиваются обществом, а также в целом успешности символической политики вокруг государственных праздников.

Задачи данного обзора – выявить, какими смыслами СМИ наделяют День народного единства, а также проследить их трансформацию с момента первого празднования в ноябре 2005 до ноября 2011 г.

В качестве источников для анализа были выбраны публикации в общественно-политических газетах («Российская газета», РГ), деловых газетах («Коммерсант»), общественно-политических журналах («Коммерсант – Власть») и популярных газетах («Комсомольская правда» (КП), «Аргументы и факты» (АиФ)). Выбор этих изданий опирается на рейтинг популярности российских печатных СМИ, который ежеквартально представляет Агентство медийных исследований Ex Libris, полномочный член Международной ассоциации по медиаизмерениям и оценке коммуникаций (The International Association for Measurement and Evaluation of Communication). Количество появления статей в этих изданиях по случаю празднования Дня народного единства зависит как от политики издания (степени лояльности к власти, независимости издания), так и от периодичности выпуска самих газет, поскольку часть из них являются ежедневными («Коммерсант»), часть – еженедельными («Коммерсант – Власть», АиФ), а другие выпускают номер несколько раз в неделю (КП, РГ).

В ходе исследования были отобраны статьи, опубликованные за несколько дней до, во время и после празднования Дня народного единства. Всего было проанализировано 100 статей: 16 в ежедневной газете КП, четыре статьи в пятничном выпуске КП; 10 статей – в АиФ; 36 статей в ежедневной газете «Коммерсант», 10 статей журнале «Власть» и 24 статьи в федеральных выпусках «Российской газеты».

Для удобства проведения анализа издания были поделены на две группы: (1) общественно-политические и деловые (РГ, «Коммерсант», «Власть») и (2) популярные (КП, АиФ). Разделение основано, в первую очередь, на разграничении изданий по целевым аудиториям (деловая, со специфическим сленгом и массовая, общедоступная пресса).

### **Дискурс Дня народного единства в общественно-деловой прессе**

Как показывает анализ дискурса газетных публикаций в газете «Коммерсант», «Российской газете» и журнале «Власть», за прошедшие семь лет основными стали вопросы интерпретации политических, гражданских, национальных, а также этнокультурных и религиозных особенностей самосознания россиян и России.

Наибольшее количество публикаций по случаю празднования Дня народного единства вышло в ежедневной газете «Коммер-



санти». Обилие статей вызвано главным образом вниманием издания к проведению националистических «Русских маршей», которые стали конкурирующим источником, идеологическим «полюсом» продуцирования смыслов Дня народного единства. К числу основоположников «Русского марша» (изначально – «Правый марш») можно отнести «Евразийский союз молодежи», «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), национально-патриотический фронт «Память», движение «Русский порядок» и др. Еще в 2005 г. они «присвоили» себе праздник, чтобы отстаивать «русскую нацию и национализм» [Козенко, 2005, с. 8]. Одним из центральных символических смыслов дискурса власти является идея «внутреннего единства». Однако в праворадикальном дискурсе она трансформируется и получает ярко выраженный этнонационалистический крен: «единство и готовность к борьбе за национальные интересы русского народа» [Савина, 2008, с. 7], «освобождение России от оккупантов» [Савина, 2005, с. 6].

Воспроизводя в своих статьях дискурс «Русского марша», «Коммерсант» стремится опровергнуть смыслы, приписываемые празднику 4 ноября властью: «Из государства Россия превращается в нацию, не ограниченную историческими рамками конкретного государственного устройства, а значит, не имеющую общегосударственных ценностей и идеалов, кроме “единства”» [Русский праздник, 2006, с. 8]. День народного единства в таком случае – это «стремление <...> дистанцироваться от символического наследия 1990-х годов» [там же], «символ путинского золотого века» [Приглашение..., с. 9], «надуманный праздник правящей боярщины» [там же], «смутный праздник» [Бородина, 2007, с. 6].

Смысловое наполнение праздника в «Коммерсанте» из года в год связано с интенсивностью символической борьбы властного и националистического дискурсов. В 2005 г. прозвучали первые поздравительные выступления президента по случаю празднования Дня народного единства, в которых было обозначено, что это праздник «мира, дружбы и социальной политики государства», «праздник единения государства с народом» [Колесников, 2005, с. 7]. Тогда же о себе заявили крайне правые, провозгласившие 4 ноября «днем народного гнева» [Савина, 2005, с. 6], выбрасывавшие руки в фашистском приветствии и выкрикивавшие: «Neil Hitler» и «Zig Neil», шагая колонной по Чистопрудному бульвару. Кроме этого, в этой колонне марширующих в 2005 г. также присутствовали евразийцы и активисты Союза православных граждан с иконами в руках.

Уже в 2006 г., во вторую годовщину празднования, «Коммерсант», цитируя обращение четырех депутатов Госдумы, недовольных проведением националистического марша, заключает, что власти «не удалось превратить День народного во всенародное торжество», а его введение является путинским планом «взбалтывать страну фальшивой угрозой русского фашизма» [Савина, 2006, с. 2]. В этот же год активисты молодежного движения «Наши» проводят альтернативный «Русскому маршу» Форум гражданских инициатив, на который в Ярославль были привезены студенты из разных регионов страны [Владиминова, 2006, с. 5]. В дальнейшем движение неоднократно меняло форматы мероприятий, что говорит об искусственном насаждении традиции празднования 4 ноября и поисках наиболее подходящей формы, которая бы органично вписывалась в предлагаемое смысловое поле и практики, которые также еще находятся в процессе продолжающегося «изменения»<sup>1</sup>.

В целом, 2006–2007 гг. можно считать периодом наибольшего идейного доминирования националистического дискурса. Несмотря на неоднородность состава участников, «Русские марши» использовали практически схожие профашистские лозунги: «Вся власть славянам!», «В России – русский порядок!» [Тяжлов, 2006, с. 3], «Русскому народу – русскую власть», «Россия для русских!» [Козенко, Ухова, 2007, с. 5]. Власть оказалась растерянна и не сразу смогла найти адекватный ответ нарастающему смысловому доминированию экстремистских идей.

Активное вмешательство в борьбу за смыслы со стороны Кремля началось в 2009 г., когда движение «Наши» буквально попыталось отнять у националистов «Русский марш». Речь идет о символическом вызове смысловому содержанию праздника, удачно оккупированного националистами. Лозунг «Россия для русских» был, таким образом, перевернут с национального на гражданский лад как «Русские – все, у кого есть российский паспорт» [Козенко, 2009, с. 4]. В дальнейшем в Москве стали проводиться два «Русских марша» – националистический (локализованный на юго-восточной окраине города) и движения «Наши», который

---

<sup>1</sup> Известно, что одной из тактик пропаганды властного дискурса было разбрасывание поздравительных листовок партии «Единая Россия» среди участников националистического «Русского марша».

проводится в Центре и сопровождается концертами популярных артистов эстрады.

Осенью 2011 г. на фоне предстоящих парламентских и президентских выборов интерес СМИ к празднику заметно упал, но «русские официальные праздники все равно проигрывают “Русским маршам”», – утверждает «Коммерсант», цитируя слова журналиста Олега Кашина [Черных, Козенко, 2011, с. 3].

Постепенное уменьшение количества публикаций, связанных с проведением Днем народного единства, в ежедневной газете «Коммерсант» (2005 г. – 9, 2006 г. – 8, 2007 г. – 5, 2008 г. – 6, 2009 г. – 4, 2010 г. – 3, 2011 г. – 1) и общественно-аналитическом журнале «Власть» (2005 г. – 3, 2006 г. – 1, 2007 г. – 2, 2008 г. – 2, 2009 г. – 0, 2010 г. – 2, 2011 г. – 0) объясняется несколькими причинами. Во-первых, снизилась активность самого движения «Русский марш». Получив разрешение властей на проведение шествий с 2009 г., организаторы «Русского марша» приняли условия символической борьбы, негласно согласившись с доминированием официального дискурса. Во-вторых, за вытеснение националистического дискурса стали активно бороться другие акторы, и прежде всего – движение «Наше». Показательно, что проведение националистического «Русского марша» начиная с 2005 по 2011 г. полностью игнорировалось центральными телеканалами (Первый, Россия 1 и НТВ), которые ежегодно выполняют госзаказ на освещение официальных церемоний и проведение согласованных властью акций. Как подчеркивает «Коммерсант», самим каналам «никак не удается поймать смысл нового российского праздника» [Бородина, 2007, с. 6] и приходится заполнять эфир одними и теми же, но в разное время, патриотическими фильмами, не имеющими подчас отношения к Смутному времени.

В свою очередь, «Российская газета» стала проводником официального дискурса Дня народного единства. Наибольшая смысловая концентрация национальных и политических ценностей в публикациях газеты также приходится на 2006–2007 гг. Именно в этот период разворачивается активная борьба между официальным и националистическим дискурсами.

Всего из 24 статей в «Российской газете» по случаю Дня народного единства о «Русском марше» были опубликованы только две (обе в 2006 г. [Закатнова, 2006, с. 2; Камынин, Шмылёва, 2006, с. 2]), еще в семи «Русский марш» лишь упоминается. Газета оценивает националистов и экстремистов с позиции власти, проводя параллель с семейными ценностями: «марш “правых недорослей”»

[Радзиховский, 2005, с. 3], «в семье не без урода – вот в России ДПНИ» [Закатнова, 2006, с. 2].

В «Российской газете» националистический дискурс вытесняется дискурсом прокремлевского молодежного движения «Наши» и молодежной организации «Молодая гвардия». В первые годы празднования это были «уроки дружбы», «многонациональная дружба между народами РФ» [Михайлов, 2007, с. 3].

Кроме того, транслируя дискурс власти, РГ часто цитирует президента, который неоднократно в своих речах проводит параллели исторически тесной связи государства, гражданского общества и Русской Православной Церкви. Поэтому в газетных публикациях по случаю Дня народного единства на первый план выходят религиозные ценности («заступничество Казанской иконы Божией Матери» [Закатнова, 2007, с. 3], «крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери» [Богушева, Бондаренко, Волкова, Горлов, Решетникова, Сибина, 2007, с. 9]) и гражданские ценности («укрепление единства нашего общества» [Белов, 2008, с. 2], «свобода личная, индивидуальная, слова» [Выжутович, 2008, с. 3]). Помимо этого, в РГ подчеркивается значимость истории Российского государства («преодоление Смуты» [Кузьмин, 2006, с. 2]), политических ценностей («великая страна» [Кузьмин, 2007, с. 2], «символ уважения к новой, современной, демократической России» [Кузьмин, 2010, с. 2], «видеть Россию сильной и процветающей державой» [Балагаев, Ермошкина, Неробеева, Павловская, Сибина, 2007, с. 2]) и этнокультурных особенностей («развитие культурных связей», «множество самых разных традиций, укладов и обычаев культуры» [Кузьмин, 2010, с. 2]). Для газеты 4 ноября – это символ «патриотизма и подлинной национальной русской идеи» [Никонов, 2006, с. 1], «сплочения нации», «всенародного единения», «гражданской консолидации» [Выжутович, 2008, с. 3]. Причем из года в год фактически не наблюдается трансформации смыслового содержания, что может свидетельствовать о его статичности, кризисе смыслового наполнения (в том числе и со стороны властных элит) или о том, что такой поиск завершен.

Особо подчеркивается роль Русской Православной Церкви в поддержании «единения» благодаря «введению в школьную программу основ религиозной культуры», «спасению душ»: «Хотя современная Россия является светским государством, это не значит, что власть не стремится к взаимодействию с церковью» [Петров, 2011, с. 2].

В подтверждение своей позиции газета применяет тактику обращения к мнению тех, кто так или иначе вписывается или поддерживает по собственным основаниям предлагаемые властью смыслы праздника («этот праздник может воспитать человека, способного к солидарности с другими людьми, так как его содержанием должно быть действие – добродетель») [Пятунина, 2005, с. 1]: президента фонда «Политика» Вячеслава Никонова («идеи национального единства, служения Родине, готовность к добровольному самопожертвованию, которые отражены в этом новом празднике» [Пятунина, 2005, с. 1]), зав. отделом социальной и политической философии Института философии РАН Алексея Кара-Мурзы («этот праздник имеет шансы стать общенародным» [Пятунина, 2005, с. 1]), политолога Леонида Радзиховского (праздник – «символ могучего государства» [Радзиховский, 2005, с. 3]).

Таким образом, символическое наполнение дискурса Дня народного единства в общественно-деловой прессе определяется, в большей степени, исходя из позиции редакции по отношению к власти, ее независимости.

## **Дискурс Дня народного единства в популярных СМИ**

В отличие от РГ и «Коммерсанта», которые занимают определенные позиции по отношению к тем, кто продуцирует смыслы вокруг государственного праздника, АиФ и КП занимают сдержанную позицию и воздерживаются от транслирования крайних идей. Такое осторожное (практически лояльное властному дискурсу) отношение изданий к оценке праздника объясняется тем, что они нацелены на широкую аудиторию с разным уровнем образования и опытом политического участия. И как следствие этого – количество статей, посвященных смысловому содержанию 4 ноября, на порядок ниже, чем в общественно-деловых изданиях: КП – 16, АиФ – 10.

Пожалуй, центральной темой дискуссий на страницах АиФ становится обоснование исторических основ нового праздника. Из 10 статей пять представляют собой историческую справку, «напоминание значимости» праздника [Грачёв, 2007, с. 7], того, как «в 1612 г. россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному миру» [Миодушевская, 2008, с. 2]. И только в трех статьях АиФ упоминается об угрозе «Русских маршей», которые «сильно пощекотали нервы и властям, и простым прохожим» [Коптев,

2007, с. 3]. «Стабильность», «героизм» и «сплоченность», к которым апеллирует президент в своих поздравительных выступлениях, – это те концепты, которыми наполняется смысловое поле праздника в АиФ.

Однако при всей в целом позитивной оценке введения нового праздника 4 ноября воспринимается газетой как искусственное «насаждение», перенос праздника с 7 ноября, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции [Миодушевская, 2008, с. 2]. Эту же тему продолжает КП: «Основной причиной переноса выходного дня с 7 на 4 ноября, по мнению многих наблюдателей, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской революции (7 ноября 1917 г.)» [Судакова, 2007, с. 8].

Новый праздник – это «хорошо забытые старые традиции» [Рожаева, 2009]. День народного единства также сравнивается с одним из главных советских праздников – Днем Победы, как равный ему благодаря «Божьему чуду» в устах Патриарха Кирилла [Поленова, 2011].

Как РГ и АиФ, КП из-за отсутствия четкого смыслового содержания обращается к цитированию президентских речей: «Патриотизм, гражданственность, любовь к Отечеству – фундаментальные ценности, которые всегда отличали многонациональное Российское государство, они и сегодня являются нашей нравственной опорой» [Кафтан, 2011]. Народное единство – «не только красивая метафора, но и особый смысл, неоспоримая ценность, основа существования и развития нашего многонационального, многоконфессионального, весьма сложного государства, нашей богатой истории» [Кафтан, 2010], или то, что Д. Медведев называл «Русским миром».

«Русские марши», которым также не придается значимого внимания, в комичной манере называются «манifestациями урапатриотов» [Народный, 2005, с. 6]; «реальные дела» проводит лишь движение «Наши» [Зайцев, 2010], они «могут всей стране вернуть государственный праздник» [Михов, 2009].

Дискуссии вокруг Дня народного единства, таким образом, в самых популярных российских газетах остаются в пределах официального дискурса, а главным механизмом смыслового наполнения праздника в газетных публикациях является трансляция дискурса власти и РПЦ.

День народного единства, как праздник, который должен был стать главным государственным праздником существующего режима, за семь лет существования не смог оправдать надежды его инициаторов. За это время 4 ноября так и не приобрело однозначного смыслового содержания. Специфика его исторических корней и противоречивость его восприятия в массовом сознании нашли отражение в транслируемых СМИ дискурсах, которые фактически оказались противоположны друг другу (от национального единства, мультикультурности, пропагандируемых властью, до идей сегрегации, транслируемых националистическими движениями). Причем последние (националистические идеи «русскости») представляют собой угрозу «единству» государства, поскольку являются наиболее понятными и поддаются усвоению среди широких масс населения. Все попытки заглушить и отобрать у «Русского марша» символически присвоенный им праздник 4 ноября, даже несмотря на широкую медийную поддержку гостелеканалов, печатных СМИ и кризис самого движения, терпят крах. Очевидно, что успех институционализации Дня народного единства будет зависеть от того, насколько удачно будут трансформированы смысловое содержание праздника и его усвоение массовым сознанием.

## Литература

- 30 самых главных праздников // Аргументы и факты. – М., 2007. – 31 октября, № 44. – С. 6.
- А вы спросили у мамаш, насколько русским был их марш? // Комсомольская правда. – М., 2006. – 9 ноября. – С. 3.
- Акунин Б. Праздничный показ в День народного единства // Комсомольская правда. – М., 2011. – 2 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/25780/2764309/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Александров Г. Кто шагает по Москве? // Аргументы и факты. – М., 2011. – 9 ноября, № 45. – С. 3.
- Алексеев М. Праздник войны и мощны // Коммерсант «Власть». – М, 2005. – 7 ноября, № 44 (647). – С. 5–6.
- Балагав К., Ермошкина Т., Неробеева Е., Павловская Т., Сибина С. Нам по пути // Российская газета. – М., 2007. – 6 ноября, № 4510. – С. 1–2.
- Белов С. Единство сквозь историю // Российская газета. – М., 2008. – 5 ноября, № 4785. – С. 2.
- Богушева Е., Бондаренко А., Волкова М., Горлов А., Решетникова Н., Сибина С. Кто сегодня рядом с Мининым // Российская газета. – 2007. – 2 ноября, № 4509. – С. 9.

- Бородина А. Подарок для Владислава Суркова // Коммерсант. – М., 2008. – 12 ноября, № 205 (4022). – С. 6.
- Бородина А. Смутный государственный праздник // Коммерсант. – М., 2010. – 10 ноября, № 207 (4507). – С. 4.
- Бородина А. Телелидеры // Коммерсант. – М., 2007. – 8 ноября, № 205 (3781). – С. 6.
- Бородина А. Федеральные телеканалы митинг националистов не показали // Коммерсант. – М., 2005. – 7 ноября, № 208/П (3292). – С. 1.
- Вконец обрусели // Коммерсант «Власть». – М., 2005. – 7 ноября, № 44 (647). – С. 6.
- Владимиров Д. Пожертвование – дело частное // Российская газета. – М., 2006. – 3 ноября, № 4214. – С. 2.
- Владимирова Н. Праздник в чуме // Коммерсант. – 2006. – 7 ноября, № 207/В (3538). – С. 5.
- Выжutowич В. От революции – к единству // Российская газета. – М., 2006. – 8 ноября, № 4216. – С. 6.
- Выжutowич В. Ресурсы единства // Российская газета. – М., 2008. – 7 ноября, № 4788. – С. 3.
- Выступление на торжественном приеме, посвященном Дню народного единства // Официальный сайт Президента России. – М., 2008. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://news.kremlin.ru/transcripts/1966> (Дата посещения 08.04.2010.)
- Вяхирев В. Как отметить годовщину Октября прогулкой по «советским» местам Москвы // Комсомольская правда. – М., 2008. – 6 ноября. – Режим доступа: <http://msk.kp.ru/daily/24193.3/399520/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Гвоздь программы // Коммерсант. – М., 2005. – 31 октября, № 205/П (3289). – С. 2.
- Где вы будете праздновать: дома или на улице? // Российская газета. – М., 2011. – 3 ноября, № 5624. – С. 8.
- Граждан вывели на улицы за третьим сроком // Коммерсант. – М., 2007. – 6 ноября, № 203/В (3779). – С. 4.
- Грачев С. Владимир Хотиненко: «Патриот – это уже не оскорбление!» // Аргументы и факты. – М., 2007. – 31 октября, № 44. – С. 7.
- Гулютин А. Власти Москвы разрешили провести националистам «Русский марш» в одном из самых криминогенных районов города // Комсомольская правда. – М., 2011. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://www.kp.ru/daily/24382/562777/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Гуляем в парке, смотрим мультфильмы и ходим на концерты // Комсомольская правда. – М., 2010. – 3 ноября. – Режим доступа: <http://www.kp.ru/daily/24586/755234/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Зайцев А. Молодежь отметила день народного единства // Комсомольская правда. – М., 2010. – 8 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24586.5/756330/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Закатнова А. В моде – антикризис // Российская газета. – М., 2008. – 5 ноября, № 4785. – С. .
- Закатнова А. Время для праздника // Российская газета. – М., 2007. – 3 ноября, № 4510. – С. 3.
- Закатнова А. Митингуют все Церкви // Российская газета. – М., 2011. – 7 ноября, № 5625 (249). – С. 2.
- Закатнова А. Ответ националистам // Российская газета. – М., 2006. – 6 ноября, № 4214. – С. 2.



- Закатнова А., Сидибеев П. Где вы будете 4 ноября? // Российская газета. – М., 2006. – 3 ноября, № 4214. – С. 3.
- Знаете ли Вы, какой праздник будет отмечаться 4 ноября? // Сайт аналитического центра Юрия Левады. – 2010. – 30 октября. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/archive/prazdniki/znaete-li-vy-kakoi-prazdnik-budet-otmechatsya-4-noyabrya> (Дата посещения 28.02.2012.)
- Зубов Н. Националисты прошлись маршем по Москве // Коммерсант «Власть». – М., 2010. – 15 ноября, № 45 (899). – С. 6.
- Ильин А. Праздник с историческими корнями // Российская газета. – М., 2008. – 31 октября, № 4785. – С. 2.
- Камынин А., Шмелева Е. Русские пришли и ушли // Российская газета. – М., 2006. – 6 ноября, № 4214. – С. 2.
- Кафтан Л. В День народного единства Президент вручил в Кремле награды // Комсомольская правда. – М., 2010. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24587.3/755815/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Кафтан Л., Медведев и Путин отметили День народного единства в Нижнем Новгороде // Комсомольская правда. – М., 2011. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/25782/2765858/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Кашин О., Коробов П. Чудо шаговой доступности // Коммерсант «Власть». – М., 2010. – 1 ноября, № 43 (897). – С. 13.
- Козенко А. «Правый марш» дал задний ход // Коммерсант. – М., 2005. – 9 ноября, № 210 (3294). – С. 8.
- Козенко А. «Русские марши» пойдут друг на друга // Коммерсант. – М., 2009. – 5 октября, № 184/П (4239). – С. 4.
- Козенко А. В день единства в единственном месте // Коммерсант. – М., 2010. – 27 октября, № 200 (4500). – С. 5.
- Козенко А., Еловский Д., Савина Е. «Русскому маршу» показали «кирпич» // Коммерсант. – М., 2008. – 28 октября, № 196 (4013). – С. 7.
- Козенко А., Туровский Д., Коцар Ю., Андрианов К. Единство и борьба противоположных // Коммерсант. – М., 2009. – 5 ноября, № 206 (4261). – С. 5.
- Козенко А., Ухова М. Националисты готовят пешие порядки // Коммерсант. – М., 2007. – 5 ноября, № 182 (3758). – С. 5.
- Колесников А. Президент прошел тост на благотворительность // Коммерсант. – М., 2005. – 7 ноября, № 208/П (3292). – С. 7.
- Коптев А. Радикалов призывали к порядку // Аргументы и факты. – М., 2007. – 7 ноября, № 45. – С. 3.
- Костиков В. Зачем народу патриотический кафтан? // Аргументы и факты. – М., 2005. – 9 ноября, № 45. – С. 3.
- Кудряшов К. 1612 год: как это было. Карта событий // Аргументы и факты. – М., 2008. – 4 ноября, № 45. – С. 2.
- Кузьмин В. Говорите по-русски // Российская газета. – М., 2006. – 3 ноября, № 4214. – С. 2.
- Кузьмин В. Единство – на благо Отечества // Российская газета. – М., 2007. – 6 ноября, № 4510. – С. 2.
- Кузьмин В. Как по ногам // Российская газета. – М., 2009. – 3 ноября, № 5032. – С. 2.
- Кузьмин В. Онегин по-абхазски // Российская газета. – М., 2010. – 8 ноября, № 5330 (251). – С. 2.

- Кузьмин В., Заваржин К. Дмитрий Медведев и Владимир Путин отметили праздник в Нижнем // Российская газета. – М., 2011. – 7 ноября, № 5625 (249). – С. 2.
- КукOLEвский А. Националистов разогнали за несогласие // Коммерсант-«Власть». – М., 2008. – 10 ноября, № 44 (798). – С. 5–8.
- Ле Э. Лингвистический анализ политического дискурса: язык статей о чеченской войне в американской прессе // Полис. – М., 2001. – № 2. – С. 93–112.
- Ломанова Е. Тир на весь мир // Коммерсант. – М., 2005. – 7 ноября, № 208/П (3292). – С. 7.
- Миодушевская Т. «Объединяемся во имя стабильности»: 4 ноября отмечается дата окончания смутного времени в России // Аргументы и факты. – М., 2008. – 4 ноября, № 45. – С. 2.
- Михайлов А. Народный выходной // Российская газета. – М., 2009. – 3 ноября, № 5032. – С. 1.
- Михайлов А. Уличное единение // Российская газета.–2007. – 6 ноября, № 4510. – С. 3.
- Михов С. «Наши» очистили День народного единства от свастик и фашистских приветствий // Комсомольская правда. – М., 2009. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24388/567587/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Михов С. День народного единства: «Русский марш» «Наших» и нацистский парад ДПНИ // Комсомольская правда. – М., 2009. – 6 ноября. – Режим доступа: <http://www.kp.ru/daily/24389.4/568089/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- На ДНЕ // Коммерсант – «Власть». – М., 2007. – 12 ноября, № 44 (748). – С. 7.
- Народный Д. Правильная мысль пришла кому-то: нас объединяет только смута! // Комсомольская правда. – М., 2005. – 3 ноября. – С. 6.
- Национальная обеспокоенность // Коммерсант – «Власть». – М., 2006. – 13 ноября, № 45 (699). – С. 8–9.
- Никонов В. О национальном и либеральном // Российская газета – М., 2006. – 3 ноября, № 4214. – С. 1.
- Новый российский праздник еще не самый старый // Коммерсант. – М., 2005. – 5 декабря, № 228/П (3312). – С. 11.
- Образцова И. Праздник: Народное единство или раскол? // Аргументы и факты. – М., 2006. – 1 ноября, № 44. – С. 3.
- Опрос населения. 4 ноября – День народного единства // Фонд Общественное Мнение – М., 2011. – № 44. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/pdf/d44dne11.pdf> (Дата посещения 21.01.2012.) С. 18–20.
- Петров В. Без смуты // Российская газета. – М., 2010. – 3 ноября, № 5328. – С. 1–2.
- Петров В. Президент и патриарх убеждены в общих целях государства и Церкви // Российская газета. – М., 2011. – 7 ноября, № 5625 (249). – С. 2.
- Подьяблонская Т. Где отметить День народного единства // Комсомольская правда. – М., 2008. – 1 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24191/398442/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Приглашение в путинский золотой век // Коммерсант «Власть». – М., 2007. – 12 ноября, № 44 (748). – С. 9–10.
- Пчелкина Е. В День народного единства на улицы Москвы выйдут 6,5 тысяч милиционеров // Комсомольская правда. – М., 2009. – 3 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24388/567226/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Пятунина Е. Добрый день // Российская газета – М., 2005. – 3 ноября, № 3917. – С. 1.

- Радзиховский Л. Бесконечные праздники // Российская газета.–2005. – 8 ноября, № 3918. – С. 3.
- Развели на царство // Коммерсант. – М., 2009. – 5 ноября, № 206 (4261). – С. 14.
- Репов С., Фуфырин А. Шило в мйшке // Аргументы и факты. – М., 2011. – 9 ноября, № 45. – С. 5.
- Рожаева Е. День народного единства под покровом Богородицы // Комсомольская правда. – М., 2009. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24388/567262/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Русский марш встал смирно // Коммерсант. – М., 2006. – 11 ноября, № 211 (3542). – С. 3.
- Русский праздник // Коммерсант. – М., 2006. – 3 ноября, № 207 (3538). – С. 8.
- Русских А. Мистер Икс российской истории // Комсомольская правда. – М., 2011. – 3 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/25782.4/2765047/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Савина Е. «Русский марш» взялся за имперский флаг // Коммерсант. – М., 2008. – 10 октября, № 184 (4001). – С. 4.
- Савина Е. «Русский марш» доводят до президента // Коммерсант. – М., 2006. – 11 ноября, № 211 (3542). – С. 3.
- Савина Е. «Русскому маршу» дали ход // Коммерсант. – М., 2008. – 6 ноября, № 201 (4018). – С. 7.
- Савина Е. День националистического единства // Коммерсант. – М., 2005. – 7 ноября, № 208/П (3292). – С. 6.
- Савина Е. Прокремлевская молодежь обошла «Русский марш» // Коммерсант. – М., 2008. – 21 октября, № 191 (4008). – С. 7.
- Савина Е., Козенко А. «Русский марш» пройдет втемную // Коммерсант. – М., 2007. – 3 ноября, № 203 (3779). – С. 1–2.
- Савина Е., Козенко А., Коробов П. Русские прошли // Коммерсант. – М., 2006. – 7 ноября, № 207/В (3538). – С. 1.
- Савина Е., Трифонов В., Петрушин А. Патриотическое движение почти обезвжено // Коммерсант. – М., 2006. – 3 ноября, № 207 (3538). – С. 2
- Сарычева М. Россияне привыкают ко Дню народного единства // Комсомольская правда. – М., 2010. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/24587.3/754814/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Семенов А. День народного единства по значимости не уступает Дню Победы // Комсомольская правда. – М., 2011. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/25782/2765825/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Семенов А. Дмитрий Медведев поздравил россиян через Twitter // Комсомольская правда. – М., 2011. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/25782/2765860/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Соловьев В. Народное единство расширили до международного // Коммерсант. – М., 2009. – 5 ноября, № 206 (4261). – С. 5.
- Соревнование по любви к Родине // Коммерсант. – М., 2007. – 6 ноября, № 203/В (3779). – С. 6.
- Стенограмма заседания 23 ноября 2004 г. № 61(775) // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – М., 2004. – 23 ноября – Режим доступа: <http://transcript.duma.gov.ru/node/1197/#sel=> (Дата посещения: 14.12.2011.)

- Судакова Т. Все никак не могу понять, какой праздник мы отмечаем 4 ноября? // Комсомольская правда. – М., 2007. – 1 ноября. – С. 8.
- Тростников В. Конец смуты // Аргументы и факты. – М., 2005. – 2 ноября, № 44. – С. 2.
- Туровский Д., Козенко А., Савина Е. Выселительная программа праздника // Коммерсант. – М., 2008. – 5 ноября, № 200/С (4017). – С. 6.
- Тяжлов И. «Русский марш» с препятствиями // Коммерсант. – М., 2006. – 7 ноября, № 207/В (3538). – С. 3.
- Фаризова С. ЛДПР прошлась по своим рядам «Русским маршем» // Коммерсант. – М., 2006. – 1 ноября, № 205 (3536). – С. 4.
- Хамраев В. Российствующие молодчики // Коммерсант. – М., 2005. – 7 ноября, № 208/П (3292). – С. 1.
- Хамраев В., Гулько Н. Правая рука Кремля // Коммерсант «Власть». – М., 2005. – 14 ноября, № 45 (648). – С. 3–5.
- Ходнев С. Смутный праздник // Коммерсант. – М., 2005. – 7 ноября, № 208/П (3292). – С. 21.
- Черных А., Иваницкая А. «Русские марши» прошли не в ногу // Коммерсант. – М., 2010. – 8 ноября, № 205/П (4505). – С. 3.
- Черных А., Козенко А. «Русский марш» обернулся хороводом // Коммерсант. – М., 2011. – 7 ноября, № 207. – С. 3.
- Чинкова Е. Патриарх Кирилл: Никто не будет вкладывать деньги в то, что не нужно! // Комсомольская правда. – М., 2011. – 4 ноября. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/25782/2765869/> (Дата посещения: 18.02.2012.)
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис». – 326 с.
- The invention of tradition / Ed. by Hobsbawm E. and Ranger T. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1983. – 320 p.

# С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

**О.Ю. Малинова**

## **«ИСТОРИЗМ БЕЗ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БИТВЫ ЗА ИСТОРИЮ**

**Рецензия на книгу: Копосов Н.Е. Память строгого режима.  
История и политика в России. – М.: НЛЮ, 2011. – 320 с.**

Тема социальной памяти, исторической политики, политического использования прошлого занимает сегодня многих исследователей, и это вполне объяснимо, учитывая, что заголовки новостей если не ежедневно, то еженедельно дают новые подтверждения ее злободневности. Тем не менее новая работа петербургского историка, философа и историографа Н.Е. Копосова «Память строгого режима. История и политика в России» вряд ли затеряется в общем потоке литературы на актуальную тему, ибо предложенный в ней анализ феномена «подъема памяти» и новой «исторической политики» действительно нетривиален. Посвящая свое исследование российской политике памяти в XX в., автор вписывает его в широкий контекст мировых тенденций эволюции исторического сознания. И хотя книга начинается и заканчивается с анализа политических событий – истории недавних попыток принятия мемориальных законов в России, – она выдержана в жанре интеллектуальной истории, причем ориентирована на «историографический» уровень описания: не углубляясь в содержательный анализ дискурса о коллективном прошлом, автор рисует картину эволюции исторической политики широкими мазками, опираясь на большой массив трудов отечественных и зарубежных исследователей. Это, безусловно, помогает ему решить главную задачу – вписать современные российские практики в меняющийся интеллектуальный и политический контекст, но одновременно делает изложение несколько схематичным.

Рассматривая нынешние битвы за прошлое в контексте отношения современного человека к истории, книга Н.Е. Копосова затрагивает целый спектр проблем: «мемориальные войны» между Россией и ее соседями и эволюцию коллективных представлений о прошлом, современное состояние исторической науки и место истории в идеологической борьбе, особенности политики памяти в разных странах и динамику массового исторического сознания в постсоветской России. Такой широкий разброс тем делает общую картину несколько мозаичной. Вместе с тем представляется, что автору удалось дать убедительное «синтетическое» объяснение динамики российского исторического сознания в XX–XXI вв. на фоне глобальных интеллектуальных тенденций и внутренних политических процессов.

В наблюдаемых ныне тенденциях «исторического поворота» в социальных науках и подъема памяти Н.Е. Копосов видит проявление более глубинного процесса историзации современного мышления. Он связывает текущий этап развития исторического сознания с замедлением темпов экономического роста, распадом веры в прогресс и «кризисом будущего» и датирует его начало 1970–1980-ми годами. Используя термин Фрэнка Хартога, автор книги определяет современный тип восприятия исторического времени как «презентизм». Презентизм – это результат наложения двух тенденций: бума «памяти», обусловленного запросом на «идентичность», и распада «больших нарративов», определявших представления о будущем и объяснявших прошлое и настоящее. В результате «исторический поворот в современной мысли, – по словам Копосова, – ведет к историзму без глобальной истории. Растущее чувство историчности мира заставляет наших современников все больше и больше мыслить социальные явления как исторические индивидуальности и полагаться на их объяснение из исторического контекста... Мемориальный бум выражает стремление мыслить исторически в вечном настоящем» [Копосов, 2011, с. 20].

По мнению Копосова, этот результат – отчасти следствие эволюции идеи истории и связанных с ней исследовательских подходов. Традиционный историзм – представление об истории как фундаментальной форме бытия мира – укоренен в научной революции XVII–XVIII вв., которая привела к распаду аристотелевского статичного мира идеальных сущностей, лежавшего в основе научного воображения предыдущих эпох. Идея истории как формы бытия мира была «изобретена» в XVIII в. для решения проблемы эмпирического упорядочения высвободившихся из-под

власти категорий вещей: «В бесконечной и гомогенной вселенной, возникшей на обломках замкнутого иерархичного мира, – пишет Копосов, – вещи группировались в кластеры, происхождение которых можно было объяснить, только изучив индивидуальные процессы их формирования. История, понятая как всемогущая сила, несущая в самой себе причину своего движения, заняла в мире объектов то место, которое принадлежало Богу в мире идеальных сущностей» [Копосов, 2011, с. 15–16]. Однако идея истории имеет сложную семантику: по мысли автора книги, в ней заложен конфликт двух логик – «логики имен нарицательных» (универсализация за счет эмпирического упорядочивания синтетически воспринятых объектов) и «логики имен собственных» (постулирование общностей, возникших в результате индивидуальных процессов развития). Эти две логики равно свойственны разуму, однако их сравнительная роль зависит от конкретных исторических условий. В «эпоху презентизма» универсальный компонент значений исторических понятий ориентирован не на горизонт ожиданий (угасающий вместе с идеей прогресса), а на область опыта. Это способствует усилению влияния партикуляристских идеологий. Проявление презентизма Н.Е. Копосов видит и в тенденции редуцировать «прошлое к “недавней истории” (recent history) или к “истории настоящего времени” (histoire du temps présent), интерес к которой неотделим от интереса к исторической памяти и сформировался почти одновременно с ним» [Копосов, 2011, с. 39–40].

Очевидно, что возникновение в XVIII в. идеи прогресса и концепции ориентированной в будущее всеобщей истории привело к новому изменению форм идеологического использования прошлого. Однако эволюцию общественного статуса исторического знания Н.Е. Копосов связывает не только с расцветом и падением «больших» идеологических нарративов. Не менее существенное значение имели те формы, в которых происходило становление профессиональных критериев научности и объективности данной дисциплины. Они были связаны, с одной стороны, с развитием вспомогательных исторических дисциплин и методов критики источников, позволяющих с высокой степенью точности устанавливать факты, а с другой – с запретом на «морализаторство», отказом от представления об истории как «учительнице жизни», складывавшегося со времен античности. Прослеживая тенденции развития европейской и американской историографии в XVIII–XX вв., Копосов показывает, что, оставаясь в рамках задач, предписанных

им в рамках современного научного разделения труда, историки в своих интерпретациях фактов неизбежно оказываются в зависимости от идеологии. Правда, Копосов полагает, что «потенциал идеологизации» разных форм исторического знания варьируется: связь с идеологией наиболее сильна, если предметом являются политические события (неудивительно, что она наиболее ярко проявляется в контексте описания «национальных историй»), и носит более косвенный характер, когда объектами исследования выступают культурные процессы. По словам Копосова, в последнем случае «историк скорее заявляет о своей общественной позиции, нежели использует прошлое в целях пропаганды» [Копосов, 2011, с. 40].

Так или иначе, обозначившийся к концу XX в. «кризис идеи объективности» в профессиональном сообществе внес немалую лепту в трансформацию отношения современных обществ к истории. По мнению Копосова, если до недавнего времени влияние исторической профессии на коллективные представления об истории имело тенденцию возрастать (в связи с ростом значения университетов и роли истории для обоснования политической идеологии), то в последние десятилетия оно сокращается [Копосов, 2011, с. 48–49]. На «поле истории» задают тон новые игроки: политики, журналисты, писатели, кинематографисты, а также всевозможные «группы памяти», прежде всего – этнические и религиозные сообщества, которые оказались гораздо активнее «социально-классовых» групп памяти [Копосов, 2011, с. 44]. В российском контексте проблема усугубилась не только постсоветской перестройкой мировоззрения и неравномерностью интеграции членов профессионального сообщества в мировую науку, но и изменениями институциональных условий воспроизводства профессионального сообщества (изменения в системе организации исторической науки и образования). Этой теме посвящена отдельная глава монографии.

На наш взгляд, реализованный Н.Е. Копосовым подход в полной мере вписывается в концепцию символической политики. Рассматривая факторы, определявшие эволюцию коллективных представлений о прошлом в России, он выделяет целый ряд «внешних» ограничений исторической политики власти. С одной стороны, внедряемые ею концепции прошлого должны были учитывать не только логику принятых идеологических схем (которые были не всегда «удобны» с точки зрения «национализации истории»), но и наличный репертуар смыслов, служивший «материалом» для конструирования мифов о прошлом. Впрочем, нестыковки подчас удавалось снять с помощью «диалектических оговорок».



С другой стороны, всеохватность официальной пропаганды не отменяла полностью конкуренцию альтернативных памятей, которые по мере ослабления режима по разным каналам просачивались из квазичастного пространства в квазипубличное – как было, например, в период хрущёвской оттепели и в годы перестройки.

Прослеживая основные этапы исторической политики в советской и постсоветской России, автор монографии особое внимание уделяет становлению мифа о войне, который в 2000-х годах «стал настоящим мифом происхождения постсоветской России» [Копосов, 2011, с. 163]. По оценке Копосова, этот миф рождался уже в ходе самой войны и в ближайшие послевоенные годы. Он представлял собой историю о неожиданном нападении коварного и жестокого врага на страну мирных тружеников, которой история отпустила слишком мало времени, чтобы укрепить свою обороноспособность, но которая тем не менее сплотилась под руководством вождя и ценой невероятных страданий и жертв сумела отстоять свою независимость и свободу всего человечества. Функции этого мифа менялись со временем и были весьма амбивалентны. В каком-то смысле он изначально формировался как «миф происхождения» (myth of origin) – фундаментальный миф об историческом моменте, когда «нация» кристаллизовалась в своей «современной» форме [Schopflin, 1997, p. 33–34; Coakley, 2007, p. 542–543], ибо легитимировал новые советские формы социальной организации, прошедшие «проверку» войной. Ссылаясь на работу Д. Хапаевой, Н.Е. Копосов пишет о том, что опыт войны переживался как «заградительный миф»: в его свете Большой террор предстал «мирной повседневностью», «нормальной жизнью», течение которой было нарушено 22 июня 1941 г. Вместе с тем автор монографии показывает, что и в 1940-х, и в 1950-х, и в 1960-х годах существовали обстоятельства, препятствовавшие окончательному превращению мифа о войне в «миф происхождения». Во-первых, с классовой точки зрения моментом рождения нового строя должна была считаться не война, а революция. Во-вторых, вызванный войной подъем общественных сил воспринимался режимом как угроза – не случайно после знаменитого парада 1945 г. Сталин избегал пышных празднований Дня Победы. При Хрущёве официальная интерпретация войны определялась задачей разоблачения «культы личности» и вместе с тем – недоверием генсека к военной элите, которой он во многом был обязан властью. И лишь при Брежневе миф о войне достиг настоящего расцвета, будучи запечатлен в «институциональной инфраструк-

туре) – памятниках, ритуалах, литературе, кинематографе, системе льгот для участников войны и др. Опора на миф о войне становилась особенно актуальной по мере ослабления других идейных опор режима. Наконец, в 2000-х годах миф о войне стал концентрированным выражением исторической концепции нового режима, решая множество задач, связанных с его легитимацией. По словам Копосова, «он подчеркивает единство государства и народа, а не насилие государства над народом. Он доказывает необходимость сильной власти, вооруженных сил и спецслужб. Он предполагает миролюбивый характер советской и российской внешней политики... Он подчеркивает роль России в победе над фашизмом и обосновывает ее право на “признание” (а в экстремальной версии – и на завоеванные территории). Он виктимизирует историю в интересах России, подчеркивая цену, которую она заплатила за победу, и превращает память о войне в главную форму выражения опыта горя и насилия – в “заградительный миф”, затмевающий память о репрессиях... Он дает выход агрессивным антизападным чувствам, но в то же время оправдывает сближение с Западом. Точнее, с великими державами, тем присваивая России такой же статус... Он встраивает Россию в демократическую традицию, подчеркивая, что союзники воевали во имя общих ценностей. Тем самым он нормализует сталинизм и отрекается от коммунистического проекта» [Копосов, 2011, с. 164].

Подводя итоги своего исследования, автор выделяет две формы «подъема памяти» в современном мире: согласно его типологии, «в странах с развитой демократической традицией, где элиты не могут себе позволить пренебречь “историей снизу” с ее сострадательным интересом к жертвам исторического процесса, подъем памяти и тенденция к национализации истории приняли форму культа культурного наследия». В новых же демократиях и странах, где демократизация сталкивается с серьезными трудностями, «подъем памяти нередко приводит к ее политизации и к попыткам воссоздания национальных мифов» [Копосов, 2011, с. 262]. Не отрицая справедливость последнего утверждения, заметим, что опыт символической работы с «неудобным прошлым» «стран с развитой демократической традицией» не столь однозначен, как это представлено в данной типологии [см.: Малинова, 2010].

Хотя в символической политике есть свои детерминанты, на этом поле всегда существует возможность выбора. Это хорошо иллюстрирует и автор монографии, отвечая на ключевой вопрос: был ли неизбежен выбор мифа о войне в качестве основы офи-

циальной концепции нового российского режима? По словам Н.Е. Копосова, «в России существовала – и существует – основа для развития исторической памяти в направлении “культурного патриотизма”. Развития, близко напоминающего то, к которому стремится сегодня историческая политика большинства демократических стран» [Копосов, 2011, с. 264]. Она связана с идеей культурного наследия, которая сохраняет привлекательность в глазах населения. Будучи тоже тесно связана с темой имперского величия, она связана с более респектабельными фигурами Петра I и Екатерины II, а не Сталина. На наш взгляд, вопрос о «практических» достоинствах и недостатках этого мифа – предмет отдельного разговора. Однако нельзя не согласиться с автором монографии в том, что историческая политика – всегда результат политической борьбы и что конец эпохи «больших нарративов» ставит эту борьбу в новые рамки.

## Литература

- Копосов Н.Е. Память строгого режима. История и политика в России. – М.: НЛЮ, 2011. – 320 с.
- Малинова О.Ю. Консолидация политических сообществ и проблема «неудобного прошлого»: опыт Европы и Азии. (Реферативный обзор) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / Редакция: Ильин М.В. (гл. ред.) и др. – М.: РАН. ИНИОН, 2010. – Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций. – С. 98–108.
- Coakley J. Mobilizing the past: Nationalist images of history // Nationalism and ethnic politics. – Philadelphia, 2007. – Vol. 10, № 4. – P. 531–560.
- Schopflin G. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schopflin. – N.Y.: Routledge etc., 1997. – P. 19–35.

**В.Н. Ефремова**

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ  
КАК «НЕСТАБИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ»  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ**

**Рецензия на книгу: National day's: constructing and mobilizing national identity / Ed. by McCrone D. and McPherson G. – N.Y.: Palgrave Macmillan. – 2009. – 288 p.**

Ритуалы, символы и коллективные воспоминания, разделяемые разными социальными и этническими группами, играют огромную роль в формировании чувства национальной сопричастности. Национальные (государственные) праздники являются не только одной из форм публичного выражения таких чувств, но и инструментом символической политики, стимулирующим солидарность и побуждающим к определенным политическим действиям. При этом праздники отличаются относительной стабильностью и преемственностью ценностного содержания.

В нашей стране сложно говорить о преемственности и линейности символической политики государственных праздников. Первым государственным праздником «новой России» по праву можно считать 12 июня. В этот день в 1990 г. была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР», свое нынешнее название (День России) праздник получил в 2002 г. Вторым «новым» государственным праздником является День Конституции РФ (12 декабря), который просуществовал в таком качестве до 2004 г., после чего был переведен в число памятных дней. Тогда же был утвержден третий российский государственный праздник – День народного единства (4 ноября), с появлением которого государственного статуса лишился главный праздник в СССР –

7 ноября, годовщина Октябрьской революции, или День согласия и примирения, как он значился в Трудовом кодексе РФ. Важно отметить, что среди отмечаемых сегодня российских государственных праздников более половины также достались в наследство от предыдущей исторической эпохи (День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы).

В ряду культурологических, исторических и антропологических работ, посвященных изучению феномена праздника, коллективная монография «Национальные праздники: конструирование и мобилизация национальной идентичности», подготовленная авторским коллективом под руководством Д. Маккрона и К. Макферсон, занимает особое место. Авторы книги склонны исследовать значение национальных праздников в духе конструктивистской традиции понимания «нации» и «национализма», предложенного Б. Андерсоном. В этой связи значительное внимание они уделяют социально-политическому и историческому контексту утверждения и трансформации *национальных* праздников. Сами национальные праздники рассматриваются как особый «памятный механизм во времени и пространстве, укрепляющий национальную идентичность» [р. 1] и символизирующий, кто есть «Мы» и как «Мы» такими стали.

Книга представляет собой сборник статей, которые были собраны по итогам конференции в ноябре 2009 г. при поддержке Шотландского банка и университета Глазго. Примечательно, что в качестве вступления была использована речь премьер-министра Шотландии, лидера национальной партии Шотландии Алекса Салмонда<sup>1</sup>, который выразил уверенность в потенциале Дня святого Эндрю (St. Andrew's Day) в укреплении шотландского национального самосознания [р. xiii–xiv]. В числе участников авторского коллектива – социологи, политологи и культурологи из разных стран мира, профессионально занимающиеся исследованием символики. Свое исследование они писали в тесном сотрудничестве с правительствами Германии, США, Испании, ЮАР, Финляндии и других государств на основе богатого эмпирического материала.

Цель книги состоит в том, чтобы показать, как национальные праздники создаются, как изменяется их содержание, как они

---

<sup>1</sup> Известно, что Алекс Салмонд и его партия выступают за проведение референдума об отделении Шотландии от Великобритании.

используются для мобилизации «национального», а также в каких случаях они отрицаются по культурным или политическим причинам [р. 6]. Праздники рассматриваются как важная составляющая «национального самосознания», которая во многих случаях не совпадает с границами самосознания «государственного».

Специфика представленного в книге подхода заключается в том, что национальные праздники определяются как «нестабильные символы» (unstable signifiers) [р. 10]. В отличие от общепринятых национальных символов, таких как флаг, гимн, валюта, национальная архитектура, юридические процедуры, сказки, фольклор, национальные костюмы, национальные праздники «не предстают перед нами как постоянная эмпирическая реальность» или «повседневные “маркировки”» (the daily ‘flagging’), которые «стабилизируют наше чувство коллективной идентичности» [р. 16]. Иными словами, национальная идентичность конструируется не только за счет того, что нам навязывают сознательно, но прежде всего – благодаря тому, что мы незаметно для себя наблюдаем изо дня в день. Причины «нестабильности» национальных праздников по сравнению с другими национальными символами, заключаются в том, что: 1) праздники цикличны и случаются только раз в год; 2) несмотря на то что праздники вносят в нашу жизнь 24-часовую «паузу», люди могут сознательно их игнорировать, не воспринимая как «нечто особенное»; 3) их смысл со временем может измениться [р. 17].

С учетом этого, М. Гайслер считает возможным утверждать, что в то время как «стабильные» национальные символы (флаг, валюта, фольклор, архитектура и др.) как бы дополняют представления о национальном самосознании, сохраняют нашу лояльность к различным проявлениям национального нарратива, национальный праздник является центральным его выражением и потому играет особую роль в ряду символических инструментов, формирующих чувство сопричастности к сообществу [р. 15–16].

М. Гайслер отмечает и другую особенность «нестабильных» символов – наличие неразрывной связи между светскими национальными праздниками и их религиозными корнями. Например, День независимости Греции (25 марта, день освобождения от ига Османской империи) совпадает с христианским Благовещением. И это не случайно. По словам автора, «такое жонглирование памятными датами позволило государству, в котором проживают 98% греков-христиан, убить двух зайцев одновременно, представив традиционный религиозный праздник как празднование “свет-

ской» нации» [р. 18]. Еще один удачный пример такого сопряжения – 28 июня, национальный праздник «Видов дан» (Видов день) – день, когда в 1389 г. произошло знаменитое сражение на Косовом поле в Сербии; он также почитается христианской церковью как День святого великомученика Царя Лазаря и всех мучеников сербских. В обоих случаях центральной особенностью национальной идентичности является ее религиозная составляющая, которая фактически помогает объяснить существующий дискурс власти.

Значительную часть книги занимает подробный обзор нескольких кейсов (Шотландия, Англия, Ирландия, Австралия, ЮАР, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Италия, Валенсия, США), в которых рассматриваются причины утверждения национальных праздников, их роль в конструировании национальной идентичности. Даже беглый взгляд на национальные праздники обнаруживает существенные различия их поводов, причин, по которым выбираются конкретные даты, а также их восприятия обществом.

В книге можно выделить отдельную группу глав, которая рассматривает праздники североевропейских государств – Норвегии, Швеции и Финляндии. Несмотря на географическую близость этих стран, среди сложившихся в них символических практиках воспроизводства национальной идентичности есть очевидные различия. Как отмечает Г. Елджениус, для Норвегии национальный день – 17 мая, День принятия Конституции, является «поводом для гордости», «объединяющим символом» [р. 114, 116]. Успех праздника, по мнению исследователя, наряду с общепризнанными флагом, гимном, шествиями и обрядами связан с продолжающимся процессом нациестроительства, начало которому положило отделение от Швеции в 1905 г. Для финнов обретение независимости также является «самой главной причиной для национального единения» [р. 136]. Напротив, утвержденный в 2005 г. Национальный день Швеции (День шведского флага, 6 июня), главное участие в «изобретении» которого принимали медиа, не имеет такой популярности среди населения [р. 121]. М. Родел приходит к выводу, что причина заключается в том, что распад Кальмарской унии и обретение независимости Швеции от Дании – события, положенные в основу данного праздника, – произошли слишком давно и уже не имеют значения для современных шведов. Здесь прослеживаются параллели с утвержденным в 2004 г. в России Днем народного единства, значимость исторических оснований которого совершенно неочевидна для современных россиян.

Причина успешной институционализации нарративов государственных праздников и их длительного существования без существенного изменения символического содержания (например, США – 4 июля, День независимости; Франция – 14 июля, День взятия Бастилии), по мнению исследователей, лежит в сложных процессах «умышленного забывания» ('wilful forgetting') и вспоминания (remembering) тех или иных событий, несмотря на их давность, о которой еще писал Б. Андерсон в своей книге «Воображаемые сообщества». Одну из главных ролей в этих процессах играет государство, поскольку именно оно определяет, каким должно быть празднование [р. 5–6].

Однако исследователи отмечают, что далеко не всегда практики установления национальных праздников оказываются успешными – именно так обстоит дело в Германии, России, Австралии или Японии. В этих государствах «национальные праздники чаще всего относительно слабы и являются чрезвычайно нестабильными символами национального самосознания» [р. 14]. С падением Берлинской стены 9 ноября 1989 г., которая могла бы стать для немцев символом объединения, основой для построения нового мифа основания сообщества, вопрос о выборе национального праздника так и не был решен, поскольку дата 9 ноября сопряжена и с другими, менее славными событиями. История сыграла с немцами злую шутку: в 1938 г. в ночь с 9 по 10 ноября имела место Хрустальная ночь, положившая начало систематическим преследованиям евреев и применению к ним прямого физического насилия. А еще раньше, 9 ноября 1923 г., произошел «Пивной путч» – попытка государственного переворота, предпринятая Гитлером и его сторонниками. Не стал к этому моменту почитаемым и День германского единства (17 июня), провозглашенный Западной Германией в 1953 г. По этой причине, по мнению Веры Саймон, весомое значение приобрел другой, более стабильный символ. В Германии им фактически служит национальный гимн «Единство, и справедливость, и свобода», что само по себе не лишено противоречий, ибо гимн имеет очевидные коннотации с гимном нацистской Германии «Германия, Германия превыше всего» [р. 158, 14]. А провозглашенный канцлером Гельмутом Колем в 1990 г. национальный праздник «День единства Германии» (3 октября, в этот день в 1989 г. был заключен Договор об объединении ФРГ и ГДР) остается «самым безликим» среди существующих праздников и игнорируется большинством немцев.



Формально главным национальным праздником в Австралии является 26 января (День Австралии). В основе противоречивого отношения к нему лежат этнические разногласия аборигенов и потомков британских колонистов. Первые склонны говорить о нем как о «Дне выживания» или «Дне вторжения». Несмотря на давность его корней (высадка в бухте Сиднея состоялась в 1788 г.), праздник, однако, не является определяющим моментом истории для всех австралийцев [р. 86]. У. Пирсок и Г. О'Нил полагают, что достойной заменой Дню Австралии как главному национальному празднику мог бы послужить День АНЗАС (по первым буквам австралийского и новозеландского армейского корпуса), 25 апреля [р. 84], наподобие российского Дня защитника Отечества.

В поле внимания авторов монографии оказался и относительно новый государственный праздник России – День народного единства. Его расценивают как попытку заменить «ставшее традиционным» празднование годовщины Октябрьской революции 1917 г., в 1996 г. переименованное в «День согласия и примирения». Попытки преодолеть связь «ноябрьского праздника» с революционным прошлым, по мнению М. Гайслера, едва ли могут увенчаться успехом, поскольку уже сейчас День народного единства «превратился в платформу для русских националистов» [р. 3]. «Уже практически забыты в России, – пишет исследователь, – все еще официальный государственный праздник День России (12 июня, празднование конца коммунистической эры) и День Конституции<sup>1</sup> (12 декабря, день, когда была принята новая российская Конституция), оба утвержденные в эпоху Ельцина» [р. 3]. Россияне, таким образом, находятся «в серьезной опасности», «на грани раскола относительно того, какой национальный праздник выбрать», что может существенно навредить нашему самосознанию [р. 3].

Особого внимания заслуживает случай ЮАР, государственным праздником которой является День примирения, отмечаемый в честь битвы на Кровавой реке 16 декабря 1838 г. Как отмечает Э. Лоу, несмотря на неоднократное изменение названия праздника (с 1910 по 1981 г. он назывался День Клятвы, с 1982 по 1993 г. – День Завета), его принято считать «точкой опоры для кодирования чувства идентичности африканцев» на основе общей крови [р. 89]. Однако с приходом к власти Африканского национального кон-

---

<sup>1</sup> День Конституции лишился статуса нерабочего дня в 2004 г. с принятием поправок в Трудовой кодекс РФ, в то время как День России его сохранил.

гресса (АНК) праздник во многом утратил африканский национальный символизм, который он имел для темнокожего населения. Э. Лоу отмечает, что это вписывается в проводимый политический курс демократизации и новой интерпретации истории [р. 104]. По мнению исследователя, чрезмерное внимание к празднику привело к «засорению истинного содержания», а его сохранение требует того, чтобы его нарратив был придуман заново.

В заключительной главе Д. Маккрон и К. Макферсон задаются вопросом: «Коль скоро национальные праздники такие разные, значит ли это, что, взятые вместе, они не говорят нам ни о чем? Можно ли вывести из них какой-то общий смысл?» [р. 212]. Ответ, на их взгляд, заключается в том, что символический потенциал национальных праздников лежит в их многообразии, а гибкость является их главным преимуществом. В отличие от индивидуальных дней рождения национальные праздники установлены объективно и предполагают высокую степень общности норм и ценностей, разделяемых членами сообщества.

Авторы приходят к выводу, что значение национальных праздников в конструировании идентичности состоит в том, что они подобно лакмусовой бумажке отражают социальные и политические изменения [р. 219]. Несмотря на свою пластичность, они не могут быть просто «изобретены» (используя терминологию Э. Хобсбаума). В частности, утверждается, что не существует ни одного национального праздника в Великобритании, который бы не оскорблял чувства какой-либо этнической или иной группы. Вместе с тем, проблематизируя значение национальных праздников в конструировании национальной идентичности, авторы сборника не дают единственно верного рецепта того, как следует утверждать новый праздник и какими национальными нарративами его наделять. Очевидно, что все национальные праздники «обращают внимание на определенную эпоху» и подвержены изменениям.

Книга представляет собой доступный, интересный и полезный материал, в котором национальная идентичность осмысливается сквозь призму исторической, культурологической и политической практики воспроизводства национальных праздников. Следует согласиться с авторским коллективом в том, что национальные праздники являются ключом к пониманию национальной идентичности. Представленный коллективный труд помимо неординарного качественного материала дает образное и яркое представление о различных вариантах конструирования и моби-

лизации идентичности на основе национальных праздников, а также о возможностях их институционализации и переосмысления. Результаты исследования могут послужить отправной точкой для анализа опыта реанимирования государственных праздников в России и дальнейших разработок в области символической политики государственных праздников.

**Л.А. Фадеева**

## **ЗАЖИГАЯ «ОГОНЬ НОВОГО ДНЯ»**

**Рецензия на книгу: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая практика. – М., Кругъ, 2011. – 559 с.**

Монография члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук, профессора Л.П. Репиной «Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая практика» уже стала предметом оживленной научной дискуссии. И это неудивительно: не случайно А.Г. Васильев метафорически сравнил ее с глобальной навигационной системой в море исторической науки [Васильев, 2012]. Озаглавив свою рецензию «Современная историческая наука – культурологии», он заметил, что «проблемам, связывающим историческую науку и культурологию, так или иначе посвящено около половины объема книги» [Васильев, 2012]. Если рассматривать монографию Л.П. Репиной в таком ключе, то любая из дисциплин гуманитаристики может претендовать на то, что именно ее связям с исторической наукой посвящена львиная доля рецензируемой книги. И, что наиболее важно, методологические повороты, варианты, версии, концепции, анализируемые автором во всей полноте, сложности, многогранности, способствуют наращиванию эвристического потенциала, без преувеличения, любой из гуманитарных дисциплин.

И хотя Л.П. Репина не водит указкой, определяя точки соприкосновения истории и политологии, думается, что ее книга – хорошее подспорье для исследователей политики, которые хотели бы использовать наработки современной исторической науки. Залогом потенциала плодотворного взаимодействия может слу-

жить весь предшествующий исследовательский опыт Лорины Петровны, ее взаимодействие с учеными в рамках Общества интеллектуальной истории, публикация уже 38 выпусков «Диалога со временем» под ее редакцией, организация многочисленных конференций и семинаров. Будучи участником некоторых этих событий, могу судить об этом как включенный наблюдатель и заинтересованный коллега. Историки «школы Лорины Петровны Репиной» (в широком смысле этого слова) искусно владеют современным исследовательским инструментарием смежных дисциплин – политологии и социологии, – используя его для развития исторической науки.

Каждый исследователь может найти в этой монографии свой инструмент для «навигации». Особое значение имеет, на мой взгляд, сделанный Л.П. Репиной акцент на трансформации социальной истории в социокультурную [Репина, 2011, с. 118]. Л.П. Репина тщательно прослеживает эту трансформацию, не проводя резкой демаркационной линии между отечественными и зарубежными исследованиями: в ее обзорах они органично пересекаются и взаимно дополняют друг друга. Таким образом, без дополнительного пафоса автор демонстрирует роль отечественной исторической науки как равного партнера и достойного актора в наращивании эвристического потенциала мирового профессионального сообщества историков.

Закономерно значительное место отведено в монографии интеллектуальной истории и интеллектуальной культуре. «В настоящее время изучение интеллектуальных традиций (в том числе научных) далеко выходит за рамки истории идей, теорий, концепций, систематически обращаясь к анализу конкретных средств и способов их формулирования в соответствующих текстах, и к судьбам их творцов, и к более широким социокультурным контекстам, в которых эти идеи функционировали, воспроизводились, интерпретировались и модифицировались», – отмечает Л.П. Репина, фиксируя наметившийся переход от «истории интеллектуалов» к социокультурной истории интеллектуальных сообществ [Репина, 2011, с. 380, 382]. С позиции политолога сопряжение изучения интеллектуальных сообществ с анализом социальных и культурных систем, а также с характеристикой политического контекста, политических коллизий, политических процессов и ситуаций выглядит абсолютно логичным. И то, что монография побуждает к дискуссиям и научным поискам, делает этот фундаментальный труд живым и особенно увлекательным.

Автор выступает не только как обозреватель и аналитик, но и как активный творец исторической науки и историографии, причем это относится и к методологии, и к методике исследования. Мне показался особенно интересным предложенный ею анализ метода трансвременной коммуникации, который предполагает «актуализацию и рецепцию “старых текстов” в новых социокультурных условиях, усвоение идей, опирающихся на опыт прошлого, и их отражение (переосмысление в новом контексте) в идеях и представлениях настоящего» [Репина, 2011, с. 376]. По мнению Л.П. Репиной, кроссвременная коммуникация может рассматриваться как важнейший элемент интеллектуальной культуры любой эпохи. От себя замечу, что бывают ситуации, когда кроссвременная коммуникация даже важнее, нежели коммуникация с современниками: исследователи проблемы российской интеллигенции, например, обязательно обращаются к текстам начала XX в., прежде всего к «Вехам», но далеко не всегда считают нужным вступать в полемику и даже учитывать современные подходы и позиции. И это обстоятельство позволяет уточнить представления об интеллектуальной культуре эпохи.

В плане изучения символической политики особый интерес представляют главы 10 и 11, посвященные памяти, историческому сознанию и проблеме идентичности. Л.П. Репина разводит понятия «память» и «история», акцентируя внимание на сложном процессе трансформации индивидуальной памяти в социальную. В характеристике памяти автор использует такие понятия, как текучесть, бесконечность, обусловленность заинтересованностью, избирательность. Концептуализация и формирование традиций, «деконструкция морально устаревших исторических мифов» [Репина, 2011, с. 434], создание новых мифов рассматриваются Л.П. Репиной вдумчиво и заинтересованно («Все мы в каком-то смысле шаманы своего племени» [Репина, 2011, с. 436]). «Историческая память мобилизуется и актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или социальной группы... политическое манипулирование исторической памятью является мощным средством управления сознанием человека и общества», – утверждает автор [Репина, 2011, с. 442, 444]. В результате возникают разные по содержанию и ориентации (научно- или социально-ориентированные) версии, а история «постоянно разрывается между логикой памяти и императивами научного знания» [Репина, 2011, с. 450]. (На мой взгляд, можно добавить к этому и политическую конъюнктуру.)

Эти рассуждения выводят автора на дискуссию о ценности истории в условиях кризисной идентичности. Исторические мифы характеризуются автором в русле социального конструктивизма. Вместе с тем Л.П. Репина не упускает из виду и стихийную деятельность по их производству. Историческая идентичность выступает, согласно ее концепции, важнейшим компонентом любой социальной идентичности, независимо от типа политической системы. Не случайно автор уделяет внимание понятию этнической идентичности, выступая против эссенциалистских трактовок, а в формировании исторической идентичности особое место отводит характеристике публичной полемики по вопросу о соперничающих моделях национальной идентичности. При этом историки оказываются втянуты в этот процесс, «отвечая общественным потребностям» [Репина, 2011, с. 469]. Разумеется, это относится далеко не только к историкам. Проблематика этнической и национальной идентичностей обладает особой политической релевантностью, в силу чего дискуссии на данный счет являются элементом сферы публичной политики и выходят за сугубо научные рамки. Это объясняет наличие не просто разных, но диаметрально противоположных точек зрения, повышающих градус обсуждения и, к сожалению, снижающих градус толерантности к другим позициям. Не исключая, что именно этот раздел монографии Л.П. Репиной может стать наиболее дискуссионным.

Новаторским потенциалом обладает раздел, посвященный относительно недавно сформированному концепту исторической памяти. Л.П. Репина настаивает на том, что и коллективная, и историческая память содержат историческое сознание как элемент и связующее звено между ними. «Поскольку реально функция памяти принадлежит индивиду, а все остальные ее приложения – это просто метафоры, ясно, что коллективная память заключена не в “местах памяти”, а в способных исторически мыслить индивидах, которые, разумеется, могут быть, но могут вовсе и не быть историками» [Репина, 2011, с. 482]. Представляется, что это положение – одно из ключевых в авторском понимании истории и ее миссии. Историческая память в таком понимании выступает не только как конструкт, создаваемый специалистами, но и как коллективный продукт, в котором люди могут действовать в качестве авторов, творцов, акторов.

Историческое повествование оценивается автором как способ преодоления периодически возникающих кризисов коллективного сознания, а историзация пережитого – как «культурная стра-

тегия преодоления разрушительных последствий травмирующего опыта» [Репина, 2011, с. 487]. Это суждение особенно важно в контексте политизации истории и историзации политики, которые столь свойственны российскому обществу не только в прошлом, но и в настоящем. Причем практически сразу после того, как время становится историческим, оно превращается в объект политизации, в символический капитал и символическое пространство. Последний пример такого рода представляют собой 1990-е годы в российской истории, ставшие «лихими девяностыми» в контексте идейно-политической борьбы и стремления власти к легитимации и поиску оснований позитивной идентичности в обращении к прошлому.

В монографии Л.П. Репиной еще один заслуживающий пристального внимания исследователей шаг был сделан в «направлении реконструкции и сопоставления темпоральных картин мира и исторических представлений, условий их формирования и динамики развития в разных культурных ареалах» [Репина, 2011, с. 500–501], который позволил автору дать новые ответы на многие из поставленных ранее методологических вопросов.

В монографии Л.П. Репиной огромное количество тем и сюжетов, включающих глобальное, локальное, персональное, интеллектуальное, гендерное измерения практик историографических и социальных. Глубокие теоретические проблемы в книге всегда находят преломление в конкретных практиках, примерах, кейсах, насыщая читателя плотным и изысканным интеллектуальным продуктом.

Каждая из 12 глав книги могла бы претендовать на самостоятельность и полнокровность, и в то же время каждый из заявленных сюжетов порождает вопросы, вероятно, возражения, споры, таким образом, способствуя тому, чтобы «огонь нового дня» зажегся в новом тысячелетии не только перед историей, но и перед другими гуманитарными дисциплинами, в немалой степени благодаря этой книге и ее замечательному автору.

## Литература

- Васильев А.Г. Современная историческая наука – культурологи // Культурологический журнал. – М., 2012. – № 1 (7). – Режим доступа: [http://www.cr-journal.ru/rus/journals/105.html&j\\_id=9](http://www.cr-journal.ru/rus/journals/105.html&j_id=9) (Дата посещения: 31.05.2012.)
- Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. Социальные теории и историографическая практика. – М., Кругъ, 2011. – 559 с.



## **КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И АННОТАЦИИ / KEYWORDS AND ABSTRACTS**

**С.П. Поцелуев**

### **«Символическая политика»: К истории концепта**

В статье анализируются концепты символической политики, предложенные М. Эдельманом, У. Сарцинелли, Т. Майером, А. Дернером и др. Автор описывает театральную, драматологическую и перформансную модели символической политики, а также сравнивает культурно-антропологический и семиотический подходы к этому феномену.

*Ключевые слова:* символическая политика; политическое инсценирование; политология символических форм; политическая семиотика.

**S.P. Potseluev**

### **«Symbolic politics»: The history of the concept**

The concepts of symbolic politics as they were proposed by M. Edelman, W. Sarcinelli, T. Meyer, A. Dörner, and others are examined in the article. The author describes theatrical, dramatological, and performance models of symbolic political actions. Further, the cultural anthropological and the semiotic approaches to this phenomenon are compared.

*Keywords:* symbolic politics; political staging; political study of symbolic forms; political semiotics.

**Н.М. Мухарямов**

### **О символических началах в языке политики (прагматический аспект)**

В статье рассматривается роль символов в политическом использовании языка, анализируются семиотический статус и праг-

матические свойства вербальных символов, выражающих политические явления. В роли объектов символизации выступают язык и речь, абстрактные понятия и ценности. В языковой среде политики символы трансформируются под воздействием новых коммуникативных технологий.

*Ключевые слова:* символ; политическое; семиотика; прагматика.

**N.M. Mukharyamov**  
**About the basis of the symbolic politics of language**  
**(pragmatic aspect)**

The article is devoted to symbols in political language, to semiotic status and pragmatic attributes of verbalized symbols expressing political phenomenon. Language and speech, abstract conceptions and values are examined as objects of symbolization. Symbols in the linguistic environment of politics are transformed in the context of changing communication technologies.

*Keywords:* symbol; politics; semiotics; pragmatics.

**Д.Е. Москвин**  
**Визуальные репрезентации в политике и перспективы**  
**визуальных методов исследований в политической науке**

В статье анализируется опыт визуальных исследований в рамках социальных наук и политологии. Эта междисциплинарная область исследований формирует в последнее десятилетие самостоятельную методологию, категориальный аппарат и уникальные способы обработки эмпирических данных. Оценивается роль визуальных методов в качестве инструмента изучения символического пространства и построения новых моделей интерпретации реальности.

*Ключевые слова:* визуальная культура; визуальный образ; визуальная политика; визуальные методы.

**D.E. Moskvin**  
**Visual representations in politics and the prospects**  
**of visual research methods in political science**

The article explores the possibility of using visual research methods and visual analysis in Russian political science as the effective way to investigate symbolic space and create new interpretation schemes.

*Keywords:* visual culture; image; visual policy; visual methods.

**И.Б. Торбаков**  
**«Непредсказуемое» или «неопределенное» прошлое?**  
**Международные отношения и российская историческая**  
**политика**

Постсоветская Россия сделала историю инструментом достижения определенных политических целей, в том числе и в сфере международных отношений. Однако нежелание России отождествить себя с какой-либо четко сформулированной идеологической позицией заставляет ее делать выбор в пользу своеобразной исторической политики, которая отличается высокой степенью амбивалентности.

*Ключевые слова:* Россия; историческая политика; память; идентичность.

**I.B. Torbakov**  
**«Unpredictable» or «indefinite» past?**  
**International relations and Russia's historical policy**

Post-Soviet Russia does instrumentalize history to achieve certain political objectives, including in the sphere of international relations. However, Russia's reluctance to be associated with any clearly defined ideological position compels it to opt for the kind of history politics that is characterized by the high degree of ambivalence.

*Keywords:* Russia; politics of history; memory; identity.

**В.А. Ачкасов**  
**Роль политических и интеллектуальных элит**  
**посткоммунистических государств в производстве**  
**«политики памяти»**

В статье, посвященной анализу роли «исторической политики» элит в формировании национальной идентичности посткоммунистических стран, последовательно рассматриваются проблемы: традиция и коллективная память – как «конструкты»; национальная идентичность как исторический нарратив; «политика памяти» как инструмент строительства посткоммунистических наций; «политика памяти» в России. В результате делается вывод о том, что вместо позитивной программы формирования национальной идентичности, вместо поиска компромисса в интерпретации сложных и трагических эпизодов совместной истории, признания общей от-

ветственности за них или их совместного «забывания» политические и интеллектуальные элиты большинства посткоммунистических стран, наоборот, делают все для их актуализации и политизации, формируя и концептуализируя мифологемы массового сознания, придавая видимость научной обоснованности примитивным ксенофобиям и идиосинкразиям.

*Ключевые слова:* политические и интеллектуальные элиты; политическая традиция; коллективная память; национальный нарратив; национальная идентичность; политика памяти; политизация истории; «война интерпретаций».

**V.A. Achkasov**

### **The role of political and intellectual elites of post-communist states in the production of «politics of memory»**

The article is devoted to the analysis of the role of elites' «historical policy» in shaping of the national identity of post-communist countries. It deals with the following problems: tradition and collective memory – as «constructs»; national identity as a historical narrative, «the politics of memory» as a tool for construction of post-communist nations, «the policy memory» in Russia. According to its argument, instead of a positive program for the formation of national identity, instead of searching for a compromise in the interpretation of complex and tragic episodes of common history, recognition of common responsibility for them or their common «forgetting», political and intellectual elites of most post-communist countries, by contrast, do everything for their updating and politicization, creating and conceptualize myths for the mass consciousness, giving the appearance of the scientific validity of the primitive xenophobia and idiosyncrasy.

*Keywords:* political and intellectual elites; political tradition; collective memory; the national narrative; national identity; the politics of memory; the politicization of history; «the war of interpretations».

**К.Ф. Завершинский**

### **Символические структуры политической памяти**

В статье рассматриваются методологические возможности осмысления социальной памяти посредством исследования символических структур социальных коммуникаций. Автор утверждает, что структуры политических ожиданий политической памяти выполняют функцию символического конструирования политиче-

ских коммуникаций. Анализ темпоральной структуры «политических ожиданий» особенно значим для понимания процесса проектирования «политики памяти».

*Ключевые слова:* политическая память; символические структуры; политические ожидания; политическая легитимация.

**K.F. Zavershinskiy**  
**Symbolic Structure of Political Memory**

The article discusses a methodological opportunities for conceptualization of social memory through correlation with symbolic structure of social communication. The author argues that a structure of political expectations of political memory carries out function of symbolic designing of political communication. The analysis of temporal structure of political expectations is especially important for understanding designing of «politics of memory».

*Keywords:* political memory; symbolic structure; political expectations; political legitimating.

**А.И. Миллер**  
**Политические символы и историческая политика**

В статье рассмотрено конструирование и использование новых, но укорененных в исторической традиции политических символов – «Георгиевской ленточки» в России и соседних странах, «Свечи памяти» жертв Голодомора в Украине, Катинского креста в Польше.

*Ключевые слова:* символическая политика; историческая политика; Восточная Европа.

**A.I. Miller**  
**Political symbols and historical policy**

The article considers the construction and usage of new, but rooted in historical traditions, political symbols – St. George's Ribbon in Russia and neighboring countries, candle of Holodomor victims in Ukraine, the Katyn Cross in Poland.

*Keywords:* symbolic politics; the politics of history; Eastern Europe.

**К.В. Киселёв**

**Дискурс прошлого в электоральной политической риторике:  
К постановке проблемы**

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проявлением дискурса прошлого в электоральной риторике в период с 2007 по 2012 г., в том числе использование символических логик прошлого в политической рекламе, программных заявлениях политических лидеров и иных текстах. Рассматривается соотношение будущего, настоящего и прошлого в политической риторике в контексте взаимосвязи нормы и идеала. Доказывается, что в рассматриваемый период в электоральных практиках доминировали именно дискурсивные логики прошлого.

*Ключевые слова:* символическая политика; социальное время; политический дискурс; политическая риторика; будущее, настоящее и прошлое в риторике; политическая риторика и выборы.

**K.V. Kiselev**

**The discourse of the past in the electoral political rhetoric:  
By the formulation of the problem**

The article describes the problems which refer to the discourse of the past manifestation in electoral rhetoric for the period 2007–2012. Among others it focuses on the usage of symbolic logic of the past in political advertising, declarations of political leaders and other texts. A correlation between past, present and future in political rhetoric is analyzed in the context of interconnection of the norm and ideal. The article proves that discursive logic of the past prevailed in the electoral practices of the given period.

*Keywords:* symbolic politics; political discourse; social time; political rhetoric; future, past and present in the rhetoric; political rhetoric and election.

**О.Ю. Малинова**

**Разговоры о «модернизации»: Анализ практики «общественных дискуссий» в современной России**

В статье анализируются особенности дискурсивных практик, связанных с публичной репрезентацией заявленного президентом Д.А. Медведевым курса на «модернизацию», его идеологическим обоснованием и оспариванием. Особое внимание уделяется тому,

как идея модернизации интерпретируется ведущими российскими политиками и какую роль в ее обосновании играют представления о коллективном прошлом, настоящем и будущем.

*Ключевые слова:* модернизация; Д.А. Медведев; В.В. Путин; идеологическое обоснование политического курса; политическое использование прошлого; дискурсивные практики.

**O.Y. Malinova**

**Discussions about «modernization»: An analysis of the practice of «public debate» in modern Russia**

The article is devoted to analysis of discursive practices of public representation and discussion of the political course of «modernization» announced by president Dmitry Medvedev. It is focused at interpretations of the idea of modernization by the leading Russian politicians as well as at the role of the notions about collective past, present and future in its ideological justification and contestation.

*Keywords:* modernization; Dmitry Medvedev; Vladimir Putin; ideological justification of political course; political uses of the past; discursive practices.

**Е.О. Негров**

**Публичная политика в ходе электорального цикла 2011–2012 гг.:  
Стратегии охранительного политического дискурса**

Публикация посвящена стратегиям охранительного дискурса, связанного с официальной идеологией. В статье представлены материалы исследования освещения событий, проходящих в публичном поле после выборов в Государственную Думу РФ 4 декабря 2011 г. вплоть до выборов президента, состоявшихся 4 марта 2012 г.

*Ключевые слова:* официальный политический дискурс; электоральный процесс; дискурс-анализ; стратегии охранительного дискурса.

**E.O. Negrov**

**Public Policy in the electoral cycle 2011–2012:  
Protective strategies of political discourse**

The publication deals with the strategies of protective discourse associated with the official ideology. The paper presents the research materials of coverage of events taking place in public field after the

elections to the State Duma, December 4, 2011 until the presidential elections, March 4, 2012.

*Keywords:* official political discourse; electoral process; discourse analysis; strategies of protective discourse.

**О.В. Попова**

**Символическая репрезентация прошлого  
и настоящего России в президентской кампании 2012 г.**

В статье анализируются образы прошлого и настоящего России, представленные в предвыборной президентской кампании 2012 г. Автор считает, что их выбор связан исключительно с подлинными электоральными намерениями кандидата, его статусом и политическими взглядами.

*Ключевые слова:* официальный дискурс; политические лидеры; президентская кампания; образ России.

**O.V. Popova**

**Symbolical Representation of the Past and the Present of Russia  
in Presidential Campaign (2012)**

In the article there are analyzed image of Russia in the past and the present in programs of candidates in election campaign (2012). The author argues that their choice is connected with original electoral intentions of the candidate, his status and political views.

*Keywords:* official discourse; political leaders; presidential campaign; image of Russia

**И.А. Шкурихин**

**Концепт демократии в предвыборном дискурсе кандидатов  
в Президенты РФ 2012 г.**

Статья посвящена изучению борьбы дискурсов кандидатов в Президенты РФ в символическом поле концепта «демократии». Анализ сфокусирован на четырех узловых точках – «политическая конкуренция», «партия», «референдум», «парламент», – которые выражают, с одной стороны, абстрактный дискурс о демократии, с другой – конкретные размышления и предложения российских политиков в области демократии. Символическая борьба, несмотря на сложившуюся политическую обстановку, не носила острый



характер и тем самым сохранила концептуальные ресурсы и потенциал для возобновления.

*Ключевые слова:* демократия; предвыборный дискурс; узловые точки; концепт.

**I.A. Shkurihin**  
**The concept of democracy in the election discourse  
of candidates for president of Russia in 2012**

The article is devoted to exploration of the discourse of candidates for the President of Russian Federation in the field of the concept «democracy». We focus our analysis on the four key points: «political contestation», «political party», «referenda» and «parliament» – which reflect at one side the abstract discourse of democracy, and from another – concrete thoughts and propositions of Russian politicians. Despite the current political situation in Russian politics, a symbolic fight wasn't hard, so there are enough conceptual resources and potential leave for the next struggles.

*Keywords:* democracy; discourse of elections; key points; concept.

**Г.Л. Тульчинский**  
**Информационные войны как конфликт интерпретаций,  
активизирующих «Третьего»**

Феномен информационных войн является многовекторно парадоксальным. Это связано с неоднозначностью интерпретации акторов, целей, результатов эффективности таких конфликтов. В конечном счете, смысл информационных войн сводится к трансляции различных интерпретаций их содержания. При этом ключевую роль играют организация и интерпретация некоего Большого События, задающего некий неоспоримый факт, привлекающий внимание общественного сознания. В этом случае формируется некий «Третий», в апелляции к которому и разворачивается конкретный конфликт.

*Ключевые слова:* Большое Событие; интерпретация; информационные войны; «Третий».

**G.L. Tulchinsky**  
**Information wars as a conflict of interpretations,  
activating the «Third»**

The phenomenon of information wars is a multi-vector paradoxical. This is due to the ambiguity in the interpretation of actors, objectives, performance results of such conflicts. Finally the meaning of information wars is reduced to broadcast different interpretations of their contents. A key role is played by the organization and interpretation of a Big Event, which specifies a certain undeniable fact that attracts the attention of the public consciousness. In this case, will be generated Third one, in which the appeal is deployed and the specific conflict.

*Keywords:* Big Event; information wars; interpretation; Third.

**Т.П. Вязовик**  
**Ток-шоу «Суд времени» как «изобретенная традиция»**

Ток-шоу «Суд времени» рассматривается как возрождение традиции советских постановочных «агитсудов», служивших для индоктринации населения. Авторы шоу используют форму суда для пропаганды идей консервативного спектра, акцентируя внимание на идеях «сильной власти» и «сильного государства».

*Ключевые слова:* индоктринация; «агитсуды»; «сильная власть»; «сильное государство».

**Т.Р. Vyazovik**  
**Talk-show «Justice of Time» as the invented holiday**

Talk-show «Justice of Time» is interpreted as a reminiscence of the tradition of Soviet agitation-show that had a form of «court session» and were intended for indoctrination of population. According to the argument of the article, the producers of the talk-show «Justice of Time» also aim at promotion of ideas of a conservative type, focusing on the ideas of «strong power» and «strong state» that are central for the most currents of contemporary Russian conservatism.

*Keywords:* indoctrination; talk-show; concept of «the strong power»; concept of «the strong state».

**В.Н. Ефремова**  
**День народного единства: Изобретение праздника**

В статье дается краткий обзор дискуссий по вопросу конструирования смыслового содержания нового государственного праздника в России – Дня народного единства (4 ноября) в печатных средствах массовой информации. Автор приходит к выводу, что праздник, представляющий собой символический отказ от советского наследия, несмотря на то что упирается своими корнями в знаковое освобождение Москвы от польских оккупантов в 1612 г., по-видимому, превратился в платформу для националистических «Русских маршей». Общество, таким образом, вместо единения находится под угрозой раскола.

*Ключевые слова:* День народного единства; символическая политика; политические ценности; национализм.

**V.N. Efremova**  
**The Day of National Unity: The invention of holiday**

The article gives a brief overview of the discussions around the construction of the semantic content of a new public holiday in Russia – the Day of National Unity (November, 4th) in the print media. The author concludes that the holiday, which was considered as a symbolic rejection of the Soviet legacy and refers to the symbolic liberation of Moscow from Polish invaders in 1612, seems to have turned into a platform for nationalist «Russian march». Society, therefore, instead of unity is threatened by a split.

*Keywords:* The Day of National Unity; symbolic politics; political values; nationalism.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Ачкасов Валерий Алексеевич** – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных политических процессов факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: val-achkasov@yandex.ru

**Вязовик Татьяна Павловна** – кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, e-mail: samolva@list.ru

**Ефремова Валентина Николаевна** – младший научный сотрудник, аспирант отдела политической науки ИНИОН РАН, e-mail: efremova-valentina@mail.ru

**Завершинский Константин Федорович** – доктор политических наук, профессор кафедры теории и философии политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: Zavershinskiy200@mail.ru

**Киселёв Константин Викторович** – кандидат философских наук, доцент, заместитель директора по научной работе Института философии и права Уральского отделения РАН, профессор Уральского федерального университета, e-mail: kiselevkv@yandex.ru

**Малинова Ольга Юрьевна** – доктор философских наук, главный научный сотрудник отдела политической науки, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ, почетный президент Российской ассоциации политической науки, e-mail: omalinova@mail.ru

**Миллер Алексей Ильич** – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, e-mail: millera2006@yandex.ru

**Москвин Дмитрий Евгеньевич** – кандидат политических наук, начальник научно-исследовательского отдела Екатеринбургской академии современного искусства, e-mail: dmitry\_moskvin@mail.ru

**Мухарямов Наиль Мидхатович** – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и права, директор Института экономики и социальных технологий Казанского государственного энергетического университета, e-mail: n.mukharyamov@yandex.ru

**Негров Евгений Олегович** – кандидат политических наук, ассистент кафедры политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, редактор-социолог Общественной приемной Балтийской медиагруппы, e-mail: negrov2001@mail.ru

**Попова Ольга Валентиновна** – доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой политических институтов и прикладных политических исследований факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: pov\_64@mail.ru, olga@OP3201.spb.edu

**Поцелуев Сергей Петрович** – доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии факультета социологии и политологии Южного федерального университета, e-mail: spotselu@mail.ru

**Торбаков Игорь Борисович** – PhD, старший научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований университета Уппсалы (Швеция), e-mail: igor@fulbrightmail.org

**Тульчинский Григорий Львович** – заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, e-mail: gtul@mail.ru

**Фадеева Любовь Александровна** – доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук историко-политологического факультета Пермского национального исследовательского университета, e-mail: lafadееva2007@yandex.ru

**Шкурихин Илья Андреевич** – ассистент кафедры политологии Томского государственного университета, e-mail: shkuril@mail.ru

# СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вып. 1

**Конструирование представлений о прошлом  
как властный ресурс**

**Сборник научных трудов**

Оформление обложки И.А. Михеев  
Дизайн Л.А. Можаяева  
Компьютерная верстка Н.В. Афанасьева  
Художественный редактор Т.П. Солдатова  
Технический редактор Н.И. Романова  
Корректор О.В. Шамова

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.  
ИНИОН РАН. Отдел политической науки. E-mail: politnauka@inion.ru

Гигиеническое заключение

№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.

Подписано к печати 27/IX – 2012 г. Формат 60x84/16

Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена

Усл. печ. л. 21,0 Уч.-изд. л. 18,5

Тираж 300 экз. Заказ № 159

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,  
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий  
Тел. / Факс: (499) 120-4514  
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru  
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН  
Нахимовский проспект, д. 51/21  
Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
042(02)9



